

Ц Е Н Т Р П О Л И Г Р А Ф

Петр Столыянский

Петропавловская крепость



и другие историко-художественные очерки

Петр Столпянский

Петропавловская крепость

И ДРУГИЕ ИСТОРИКО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ



Москва – Санкт-Петербург
ЦЕНТРОЛИГРАФ
Русская тройка СПб



УДК 94(470.23-25)
ББК 63.3(2-2 Санкт-Петербург)
С81

Охраняется законодательством РФ
о защите интеллектуальных прав.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
воспрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном порядке.

Оформление художника
И.А. Озерова

Столпянский П.Н.

С81 Петропавловская крепость и другие историко-художественные очерки. — М.: Издательство Центрполиграф, 2011. — 331, [5] с.

ISBN 978-5-227-02108-3

Издательство представляет цикл книг известного краеведа и замечательного знатока Петербурга Петра Столпянского. В них мы бережно сохранили авторскую редакцию, ничем не нарушив уникальный стиль оригинала. Продолжает собрание том, включивший в себя следующие историко-художественные очерки: Дом княгини Шаховской, Дворец Труда, Петропавловская крепость.

Автор дает необыкновенно полную картину роста и развития города, ярко иллюстрирует ее живыми и увлекательными описаниями исторических событий, тонко анализируя причины их породившие...

Книги Столпянского погружают в историческую культурную среду, дают эффект реконструкции историко-культурной ситуации и вызывают острое чувство сопричастности ей. Перед вами вторая часть обширного исследования, в котором предстанет не мертвая череда давно прошедших событий и людей, а живое их воплощение в историческом пространстве Санкт-Петербурга.

УДК 94(470.23-25)
ББК 63.3(2-2 Санкт-Петербург)

© Столпянский П.Н., 2011
© ООО «Русская тройка-СПб», 2011
© ЗАО «Издательство
Центрполиграф», 2011

ISBN 978-5-227-02108-3

Дом княгини М.А. Шаховской,

Фонтанка, 27



Очерк П. Н. Столпянского
«Дом княгини М. А. Шаховской, Фонтанка, 27»
впервые был опубликован
в Петрограде в 1916 году



Фонтанка. 27

I

Уже слишком много воды... На горизонте — уходящее в даль синеющее море, на суше — широкая река со своими многочисленными рукавами, притоками, точно громадная рука с бесконечными пальцами, обхватывала болотистый лес; достаточно было сделать несколько шагов в сторону от узкой извилистой тропы, чтобы попасть в топь болота, среди которого бездонные, покрытые летом яркой, манящей к себе зеленью, «окна» медленно засасывали неосторожного путника; всюду низкие, болотные, безмолвные сосны, корявые ели, тусклая ольха, изредка улыбалась своей белизной кудрявая березка, да поздней осенью кое-где на пригорках краснела рябина, сверху до низу осыпанная стайками свиристелей, остановившихся на отдыхе в своем зимнем пролете...

Тяжело пришлось великороссу в этом «Парадизе», в этой Ингермаландии, когда, повинувшись «с плачем и скрежетом зубовным» велению грозного царя, покинул он, этот великоросс, свои родные места и пришел сюда, на берега Невы, чтобы «топь костями забутить», как пелось в одной из народных песен, сложенных на построение Петербурга...

Запутался первоначальный обыватель и с названием многочисленных рек и ручьев, мало-помалу освобождавшихся из-под власти векового леса, который рубился и для новых построек и для свай в бесконечном количестве загоняемых в почву для ее укрепления. Финн, живший на берегах этих рек, дал им свои имена — великоросс или коверкал эти имена на свой лад, так финская Мья превратилась в Мойку, или же

отмечал характерные особенности: маленький, вертящийся из стороны в сторону ручеек (ныне — Екатерининский канал), получил характерное прозвище Кривуши; или же, наконец, не осилив первоначального финского названия, не заметя какой-либо особенности, окрещивал первым попавшимся на языке словом: так Kāmājaki, нынешняя Фонтанка, превратилась в Безымянный Ерик, хотя своими размерами перед другими протоками Невы она вполне не соответствовала уменьшительной форме — Фонтанка со своими большими заводами, глубоко уходившими в низменные берега, бухтами и обширными островами, была чуть ли вдвое шире настоящей Фонтанки, доходя местами до 80–100 саж. ширины.

Выйдя из Невы там, где и в настоящее время Фонтанка давала первый, не особенно большой проток около нынешней Пантелеймоновской улицы, второй проток, доходивший до современного Литейного проспекта, впадал в Фонтанку около Симеоновского моста. Существует предание, что Петр Великий хотел воспользоваться этим последним протоком и, расширив и углубив его, устроить на месте нынешнего Литейного проспекта гавань, в которую должны были входить на зимовку суда и баржи с припасами и товарами из Невы. Но если этот проект и не фантазия последующих исследователей жизни Петра Великого, то во всяком случае, он так и остался проектом, не сохранилось никаких следов, что было приступлено хотя бы к началу его выполнения. Не нужно забывать, что великий преобразователь России, при устройстве своего «Парадиза» не руководствовался каким-либо наперед выработанным планом, наоборот: сегодня Петр уничтожал то, что задумал строить вчера, а через несколько дней появлялся еще и новый проект, к разработке и выполнению которого приступали с неменьшей энергией лишь для того, чтобы через некоторое время забросить, навсегда позабыть.

От нынешнего Симеоновского моста левый берег Фонтанки начинал сравнительно повышаться, и протоки образовывались уже на правом, пониженном, берегу.

Не доходя до Невского проспекта, приблизительно с нынешней площади Александринского театра, начинался самый значительный проток Фонтанки (на приложенной выкопировке

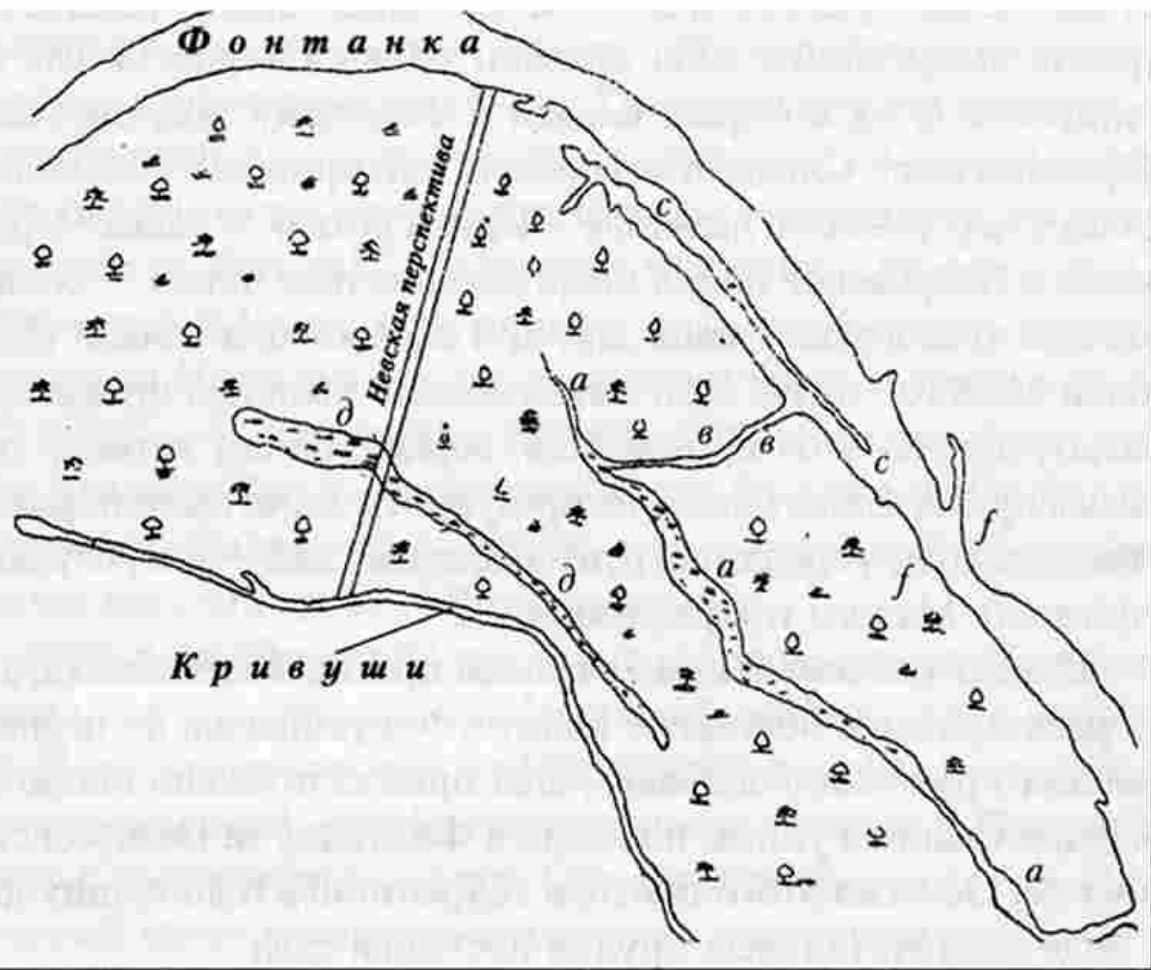
он обозначен буквами а, а, а). Вскоре после своего начала этот проток выпускал от себя незначительный отросток (на выкопировке в, в), который впадал в Фонтанку там, где теперь Чернешев мост. Следы этого небольшого протока — носившего, по всей вероятности, название «Черная речка» — таких Черных речек в Петровское время было бесконечное число — обнаружили чуть ли не в наши дни при постройке в начале 1880-х годов Малого театра. При выкапывании рвов для фундамента наткнулись на этот проток, или, вернее, на его устье — пришлось предпринять новые, не предусмотренные сметой, работы: отводить воду, укреплять грунт забитием свай — и в результате строитель Малого театра разорился.

Рассматриваемый нами главный проток Фонтанки (а, а, а), то расширяясь в обширное болото, то суживаясь до незначительного ручейка, извиваясь, шел приблизительно около нынешней Садовой улицы и впадал в Фонтанку за Вознесенским мостом. Остатки этого протока сохранились и до наших дней в виде незначительных прудов Юсупова сада.

Петр Великий обратил внимание на этот проток и, не желая, очевидно, тратить государственные деньги на его осушение, распорядился нарезать в этой местности участки и роздал их под дачи своим ближайшим приближенным — последние, волею или неволею, должны были приняться за устройство этих дач. Частью проток был засыпан, а частью обращен в рыбные пруды; такой пруд, судя по плану 1754 года, был и на даче графа Апраксина (нынешний Апраксин рынок) и на усадьбе (теперь место Пажеского корпуса, в Елизаветинские дни дом канцлера графа Воронцова). Этот последний пруд существовал еще и в первой четверти девятнадцатого века.

Что участки по реке Фонтанке не только были нарезаны и розданы царедворцам, но отчасти обстроены, видно из дневника камер-юнкера Берхгольца, который, в описании маскарада 1723 года, указывает, что 6 сентября вся маскарадная процессия пешком, через весь город, пропутешествовала на реку Фонтанку к президенту юстиц-коллегии Апраксину.

Вот, что писал этот добросовестный немец, оставивший нам в своих записках драгоценнейший материал для восстановления старого Петербурга петровских времен: «Как скоро мы



*План местности между нынешними Фонтанкою
и Екатерининским каналом у нынешнего Невского проспекта*

(т. е. процессия герцога Голштинского. — П. С.) высадились у почтового дома, передние ряды масок уже открыли шествие, и хотя нашему номеру следовало идти позади иностранных министров и перед „беспокойной братией“ (т. е. всепьянейшим собором Петра Великого. — П. С.), однако мы с иностранными министрами попали позади последней, так что наша группа (свита герцога Голштинского была одета матросами) заключала мужскую половину маскарада. Вслед за нами шли два полковника в качестве маршалов для женской половины, за которыми следовала императрица со всеми дамами, но они не шли пешком, а ехали в открытых линейках (Wurstwagen), которых было 8 или 10, в шесть лошадей каждая (две-три линейки, впрочем, оставались незанятыми и ехали порожняком). В этом порядке мы шли от почтового дома мимо заборов, окружающих зимний дом императора (теперь здание 1-го батальона лейб-гвардии Преображенского полка на Миллионной улице), а потом, поворота влево, через город, почти возле длинной аллеи (современный

Невский проспект. — П. С.) и еще несколько далее, через рощу, пока не пришли к президенту юстиц-коллегии Апраксину. Все это составило прогулку версты в две или три, причем многие тяжеловесные и старые люди порядочно понагрелись и устали. В этот раз в нашей процессии некоторые опять ехали верхом на маленьких ослах и, кроме того, явилось немало новых смешных и незнакомых нам еще масок. (Между тем, все зрители единогласно утверждали, что наша группа, как на суше, так и на воде была самою красивой и эффектной».)

«Войдя с задней стороны в сад Апраксина, — повествует далее Берхгольц, — все маски разделились там на группы, заняли расставленные в разных местах палатки и принялись кто за табак и вино, кто за кое-какое холодное кушанье» (Берхгольц. Дневник. Часть III, с. 148 и 149).

Из этого описания видно, что уже в 1723 году на участке Апраксина был разбит сад, нет сомнения, что такие сады были и на соседних участках, например, и у графа Чернышева (нынешний Щукин двор).

Затем, в этой же местности, приблизительно с нынешней Михайловской площади, по Михайловской улице, Перинной линии, тянулось обширное, глубокое болото, пересекавшее современный Невский проспект и почти доходившее до Екатерининского канала — тогда речки Кривуши (на прилагаемой выкопировке это болото обозначено буквами д, д, д).

Это болото не так-то скоро подчинилось людскому усилию. Только 21 мая 1758 года последовало повеление императрицы Елизаветы Петровны:

«От Невского проспекта, против Суровской линии болотное место засыпать и вокруг Гостиного двора для свободного проезда место очистить же» (Петров. История Петербурга. 597 с.). Положим, это повеление при жизни Елизаветы Петровны оставалось невыполненным...

Довольно широкая Фонтанка не только заметно суживалась на месте пересечения с нынешним Невским проспектом, но от правого берега ее выходила далеко в ширину реки значительная отмель, которая в виде длинной косы простиралась приблизительно до нынешнего Чернышева переуллка (на выкопировке отмель обозначена буквами с, с, с).

Нет сомнения, что это последнее обстоятельство (сужение Фонтанки при пересечении ее с Невским проспектом) было учтено первоначальными строителями Петербурга.

Надо помнить, что старая дорога из Новгорода в Ниеншанц (нынешняя Охта) — единственный путь сообщения через эту болотистую местность возникающего Петербурга с отходящей на второй план Москвой — шла по краю Московской и Литейной частей, приблизительно там, где теперь упразднен сравнительно недавно устроенный бульвар над заключенным в трубу Лиговским каналом.

Эта старая дорога в нынешней Кирочной улице делилась на три тропы: крайняя шла к Спасскому посаду, помещавшемуся приблизительно у Смольного монастыря, здесь и был перевоз через Неву в Ниеншанц; вторая — средняя — направлялась к большой Финской деревушке — Северной мызе, — располагавшейся на месте въезда на Литейный мост; последняя тропа — западная — вела к Фонтанке, на место нынешнего Инженерного замка, здесь была мыза шведского майора Конау.

Эти дороги, или вернее тропы, в наиболее топких местах замощенные срубленными тут же бревнами, вполне удовлетворяли немногочисленных обывателей данной местности. Но с началом постройки Адмиралтейства пользование западной тропой, чтобы перевозить по ней материал, стало затруднительным — уж слишком велик был круг: от мызы Конау (нынешний Инженерный замок) приходилось подняться к Неве и здесь ее берегом тащиться до Адмиралтейства.

Конечно, стали искать более короткого, прямого пути. А так как надо было переправляться через Фонтанку, тогда Безымянный Ерик, то прежде всего нужно было найти удобное место переезда; таким местом для переправы и было выше нами указанное: здесь Фонтанка значительно уже, чем в других местах. Было еще более узкое место (на выкопировке оно обозначено буквой f приблизительно там, где теперь Обуховский мост, но, во-первых, это место было дальше от старой Новгородской дороги, а во-вторых, между Безымянным Ериком и речкой Кривуши шли еще не засыпанные болота; в первом же месте (там, где Аничков мост) этих болот не приходилось переходить, так как они не доходили до этого места.

По всем вероятностям, первое время перевоз был паромный, но так как движение с каждым годом увеличивалось, и подводам с грузами приходилось долгое время ждать очереди, то Петр Великий, несмотря на свою нелюбовь к мостам, разрешил уже в 1715 году «за большой Невой на Фонтанной реке по перспективе сделать мост» (Общий Архив Министерства Императорского Двора опись № 73/183 книга 19, дело 80).

Мост этот строился под главным наблюдением полковника Аничкова, одного из первых русских строителей Петербурга; Аничков, между прочим, строил и первоначальный Адмиралтейский шпиг — от имени этого полковника мост и получил название Аничков мост, а вовсе не от Аничковской слободы, будто бы построенной здесь же на месте Владимирской и Троицкой улиц.

Здесь, действительно, существовала слобода, но ее звали «Слобода Астраханского полка», и ее небольшие хибарки начинались в линию с Невским проспектом, но уже за нынешней Владимирской улицей.

Таким образом 1715 год может быть назван эрой для истории рассматриваемой нами местности: устройство моста закрепило направление Невского проспекта между нынешними Фонтанкой и Екатерининским каналом — правда, Невский проспект в то время представлял из себя лишь узкую просеку в болотистом лесу, но уже были вызваны шведы из Москвы, которые должны были придать ему вид «перспективы», или «перспективной дороги», которой так восхищался цитируемый нами Берхгольц: «С самого начала мы въехали в длинную и широкую аллею, вымощенную камнем. Несмотря на то, что деревья, посаженные по обеим ее сторонам в три или четыре ряда, еще не велики, она необыкновенно красива по своему огромному протяжению» (Берхгольц. Ч. 1, с. 28).

II

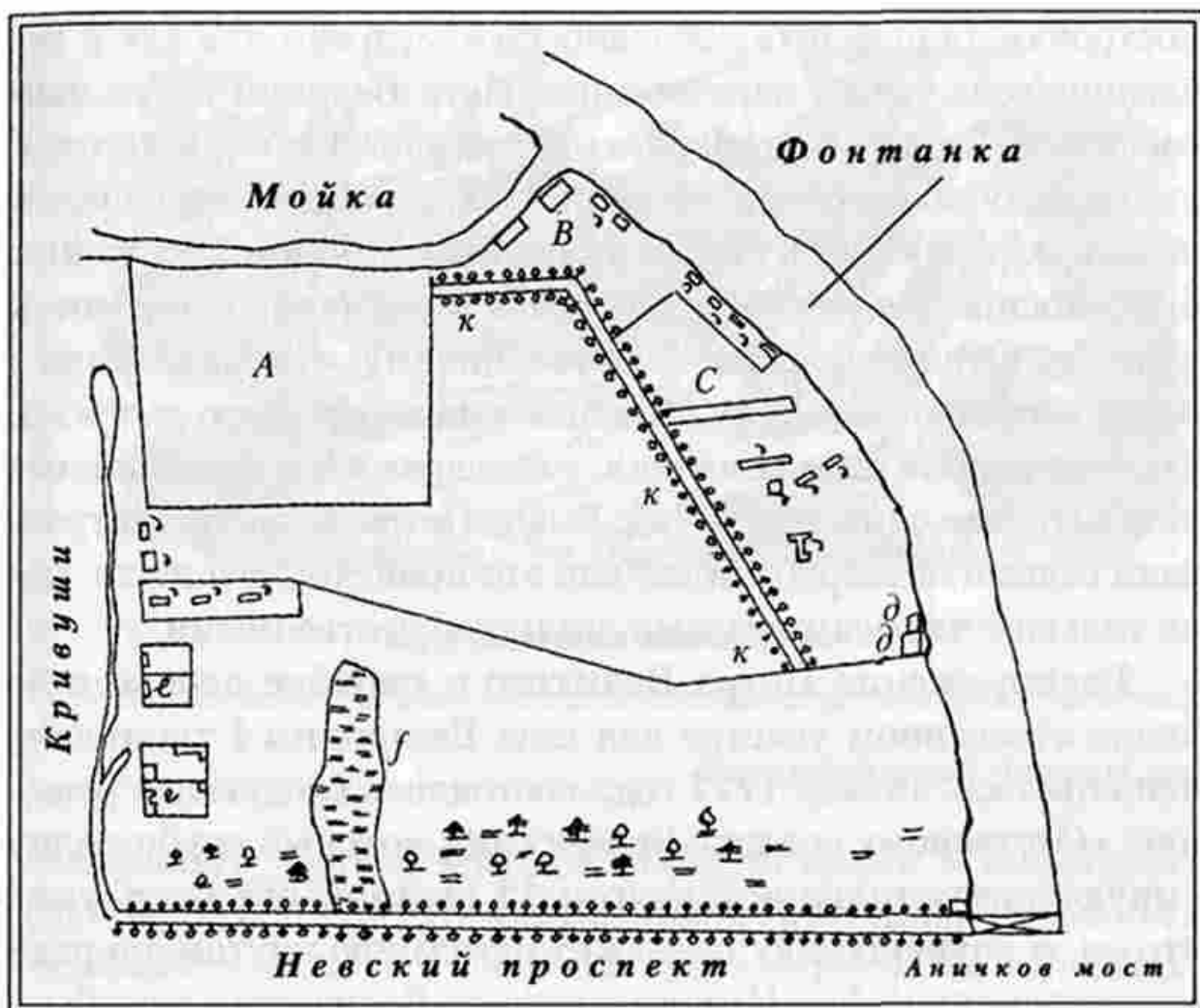
Одной из характерных особенностей Петра Великого при построении Петербурга было желание воспользоваться прежде всего теми местами в своем «Парадизе», которые уже были

до известной степени обработаны при шведском владении. Поэтому-то Петр Великий при разбивке своего Летнего сада воспользовался уже имеющимся садом шведского майора Конау. За этим садом по направлению к Невскому проспекту между Фонтанкой, Мьей (нынешней Мойкой, тогда еще соединявшейся с Фонтанкой, а начинавшейся в виде болотного ручейка на месте нынешнего Михайловского сада) и Кривушами (соединение Кривушей, или, вернее, заменившего их Екатерининского канала, с Мойкой произошло в царствование императрицы Екатерины II) Петр Великий отвел место для сада своей супруге императрице Екатерине I.

Точно определить время, когда был отведен этот участок (выкопировка № 2) довольно затруднительно, но, принимая во внимание, что настоящим переселением в Петербург цариц, царевен и царевича следует считать 1712 год (Петров. История Петербурга, ст. 73), можно предположить, что участок под сад был отведен, если не в 1712, то в 1713—1715 годах, т. е. или почти одновременно с началом устройства Аничкова моста или несколько ранее.

Плана первоначального сада императрицы Екатерины I пока еще не найдено, и чтобы составить себе хотя некоторое представление об этом саде царицы, нам придется опять-таки прибегнуть к Берхгольцу, который, к сожалению, в этот раз в дневнике был очень лаконичен: «По окончании этого визита герцог отправился обратно на своей барке и потом ходил в сад царицы, который недалеко от дома его высочества. Сад разведен очень недавно и потому в нем нечего еще было смотреть, кроме уже довольно больших деревьев. Нет сомнения, что со временем он будет весьма хорош, потому что царица любит великолепие, да и места довольно, чтобы сделать что-нибудь порядочное. Граф Пушкин, бывший с нами, водил его высочество в маленький домик, находящийся на северной стороне этого сада, и когда мы осмотрели его внизу, просил нас войти на чердак, откуда видна большая часть Петербурга» (Берхгольц. Часть I, с. 65).

Если Берхгольц говорил, что и в 1721 году сад был не устроен, то это происходило потому, что Берхгольц при посещении сада императрицы Екатерины I предполагал найти



Выкопировка № 2 (из плана Петербурга 1738 года)

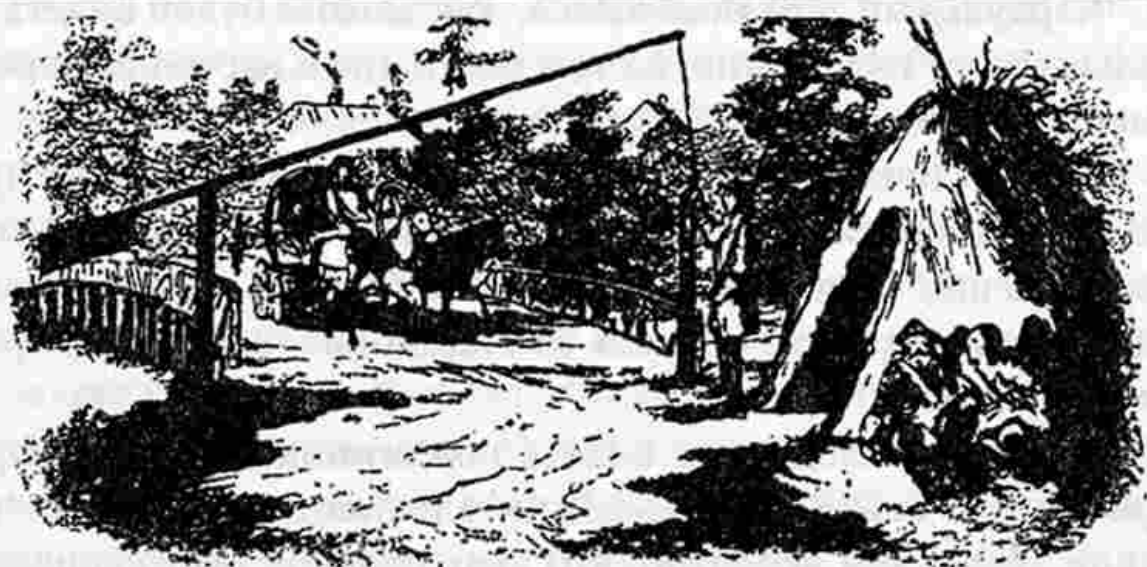
нечто подобное Летнему саду, между тем сад Екатерины I никогда не имел характера сада увеселительного, он должен был быть садом хозяйственным, и поэтому-то в камер-фурьерском журнале он постоянно зовется 2-м огородом. Для огорода собственно было отведено место, обозначенное на выкопировке № 2 под буквой А — теперь здесь находится Михайловский сад, ближе к Фонтанке и Мойке находился маленький Летний дворец Екатерины I (на выкопировке обозначен буквой В), а дальше по Фонтанке, по направлению к Невской перспективе, шли хозяйственные постройки, между ними уже в Петровское время была заложена каменная оранжерея, обозначенная на выкопировке № 2 под буквой С. Эта оранжерея была закончена в царствование императрицы Екатерины I (общий Архив Министерства Двора, опись 73/187, картон 8449, книга 56, дело 160, листы 606–615). Есть какие-то довольно глухие указания, что при устройстве сада императрицы Екатерины I были отчуждены частные постройки, но где находились эти

постройки, определить довольно-таки мудрено, так как в последние года своего царствования Петр Великий велел присоединить к саду императрицы Екатерины I и все пространство между нынешними Мойкой и Екатерининским каналом по левую сторону Невского проспекта, причем строжайше было воспрещено рубить деревья в этом вновь отведенном участке. Отводился этот участок потому, что Екатерина I приблизительно на месте нынешнего Конюшенного двора начала устраивать свои конюшни — около них и предполагалось устроить еще один новый сад. В дни Петра Великого устраивали сады, а не вырубали их, как это происходит в наши дни не только с частными садами, но и с общественными.

Распоряжение Петра Великого о нерубке деревьев во вновь отведенном участке для сада Екатерины I тщательно исполнялось. 16 мая 1722 года состоялось следующее решение: «Отставному солдату Репинскому, который срубил одну сырую березу толщиной кругом 15 дюймов, объявить указ, что он за оную посечку подлежит наказанию кнутом; но ради многовременной Его Императорскому Величеству службы в солдатстве и бытности его неоднократно при баталиях и штурмах, то наказание ему оставляется; и потом учинить ему при публике, в том месте, где он посечку учинил, за то наказание: бить батоги нещадно, для того, что он посечку учинил малую» (Материалы к истории Русского флота. Т. IV, с. 504).

Как особенная милость лицу «много послужившему» было учинено наказание только батогами. Обыкновенных же смертных, рубивших деревья в заповедных местах, просто-напросто засекали насмерть кнутом, но, очевидно, и это наказание не останавливало порубщиков. Тогда решительно запретили ходить через эти рощи и для наблюдения поставили крепкий караул.

Екатерина I за короткие дни своего царствования обратила большое внимание и на свой сад, и на свой Летний дворец — над маленьким домиком, очевидно, над тем чердаком, с которого Берхгольц, как мы указали выше, любовался Петербургом, должно было устроить купол, причем этот купол желали вызолотить: отдали на пробу для золочения одну доску, но, очевидно, проба не удалась (Общий архив Министерства Двора, опись 73/187, картон 9445, дело № 101), и купол



Первоначальный Аничков мостъ.

Первоначальный Аничков мост

выкрасили желтой краской (Общий архив Министерства Двора, опись 73/187, картон 8445, дело 125); затем были большие заботы и о нарисовании плафонов на потолках и об украшении стен картинами, словом, Екатерина I хотела сделать Летний дворец помещением вполне себя достойным. Внезапная смерть пресекла эти заботы.

Еще одно распоряжение императрицы Екатерины I относительно данной местности представляет для нас несомненный интерес. Общеизвестен исторический факт, что положение императрицы Екатерины I на престоле не могло быть названо вполне твердым, Екатерина I могла ожидать всяких неожиданностей: старо-боярская партия, трепетавшая перед Петром Великим, поднимала голову и только ждала удобного случая, что расправиться и с ненавистной «немкой», и с ее помощником князем Меншиковым. Надо было принимать меры предосторожности. И первую из таких мер был указ от 17 февраля 1726 года «о постройке у Аничкова моста караульного дома (на выкопировке № 2 он обозначен буквой Д). На мосту была устроена рогатка и каждого приезжающего в Петербург останавливал караул, требовал документы и только после тщательных и долгих расспросов пропускал в столицу. Подозрительные люди, таким образом, будто бы не могли попасть и затеять смуту.

Караульный дом помещался, как можно будет видеть из дальнейшего изложения, на том месте, где в настоящее время высится громадный дом Лихачевых.

Нестор Кукольник, издатель первого русского иллюстративного журнала «Иллюстрация» (1845–1849 гг.) поместил изображение этого первого караульного дома, причем оговорился, что оно взято с какой-то старинной гравюры Петровского времени.

Нам не приходилось видеть подлинника этой гравюры, причем нам кажется очень сомнительным само ее существование; более чем вероятно, что этот рисунок был нарисован одним из сотрудников «Иллюстрации», с легкой руки которой он неоднократно перепечатывался и перепечатывается под названием Аничков мост в XVIII веке. Приводим и мы эту иллюстрацию с указанием одной очевидной, бросающейся в глаза неточности — Аничков мост и при Петре Великом, и при его преемниках вплоть до 1741 года был подъемным — на рисунке же он изображен мостом на сваях.

Все вышеизложенное позволяет хотя бы эскизно восстановить картину местности между Екатерининским каналом и Фонтанкой по левой стороне (от Адмиралтейства) Невского проспекта в первую четверть века существования современного Петрограда:

«Узенький небольшой подъемный мост через Фонтанку, направо от него мазанковый или деревянный караульный домик, широкая, прямая аллея, обсаженная с двух сторон плохо принявшимися небольшими березками; аллея эта вымощена, а за ней, параллельно ей, тянется, извиваясь в стороны, проезжая тропа — за проезд по преспективной дороге брался особый сбор, охотников платить находилось мало и большинство ездило рядом с этой аллеей; вдали виднеется купол небольшого деревянного дворца, а в сторону от него, ближе к преспективной дороге возвышается удлиненное каменное здание оранжереи — но, чтоб дойти к ним, надо перейти широкое болото, кое-где уже расчищенное от леса, а кое-где с маленькими рощицами, главным образом из березы, тщательно оберегаемым от порубок. Ближе к Кривушам, за низким забором или вернее плетнем, тянутся гряды с традиционной

капустой, редькой и луком, за ними парники с огурцами и другими более нежными овощами; тут же шпалерами пошли крыжовник, смородина, малина, а почти у Мойки разбиты и цветники. Кое-где среди этих гряд возвышаются небольшие домики — здесь живут немцы-садовники. Вдоль Кривушей уже вытянулись постройки; в них живут рабочие, ученики садового дела и часть служащих Конюшенного двора — общее впечатление старой русской усадьбы богатого помещика, у которого дом полная чаша. И ряд узких, хорошо утоптаных дорожек показывает, что в этом уголке кипит жизнь, много ходят сюда... Но тщетно мы будем искать даже намека на то, что здесь на месте огорода, будет когда-нибудь наиболее оживленная часть столицы».

III

1725–1733 года — самые темные года в истории Петербурга: переезд Двора в Москву, желание вернуться к старым допетровским порядкам — все это не могло не повлиять на зарождающуюся столицу, о которой перестали заботиться. Выстроенные наскоро постройки приходили в упадок, никто не думал об их ремонте, исчезла забота даже и о внешнем благоустройстве: Петру Великому и его ближайшему помощнику по полицейским мероприятиям Девиеру стоило немало хлопот и трудов устроить в Петербурге уличное освещение — и одним из первых распоряжений правительства Петра II был указ «о не зажигании по улицам Петербурга фонарей, кроме дней торжественных иллюминаций». Точно также, чуть ли не на другой день после свержения кн. Меншикова, был уничтожен открытый им мост на плашкоутах через Неву на Васильевский остров. Это распоряжение объяснялось заботой о торговцах, им-де мешает мост, так как затрудняет свободный проход судам в море.

Племянница Великого Петра, императрица Анна Иоанновна, вернулась из Москвы в Петербург и занялась на первых же порах устройством своего личного жилища — первоначального Аннинского Зимнего дворца. Трудно предположить, как бы выразились заботы о благоустройстве Петербурга, как

бы пошло его развитие, если бы не одно случайное обстоятельство.

В 1736–1737 году старый Петербург Петровского времени в ряде страшных пожаров — большинство их было от поджогов, истинная причина последних и до сих пор не выяснена — был истреблен пламенем.

Сгорели так называемые Морские слободки (нынешняя Морская, улица Гоголя, Исаакиевская улица), Греческая слободка (пространство между настоящими Миллионной улицей, Аптекарским и Мошковым переулком и набережной реки Мойки), Переведенские слободки (между нынешними Екатерининским каналом и Мойкой по правой стороне от Адмиралтейства, Невского проспекта).

Необходимо поэтому было начинать вновь строиться — возникла так называемая «Комиссия Петербургского строения», которая прежде всего занялась съемкой плана Петербурга; в результате этой съемки был составлен план Петербурга 1738 года, двумя выкопировками из которого мы пользовались. На основании этого плана и тех немногочисленных статистических данных, которыми обладала комиссия, она составила ряд докладов императрице Анне Иоанновне о регулировании и построении столичного города Санкт-Петербурга. Эти доклады шли на «апробацию» императрицы, которая очень внимательно относилась к своему утверждению, нередко возвращала доклады для переработки и собственноручно писала большие резолюции, иногда вполне изменявшие первоначальные предположения комиссии Петербургского строения.

Большинство этих докладов напечатано в полном собрании законов. Для нашей цели интересен доклад, носящий следующее заглавие: «Об устройстве мест между реками Фонтанкой и Мойкой до Невской перспективы по плану».

Этот доклад датирован 12 декабря 1739 года — т. е. 180 лет тому назад (Полное Собрание Законов, том X, № 7969, с. 968–972).

Из этого доклада в особенности и ряда ему аналогичных мы, прежде всего, можем познакомиться с теми проектами, с помощью которых хотели урегулировать изучаемую нами местность, а затем, тщательно анализируя эти проекты,

сопоставляя их с планами более позднейших годов и с тем, что мы видим в наши дни, мы можем нарисовать до известной степени и картину того, что было в действительности в этой местности, и главное, в той ее части, где теперь проходят Караванная и Итальянская улицы, где устроена набережная реки Фонтанки.

Комиссия Петербургского строения прежде всего обратила внимание на местность Фонтанки, где был Аничков мост и проект комиссии был не только любопытен, но и грандиозен.

«По Невской же перспективе, — писала Комиссия, — подле моста, которой сделан против оной чрез Фонтанную речку, едучи к Невскому монастырю, в левой стороне, близ берега той речки Фонтанной, для удовольствия Адмиралтейской, Литейной и Московской, и того трех частей, построить главной Мытной двор».

Обращаем внимание на это милое старинное выражение: «для удовольствия Адмиралтейской, Литейной и Московской и того трех частей» — «удовольствие» здесь понимается в смысле удовлетворения потребностей. Рынки в указанных частях города были на окраине их, обывателям приходилось тратить много времени на покупку провизии, и вот «для удовольствия» обывателей — там, где теперь дома Лихачева, Меншиковой, кн. Шаховской и, может быть, еще несколько соседних — комиссия полагала устроить «главной» (подчеркиваем это слово) Мытной двор.

Устройство этого двора описано очень подробно, и это описание, хотя бы по своей старине (ему ведь, повторим еще раз, 180 лет), не может нас не заинтересовать.

Главный Мытной двор предполагалось построить каменным, в котором амбары и лавки сделать со сводами, а гзымзы каменные, и у тех амбаров и лавок двери и у окон ставни железные и перед лавками галерею ж каменную, которую мостить камнем или на ребро кирпичом, а кровлю крыть на деревянных стропилах черепицей или железом».

К сожалению, не сохранилось рисунка проекта этого каменного Мытного двора, но если вспомнить уже уничтоженный Гостиный двор на Васильевском острове, существующий еще Мытный двор на Песках, припомним характерную деталь

аннинских построек — рустики — то обладая некоторым воображением, можно представить себе, что представляла бы из себя местность Невского проспекта у Аничкова моста.

Аннинская комиссия построения Петербурга, обладая безусловно большим творческим размахом, в то же время отличалась изумительной любовью к деталям: кажется, ничего не пропускала эта комиссия, она учитывала само незначительное местное явление, она принимала во внимание всякую особенность и, кроме того, проявляла забору не только о сегодняшнем дне, нет, ее проекты таковы, что должны были удовлетворить потребности обывателей на много-много лет вперед. Быть может это происходило оттого, что в комиссии вместе с рассудительным немцем фон Зиггеймом заседали рядом два славянина: архитектор Еропкин, побывавший в Италии и прочувствовавший красоту итальянского гения, и русский самородок Земцов, ездивший только в Стокгольм, чтобы вывезти оттуда мастеровых людей и нашедший в самом себе и в условиях своей родины достаточно материала для творческой деятельности.

Все эти особенности Аннинской комиссии ярко отразились в разбираемом нами проекте Мытного двора: «И понеже то место, — писала дальше комиссия, — где тот Мытный двор построить разсуждено, весьма низкое (вот и еще одна любопытная деталь для топографии изучаемой нами местности. — *П. С.*), а для большой воды надлежит в лавках и амбарах делать полы выше той воды на 2 или 3 фута, и для того под теми лавками каменный фундамент будет не малой вышиной; того ради, дабы тот фундамент втуне не остался (какую предусмотрительность высказывает комиссия, как заботится она о казенных суммах! — *П. С.*) под те лавки и амбары сделать для поклажи масла и сала и тому подобных товаров погреба со сводами ж, с которых как и с лавок будет казенный сбор».

Но и этот проект по своей грандиозности, особенно принимая во внимание, что он составлялся 180 лет тому назад, не удовлетворил комиссию, и она вносит в него последний штрих, дающий картине и смысл и жизнь: «А напротив того Мытного двора от Фонтанной речки и для удобного приставания судов сделать гавань, длиннику по реке 60, а поперечнику 30 сажень (т. е. квадратной площадью, поясним от себя,

в $\frac{3}{4}$ десятины) и от той гавани вверх по оной Фонтанной речке до моста, что против церкви Святых Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, ту речку вычистить и вынятой землей, около того Мытного двора низкие места повысить, а у объявленной гавани, тако ж и берега в тех местах, где означенная вычистка будет, укрепить таким образом, как в Мойке речке берега ж укрепить велено».

По Ладужской системе хлеб, припасы, товары на барках спустятся по Неве до Фонтанки, по которой пройдут к новоустроенной гавани, пристанут вплотную к Мытному двору, куда их и выгрузят без особого труда, а в то же время обыватель на шлюпках и баркасах, по той же самой Фонтанке, из Литейной и Московской части, въедет в ту же гавань, чтобы закупить нужный себе провиант, сложить его в свои лодки и также легко и удобно доставить домой.

Что за идиллия рисовалась нашим предкам! Как им хотелось все же осуществить неосуществленный проект Петра Великого об устройстве из Петербурга, если не Венеции, то Амстердама с их каналами. Правда, при этом не принималось во внимание маленькое обстоятельство: продолжительная зима, не позволяющая обывателями чуть ли не $\frac{2}{3}$ года пользоваться водным сообщением, но стоит ли обращать внимание на такую мелочь — проект так красив по своему замыслу!

Наконец, Комиссия Петербургского строения предлагала: «Близ того Мытного двора с двух сторон пустить площадь и от оной площади до мосту, который у выше описанной церкви (т. е. до нынешнего Симеоновского моста) сделать дорогу по берегу реки Фонтанки (это обстоятельство нужно помнить при дальнейшем изложении) шириной на 7 сажень и ту площадь и объявленную дорогу вымостить камнем».

Анна Иоанновна, «апробировав» устройство Главного Мытного двора, к постройке которого, впрочем, и не приступали, изменила вполне дальнейшие предназначения Комиссии, причем, с своей стороны предложила к выполнению проект едва ли не еще более грандиозный.

Устроив Мытный двор и площадь, Комиссия предполагала следующим образом урегулировать любую сторону Невского проспекта от Аничкова моста до нынешнего Екатерининского

канала: «Место вдоль по Невской перспективной улице, между оной и Вашего Императорского Величества садом, порозжие все места раздать под строение обывательских домов, на которых можно быть двумя линиям и из оных построить, в первой линии, что к перспективной, подземные каменные, без погребов («подземные» здесь употребляется, конечно, не в смысле «подземлей», а указывает лишь на то, что первый этаж начинался сразу над фундаментом. — *П. С.*) и крыть черепицей, а внутри тех дворов службы, отступя от каменных палат 5 сажень деревянные; а ежели в тех местах, кто пожелает строить в одно или в два жилья (т. е. двухэтажные. — *П. С.*) на погребах и на дворах делать службы каменные ж и в том позволить, точию принуждения к тому не чинить; а между теми дворами к улице делать ограды, також у ворот верей каменные же, а ежели кто желает, вместо каменной ограды делать железную решетку и в то же дать позволение; а позади тех каменных домов и в другой линии, лицом к саду Вашего Императорского Величества строить деревянные дома и перед теми домами пустить улицу же шириной на 8 сажень, которую вымостить камнем же, а под те каменные и деревянные дома отвести места длиннику по 40 сажень, а поперечнику по 15 сажень, и оныя раздать под строение всякого чина желающим людям».

Из этого проекта Комиссия Петербургского строения можно почти наверняка заключить, что нынешняя Итальянская улица до 1739 года не существовала, и что ее проектировала провести эта Комиссия.

Но императрица Анна Иоанновна не удовлетворилась таким проектом Комиссии.

«Позади Нашего третьего огорода, — гласила собственноручная резолюция императрицы, — к перспективе которая идет от погребов, подле слонового двора на порожном месте сделать ягде гартен, для гоньбы и стрелянья оленей, кабанов и зайцев, и для того оное место изравнять и насадить деревьем, оставя перспективы так, как на плане изображено, и в середине сделать галерею деревянную на каменном фундаменте, а против дорог каменные стенки, а вместо того под огородные овощи для поварни Нашей учредить гряды в том огороде, который за улицей против Италианского дома и сверх того

выбрать и определить еще пристойные довольные места для корней и трав, потребных к Нашей поварне, дабы вперед она могла удовольствована быть из Наших огородов всем тем, чем возможно обойтись без купли и продажи».

Чтобы понять это странное на наш современный взгляд желание императрицы Анна Иоанновна сделать около своего Летнего дворца зверинец для охоты, достаточно вспомнить хотя бы записи Манштейна. Этот последний в своих записках писал следующее: «Получила Анна Иоанновна охоту к стрельбам из ружей и толикое искусство приобрела в оном, что не токмо метко попадала в цель, но наравне с лучшими стрелками убивала птиц на лету. Сею забавой вовсе не приличной женскому полу долгие и почти до кончины своей занималась. Во дворце, находившемся на берегу Невы, всегда в комнатах ее стояли заряженные ружья, из коих стреляла она из окна в мимо летающих птиц».

Весьма понятно, что при такой страсти к охоте и стрельбе, императрица могла пожелать устроить поближе к своему Летнему дворцу «ягд-гарден».

Далее императрица Анна Иоанновна внесла и следующую любопытную деталь в вышеприведенный проект комиссии Петербургского строения.

«Кругом слоноваго двора и оранжереи (на выкопировке № 2 под буквами с и д. — П. С.), також и между оранжерей погребов мелкое строение регулировать, а по Фонтанке берег укрепить и обделать сваями и насыпать землей, а против моста, который сделан из второго в третий огород у погребов над воротами перемычку для проспекта снять и оные погреба и между ими проход обделать пристойным украшением, а на конце перспективой, которая идет сквозь оные погреба (на выкопировке под буквами k, k. — П. С.) сделать ворота с галереей и с прочим украшением, дабы от хором чрез сады мог виден проспект быть. Назначенные по плану под строения места и улицы апробируются, токмо в первой Колонне по Невской перспективой места под каменные дома отдавать желающим, а оставшие затем места, кои добровольно застроены не будут, раздавать и тем, которым надлежит каменные дома строить с числа душ; а понеже некоторое каменное строение,

по обеим сторонам той перспективной уже застроено на погребках, того ради и все по оной перспективной дома строить на погребках же в один, а кто и пожелает и в два апартамента (т. е. в 2 этажа. — П. С.)».

Соединим проект Комиссии Петербургского строения и пожелания императрицы Анна Иоанновны, предполагая их осуществленными.

На Невском проспекте близ Аничкова моста на высоком фундаменте, с крытой каменной галереей Мытный двор, перед которым обширная гавань с заездом из Фонтанки. За этим Мытным двором, вдоль Невского проспекта, вытянулись небольшие двухэтажные на погребках дома, разделенные друг от друга или каменными заборами, или железными решетками, за которыми зеленеют сады «регулярные». Итальянская улица, или вторая «Невская колонна», шириной в 8 сажень, тянется от Кривушей к перспективной дороге, которая идет от Летнего дворца к Невскому проспекту, по направлению нынешней Караванной улицы. По одной, правой стороне, этой второй Невской колонны деревянные домики прихотливо выглядывают из-за зелени деревьев, а по левой стороне тянется высокая каменная стена, за которой вплоть до Мойки разбит ягд-гартен, где резвятся красивые с многоветвистыми рогами олени, и откуда изредка доносится злобное хрюканье диких свиней — кабанов, на особых подводах, по почтовому тракту, перевезенных издалека вновь, учрежденный ягд-гартен.

Перспективная дорога, идущая по направлению нынешней Караванной улицы, с правой стороны также отделана каменной стенкой, а левой обсажена деревьями за которыми, на месте нынешнего цирка Чинизелли, стоят большие слоновые амбары; там собиралось иногда до двух десятков слонов, и купленных «не малой ценой», и полученных «в презент» от персидского шаха. Далее за слоновыми амбарами, на месте нынешнего Инженерного садика размещалась большая каменная оранжерея — «изволила Ее Императорское Величество в оранжерее поехать и там иностранные плоды с превеликим удовольствием осмотреть, а особливо понравился Ее Императорскому Величеству из сих плодов ананас именуемый, которых два Ее Императорское

Величество сама снять изволила» — и разное мелкое регулярное строение, в котором жили и садовники, и их ученики, и наконец, рабочие. Берег Фонтанки, укрепленный сваями, был вплоть до большого Мытного двора свободен от построек.

Так рисовалось воображению. А на самом деле картина была несколько иная: с Аничкова моста спускались в низкое топкое место. Невская перспектива представляла из себя нечто вроде сохранившихся кое-где в центральной России так называемых «Екатерининских больших дорог», по бокам ее, то приближаясь к ней, то убегая в отдаление (как будет видно дальше) стояли небольшие домики, их было немного менее десяти. За этими домами шло полуосушенное, полувыврубленное от леса болото, на котором местами, как бы оазисами «сплетено был строение одно подле другого», «дома были узки и кривы и умножены деревянным и опасным от огня строением». Царские огороды оставались в прежнем внешнем виде: увеличился только их размер, да умножилось число хозяйственных построек. По берегу Фонтанки возвышались огромные бревенчатые, безобразного вида, слоновые амбары, около которых в беспорядке теснилось «мелкое строение», чернели погреба для хранения припасов для «Императорской поварни», да возвышалась каменная оранжерея.

Действительность, как это, положим, и всегда бывает, резко не соответствовала проектам и предположениям, и эти проекты и предложения так и не вошли в жизнь: для осуществления их требовалось много и очень много денег, а обилием денежной казны никогда не могло похвастаться правительство императрицы Анны Иоанновны: в это время нередко жалование придворным чинам выдавалось «сибирской рухлядью», а почтенные немцы, заседавшие в Сиянс-Академии, получали вместо ассигнаций отпечатанные ими же в академической типографии книги.

IV

Если случайное обстоятельство — пожары 1736 и 1737 годов — дало толчок к первому желанию урегулировать и устроить описываемую нами местность Петрограда, то

не менее случайное обстоятельство заставило от желаний перейти к осуществлению их.

«И понеже на оной же Невской проспективе, — читаем мы в докладе Петербургской комиссии от строений, — в правой стороне Фонтанной речки имеется двор купца Дмитрия Лукьянова, а под тем двором с порожним местом, что за оным к Гостиному двору, будет длиннику около двух сот сажень, на котором месте, впредь, для лучшего регулярства и вида потребно к оной же перспективной (когда построены будут гостиной и Мытный двор, каменные також на погорелых и прочих местах, меж Невы и Мойки и на оной же перспективной назначения по плану места все застроены будут обывательским каменным строением) построить против вышеписанного, каменные ж дома и, для постройки тех каменных домов оному Лукьянову, то сухое дворовое место, тогда желающим людям по оценке отдавать или оные места застроить ему Лукьянову самому».

Так рассуждала Комиссия Петербургского строения. На дворе Лукьянова ближе к Фонтанке, как видно из плана 1738 года, помещался полковой Преображенского полка двор.

Наступила ночь на 25 ноября 1741 года. Принцесса Елизавета Петровна, в сопровождении Шварца, Воронцова и Лестока, с 7-ю гренадерами, в час пополуночи, села в сани и из своего дома, находившегося на Красном канале (нынешний служебный дом принца Ольденбургского на Царицыном лугу в линии с Павловскими казармами) отправилась на полковой Преображенский двор.

Произошел очередной государственный переворот — Анна Леопольдовна со своим супругом Антоном Ульрихом отправилась в Холмогоры, несчастный Иоанн Антонович в Шлиссельбурге, а на престол взошла тишайшая Елизавета Петровна, законная дочь Великого Петра.

В память о тревожной ночи 25 ноября 1741 года императрица Елизавета Петровна решила на месте бывшего полкового двора Преображенского полка выстроить новый дворец, который получил наименование Аничков дворец. 6 апреля 1742 года гоф-интендант Шаргородский дал первый ордер архитектору Земцову о постройке этого дворца. Хотя официально дворец этот строился для императрицы, но ни

для кого не было секретом, что в нем будет жить царский любимец, недавно еще бывший певчий, а теперь граф Римской империи обер-егермейстер Алексей Григорьевич Разумовский. Дворец строился девять лет, и 17 марта 1751 года произошло освящение храма в Аничковом дворце.

Почти одновременно, но, конечно, гораздо скорее, граф Растрелли на месте нынешнего Инженерного замка воздвиг роскошный деревянный Летний дворец, заменивший собой маленький домик Екатерины I.

Эти две громадные постройки, весьма понятно, придавали совсем иной характер той местности, которая всего два-три года тому назад представляла собой «место низкой, топкой» и где мечтали разбить ягд-гартен. Оставить эту местность в ее первоначальном виде, конечно, нельзя было, и начинается целый ряд указов императрицы Елизаветы Петровны об урегулировании как Невского проспекта, так и Итальянской улицы и поперечных им вновь возникающих улиц и переулков.

Очевидно, в один из своих проездов на постройку Аничкова двора, а может быть, даже идя пешком из Летнего сада на эту постройку, — Елизавета Петровна очень часто ходила пешком, — императрица поразилась странным видом березок, посаженных по Невскому проспекту; березки эти были изукрашены различными хозяйственными принадлежностями соседних домохозяев: сушилось белье, висела зимняя одежда, проветриваясь и приготавливаясь к укладке в сундуки впредь до морозов, а кое-где на ветвях была натянута и посуда — горшки да кувшины для молока. И появился грозный указ императрицы «О запрещении с.-петербургским жителям развешивать что-либо на березках на Невской перспективе».

Выше мы указали, что немногочисленные постройки Невского проспекта ютились в беспорядке по сторонам его. Действительно, начиная с 10 мая 1745 года, появляется ряд указов, стремящихся урегулировать эти постройки, вытянуть их в линию по Невской перспективе. Эти указы завершаются повелением «о перестройке и переносе до 1 мая 1747 года в С.-Петербург по Невской перспективе всех обывательских домов, выстроенных не по утвержденным планам по близости к улице».

1 мая 1747 года должно было быть последним сроком переноски домов. Трудно думать, что, действительно, к этому времени, все дома были перенесены, но во всяком случае, можно полагать, что линия нынешних домов на Невском проспекте определилась приблизительно к началу 50-х годов XVIII столетия. Выше, разбирая проекты Аннинской комиссии петербургского строения, мы подчеркивали, что дома на левой стороне Невского проспекта были уже в 1739 году. К сожалению, нам удалось, да и то относительно, восстановить только один из первых домов Невского проспекта — это нынешний дом Елисеева, на углу Екатерининской улицы, где помещается театр Лин.

В 1749 году мы читаем в «С.-Петербургских ведомостях» такое объявление: «Через сие чинится известно, что ежели кто желает взять в наем каменный двор Ее Императорского Величества бандуриста Матвея Федорова, состоящий по Невскому перспективой, против Гостиного двора меховой линии, что прежде сего бывал Архитектора Земцова, весь с деревянным строением или порознь одни каменные палаты с погребями, те б явились для договору во оном доме у дворецкого ево Кирилла Финкенберга».

Архитектор Земцов умер в 1743 году, следовательно, его дом был построен ранее 1743 года «каменным с погребями». Но является вопрос, когда же был построен Земцовым этот дом, — точных указаний мы, к сожалению, не имеем, но позволяем себе высказать следующие соображения.

В 1725 году, после смерти Петра Великого, архитектор Земцов пошел в гору, ему давала разные поручения императрица Екатерина I, и в этом же году Земцов обращается к императрице с прошением, в котором, указывая, что у него нет еще до сих пор своего дома, и что от этого обстоятельства он терпит «большой урон», просит ему пожаловать дом на Литейной стороне. Дом был пожалован (Общий архив Министерства Двора, опись 73—187, картон 8444, книга 48, дело № 128, лист 947), и так как Земцов находился при канцелярии дворов и садов, которая помещалась там же, на Литейной стороне, то, видимо, Земцов остался доволен своим домом. 6 апреля 1742 года Земцову была поручена постройка Аничкова дворца, с постройкой очень торопили, чертежи посылались

на апробацию Елизавете Петровне в Москву и, более чем вероятно, что Земцов, мотивируя необходимостью постоянно присутствовать на постройке Аничкова двора, указал на неудобство своего старого дома, который был слишком удален, и вновь просил пожаловать ему дома, где-нибудь поближе к Аничковому дворцу. Земцову отвели вышеуказанное место, на котором, очевидно, в том же 1742 году он и построил себе дом.

Мы считаем Невский проспект главной артерией столицы и забываем, что таковым он сделался сравнительно недавно; в дни царствования Анны Иоанновны Невский проспект был задворками Петербурга, вот почему на нем и отводились места для иноземных церквей, и можно думать, что отвод в 1738 году места для Католической церкви был одним из первых отводов участков в этой местности; не забудем, что только 20 апреля 1739 года большая перспективная дорога получила название Невской перспективы, из которой с течением времени вышел Невский проспект.

Укажем еще на ряд забот о Невском проспекте: 14 декабря 1745 года появилось распоряжение о сделании для Невской перспективы и других улиц 100 новых фонарей. Сколько фонарей из этой сотни было расставлено по Невскому проспекту, мы точно сказать не можем. Наконец, к концу царствования императрицы Елизаветы Петровны, 8 октября 1759 года вызывались желающие «для мощения здесь по Невской перспективной вновь мосту» поставить большой плитной камень.

Не меньше забот прилагалось и об Итальянской улице, причем оговоримся, что большинство этих забот не выходило из области предположений.

В 1746 году вызывались желающие «к мощению улицы, следующей позади Невской перспективной против 3 саду каменного мосту поставить дикого камня 121 сажень, земли 30 кубических сажень» — очевидно, предполагалось не только замостить улицу, но и повысить ее. Было ли произведено замощение улицы, мы не знаем, но 28 мая 1751 года императрица Елизавета Петровна повелела из теперешнего Екатерининского канала, а тогда Глухого протока, параллельно Невскому проспекту, на месте Большой Итальянской улицы, провести к Фонтанке канал, которым предполагалось совершенно

отделить от городских построек дворцовые сады. Такое решение было вызвано тем обстоятельством, что «Ее Императорское Величество соизволила указать, что проходящие через сад рвут яблоки и другие фрукты, в котором своеволие свое высочайшей Императорской особой усмотреть соизволили». Камер-фурьерский журнал, из которого мы почерпнули эти сведения, приводит еще более яркие примеры своевольства, но, по нынешним временам, эти примеры вполне нецензурны.

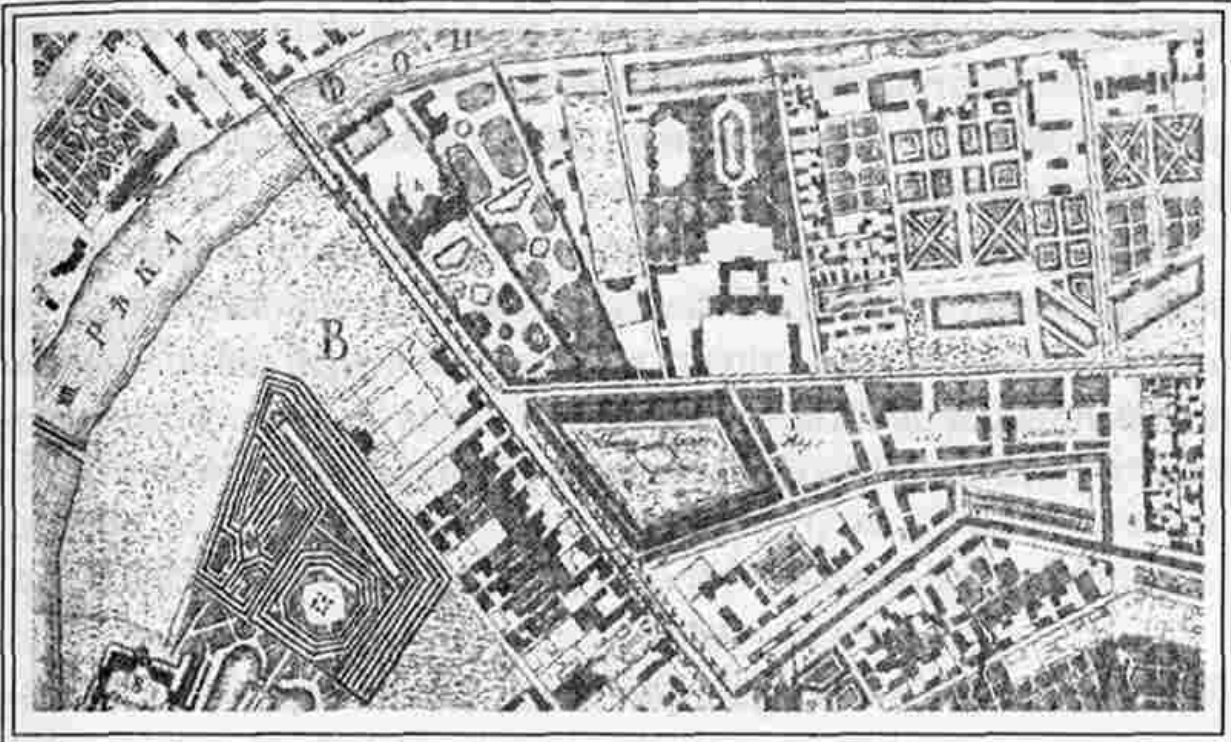
Чтобы обеспечить себя от такого своевольства, императрица Елизавета Петровна и хотела прокопать канал, но к работам и не приступали.

Сведение о домах на Итальянской улице мы впервые встречаем в 1749 году, когда появилась публикация «о продаже коллегии иностранных дел секретарем Степаном Писаревым деревянного двора на каменном фундаменте во 2-ой колонне Невской, называемой еще и Италианской перспективой, что против Летнего дворца и третьего сада».

Стефан Писарев, переводчик известного жизнеописания Петра Великого, составленного Катифорой, являлся одним из последних литераторов Елизаветинского времени; где, точно, находился его дом, мы, к сожалению, не могли определить.

Наконец, в елизаветинские же дни была попытка определить направление Караванной улицы. Почему появилось такое название улицы, мы сейчас не можем объяснить — какие караваны должны были ходить по этой улице, трудно сказать, может быть, на название этой улицы повлияла близость «слоновых домов»: персы и армяне, вожак слонов, могли называть свое жилище караван-сараям, отсюда конечно, могла появиться и Караванная улица, пока мы не нашли подтверждения этого нашего предположения.

Попытку же узаконить вместо дороги, естественно образовавшейся по берегу Фонтанки, Караванную улицу должно отнести к 26 мая 1745 года, когда появилось распоряжение «О пересадке посаженных на Адмиралтейском лугу берез на дорогу от Летнего новопостроенного на Фонтанке Императорского Дому до Невской перспективы по обеим сторонам». Но, кажется, это распоряжение не было введено в жизнь, по крайней мере, через год, «березы на Адмиралтейском лугу»



Выкопировка из плана Петербурга 1754 года

удостоились еще одного указа, прямо противоположного только что приведенному. Этим указом от 17 апреля 1746 года, повелевалось березы с Адмиралтейского луга садить не на дорогу (нынешнюю Караванную улицу. — П. С.), а в Императорские сады и на полицейский двор, причем для первых надо было отбирать «хорошие» березы, а в полицию отдавать «негодные». Не знаем, был ли приведен в исполнение и этот указ, или же березы были растащены с Адмиралтейского луга предприимчивыми обывателями...

Была ли обсажена и урегулирована эта дорога, мы повторяем, не знаем, хотя на плане Махаева 1754 года эта дорога ясно обозначена, причем места вокруг этой дороги, т. е. нынешняя Караванная улица и набережная Фонтанки показаны незастроенными. Последнее обстоятельство едва ли соответствует действительности, но оно показывает, что составители «перспективного» плана 1754 года не забыли высочайший указ от 23 апреля 1751 года, который повелевал «о сносе к 1752 году всех деревянных казенных и частных строений, имеющих-ся около Летнего Императорского дворца в предосторожности от пожаров». Так как этот указ неоднократно повторялся в последующие годы, то мы позволяем себе высказать предположение, что с обывателей брали подписки о переносе домов,

быть может некоторые лачужки и были сломаны, но все-таки постройки в этой местности преблагополучно существовали, но составители плана, памятуя высочайший указ, их просто-напросто не показывали.

Нельзя забывать, что планы, проспекты, гравюры XVIII века не могут служить бесспорным доказательством, так как они далеко не соответствуют действительности; они не только подкрашивали действительность, но представляли существующим то, что никогда не выходило из области проектов.

V

XVIII век — век фаворитизма. На поверхность общественной жизни всплывали одна за другой личности, все значение которых, в большинстве случаев, выражалось лишь в том, что они были «в случае». При помощи этого случая составлялась не одна карьера, в конечном результате разлетающаяся, как мыльный пузырь. Фаворитизм XVIII века в достаточной степени изучен, но другое, параллельное ему явление, наблюдавшееся в том же XVIII веке, почему-то привлекало к себе мало внимания, хотя и оно, безусловно, имеет общественный характер. Мы подразумеваем такое же быстрое обогащение некоторых купеческих фамилий XVIII века. В большинстве случаев наблюдается один и тот же процесс: на горизонте петербургской жизни всплывает купец, которого еще вчера никто не знал, но уже сегодня на него смотрят с почтением. С головокружительной быстротой этот купец наживает миллионы, становится владельцем громадной недвижимости, с помощью пожертвований приобретает чин надворного советника и в очень редких случаях передает свой капитал и свое умение своему наследнику.

Третье поколение этого еще вчерашнего царя купеческого мира Петербурга уже совершенно сходит с арены действий, очень часто пропадает и сама фамилия.

В самом деле, кто в настоящее время знает Яковлевых, Собакиных, Кусовниковых, Жуковых, Зиминных, Косиковских и им подобных. А между тем в былое время это были столпы и гордость Петербургского купечества...

Герой нашего нынешнего расследования, Гаврила Степанович Зимин, до известной степени может считаться петербургским старожилом — уже его отец, Степан Зимин, был в 1753 году петербургским купцом. К этому 1753 году относится разысканное нами в реестре нерешенных судебных дел дело по иску с.-петербургского купца Степана Зими́на с новгородского купца Ивана Красного.

На этом и оканчиваются наши данные по родословию Зиминых; когда появился в С.-Петербурге Степан Зимин, откуда вышел он, мы сказать не может, но в списке первых переселенных в С.-Петербург по повелению Петра Великого купцов этой фамилии мы не нашли.

Степан Зимин был не только петербургским купцом, но уже владел значительным земельным участком.

Зимин переулок около Казанского собора свидетельствует нам, что здесь на углу Екатерининского канала, тогда еще Глухой речки, уже в 1761 году был дом купца Зими́на.

Кажется, первоначальным владельцем этого участка был Родион Чиркин.

У левой северо-восточной стороны алтаря церкви Благовещения находится памятник над прахом одного из основателей этой церкви, Ивана Родионовича Чиркина. Вот единственная память, сохранившаяся до нас об этой когда-то первостатейной фамилии Чиркиных.

Они были выходцами из города Серпухова. В Петербурге, кроме торговли, они занимались еще подрядами на государственные сборы, были директорами питейных сборов и особой русской перевозной ластовой компании. По данным 1755 года оказывается, что русская перевозная компания Родиона Чиркина с товарищами имела 171 мореходное судно, целый, особенно по тому времени, торговый флот.

Затем Чиркиным принадлежал на Васильевском острове огромный участок земли от 1-й линии до 6-й и от Малого проспекта к Малой Неве и Черной речке, где у них были пивоваренные и солодовенные заводы. На этих заводах варились, как говорит первый историк Петербурга Богданов, полпиво английское и голландское. Кроме того, тут же находилась фабрика, на которой делали пудру и крахмал.

Место, где теперь на Большой Морской, не переходя Мариинскую площадь, возвышается дом Министерства государственных имуществ, также было Чиркиных; здесь они, после пожара 1736 года, выстроили каменные лавки, известные под названием «новый гостиный двор».

Наконец, в числе многих других земельных участков у Чиркиных появился и угловой участок на переулок, тогда еще не носивший никакого названия, и на Глухую речку. В 1756 году здесь уже был выстроен каменный дом.

После банкротства Чиркиных, это их место перешло — не знаем по закладной или посредством покупки — в руки отца Зими́на, который перестроил дом, сделав его, как кажется, трехэтажным.

Близость этого дома к Невскому проспекту и Казанской церкви привлекало в него многих торговцев, особенно приезжих иноземцев, например «тирольцев с кинарейками», и среди петербуржцев дом этот приобрел некоторую известность: «пойдем в Зимин дом» — значило дать точный адрес. Отсюда весьма понятно, что маленький переулочек, весь заполненный этим домом, получил прозвище Зимин, которое за ним и сохранилось до наших дней, несмотря на попытку полиции, в начале прошлого столетия, окрестить этот переулок другим названием — Казанский.

Сын Степана Зими́на — Гавриил Степанович Зимин — не только продолжал торговую деятельность своего отца, но выступил и на арену общественной деятельности.

Городской магистрат — учреждение, первоначально соответствовавшее нынешней Городской думе и обладавшее функциями несколько большими, чем Дума — состоял в 1783 году из следующих лиц: президентом его был купец Яков Опайщиков, бургомистрами Петр Сыренков и Гавриил Зимин, ратманами — купцы Василий Карпов, Семен Чекрыгины, Иван Сериков, заседателями — надворные советники Николай Алексеев и Семен Пресняков и коллежские ассессоры Никифор Васильев и Никита Бобарыкин.

Избрание Гавриила Степановича Зими́на на такую почетную и ответственную должность, как бургомистр (нечто вроде нынешнего члена управы), показывает, что Зимин заметно выделялся из среды петербургского купечества.

Исполнением этой общественной обязанности Гавриил Зимин приобрел право на получение звания именитого гражданина, при чем по городской обывательской книге он считался в пятом разряде, а в этом разряде записывали банкиров и купцов, объявивших свой капитал не менее 200 тысяч рублей, что на современные деньги составит до 1 1/2 миллиона.

Отбыв благополучно свой шестилетний срок службы бургомистром, Зимин в 1789 году был перечислен в первый разряд именитых граждан, а в первый разряд заносились те именитые граждане, которых гражданское общество почтило своим выбором в общественную должность.

Таким образом общественная служба Зимина окончилась для него благополучно: на него не было сделано никакого начета — иначе его имущество было бы конфисковано и назначено к продаже, а с публикациями о такой продаже нам не пришлось встречаться, точно также он не попал под суд за какое-либо нарушение — в то доброе старое время, как принято выражаться, редкий деятель по городским выборам избегал суда.

Далее, когда на всероссийский престол взошел император Павел Петрович и в своих заботах об устройстве казарменных помещений для войск изобрел особую казарменную комиссию с обложением жителей Петербурга обязательным сбором на постройку казарм — Гавриил Зимин, «сореvнуя о неимущих обывателя города Петербурга», которым было тяжело и даже не по силам вносить вышеуказанным казарменный сбор, сделал «из усердия подвиг благотворителя» и внес в пользу этих обывателей вместе с другими первостатейными купцами Петербурга «на алтарь отечества посильную лепту», а выражаясь попросту, по приказанию с.-петербургского военного губернатора, пожертвовал несколько десятков тысяч.

Чин титулярного советника был наградой Зимину за его пожертвование.

Таким образом Гавриил Степанович Зимин достиг в своих стремлениях предела, дальше которого в то время не мог стремиться купец.

В биографии Зимина есть еще один факт, который нельзя обойти молчанием, но объяснить который мы не беремся.

В № 18 «Санкт-Петербургских ведомостей» за 1802 год от 4 мая на странице 409 напечатана следующая Высочайшая резолюция: «Снисходя на всеподданейшее прошение титулярного советника Гавриила Зимина всемилостивейше дозволяем сыновьям его Александру, Ивану, Дмитрию, Павлу и дочерям Анне, Елизавете, Катерине, Прасковье и Лукерье с законной его женой до брака рожденным принять фамилию его и вступить во все права по роду и наследству законным детям предоставленные».

Таким образом, вследствие неизвестных нам причин, Зимин бóльшую часть своей жизни прожил со своей женой гражданским браком и только незадолго до смерти обвенчался. Почему произошло такое странное обстоятельство мы, повторяем, объяснить не умеем, но случай с Зиминым далеко не единичен; в первые годы царствования императора Александра I к нему обращались с такими всеподданнейшими прошениями масса лиц самого различного общественного положения, вплоть до титулованных особ; на все эти прошения неизменно следовало высочайшее согласие.

Сделавшись титулярным советником, приобретя таким образом право на владение человеческими душами, Зимин купил себе имение; имение это находилось в Новоладожском уезде, отстояло от Новой Ладogi в одной версте. Кроме трех деревень Будковичи, Фошни и Криницы, имение это заключало в себе громадные леса, которые и эксплуатировались Зиминим. Начиная с 1800 года в первых числах июня Зимин помещал в «Санкт-Петербургских ведомостях» объявление вроде нижеследующего: «На пристани Ладожского канала от Санктпетербурга в 150 верстах продаются на месте 3-х четвертные березовые дрова, коих там не малое количество, кому сколько сажень угодно купить, все гуртом или в розницу: о цене могут спросить 3 Адмиралтейской части 1 квартала, дом № 13 у г. Зимина или в деревне Криницах у старосты Нифантия Иванова, которая деревня от Новой Ладogi в 1 версте».

Кроме эксплуатации леса Зимин в своем имении устроил и водочный завод. «На водошной завод потребень искусной и звании и поведении своем подлежащие свидетельства имеющий мастер — читаем мы в одном объявлении — таковой

для договору в непродолжительном времени явиться имеет в Зиминском доме у Аничкова моста, онаго дома к дворецкому».

Не имея возможности круглый год жить в имении, Зимин не поручал его своим старостам, держал управляющих: «Если кто знал сельскую экономию, желает вступить в небольшую вотчину управителем, то таковые могут явиться в 3-й Адмиралтейской части в 1 квартале близ Аничкова моста на Фонтанке в доме № 13 к живущему там хозяину».

Имение служило для Зимина безусловно летним отдыхом; по крайней мере, просматривая многочисленные торговые объявления о доме Зимина, мы видим, что зимой и осенью желающие нанять квартиры в дом Зимина приглашались обращаться к хозяину, но как только наступала весна и лето, текст объявлений неизменно менялся в том отношении, что обращаться надо было или к дворецкому, или к приказчику, или, наконец, просто к дворникам дома — сам хозяин, Гавриил Степанович Зимин, был в отлучке.

В имении Зимина был разведен сад: «Желающие наняться в садовники в село, отстоящего от Санктпетербурга не далее 150 верст, могут явиться для договору в 3-й Адмиралтейской части в 1 квартале, близ Аничкова моста в доме № 13 у того дома к хозяину».

К сожалению, у нас слишком мало данных, чтобы определить отношение Зимина к его семье. Мы видели выше, что Зимин усыновил своих детей, второй сын его, Иван, был 14-го класса чиновник, т. е. получил некоторое образование. Что Зимин заботился о воспитании своих детей, безусловно доказывает одно объявление, долго печатавшееся в течение осени 1803 года: «Желающие обучать детей по часам играть на клавикордах, могут явиться 3-й Адмиралтейской части 1 квартала, во 2-ом от Аничкова моста дом № 13, к живущему в сем доме хозяину».

Таким образом, дочери Зимина были обучаемы играть на клавикордах.

Приведем еще одно известие о Зимине, известие, на наш взгляд, характерное и позволяющие до известной степени восстановить облик Зимина.

20 марта 1803 года Зимин поместил в тех же Петербургских ведомостях следующую публикацию: «У живущего в Санктпетербурге 3 Адмиралтейской части 1 квартала близ Аничкова мосту в собственном своем доме под № 13, титулярного советника Гаврила Степановича Зимина пропал сего месяца марта 2 числа 6 лет мерин, который приметам: темно-бурый, большого роста, грива на лево, хвост длинный, на лбу небольшая лысина, под седелкой малые белая пятна, копыта и ноги белая, о которой пропаже в здешнюю управу благочиния и явочное прошение подано. Ежели оный мерин к кому-нибудь для продажи приведен будет или же кто его по приметам признает, в каком бы то ни было губернском городе или уезде ни было, то упомянутой титулярной советник Зимин, покорнейше просит уведомить о сем присутственное место и ему Зимину дать знать, за что от него в знак благодарности дано будет пристойное вознаграждение».

Трудно допустить, что при пропаже лошади Зимина, главным образом, тревожил материальный убыток — Зимин, как мы и видели выше, был настолько богат, что пропажа одной лошади ему не принесла бы урона, да и, кроме того, за сообщение об этой он обещал «пристойное вознаграждение». Можно думать, что о материальных убытках Зимин не заботился, ему была просто дорога эта лошадь, он ее любил. На это наводит и подробное описание лошади — и грива налево, и небольшая лысина, и малые белые пятна — подробно описать приметы лошади может лишь тот, кто хорошо знал эту лошадь, кто не раз ее ласкал и кто, действительно, ее любил. Затем несколько наивное указание, что если лошадь найдется «в каком бы то ни было губернском городе или уезде ни было» — возможно опознать эту лошадь в Петербурге или в ближайшей местности, но узнать ее, если она угнана в другую губернию, мог только хозяин, но все-таки Зимин очень хотел найти эту лошадь, вот почему и появилась в объявлении такая неуклюжая, но много скрывающая в себе, вышеприведенная фраза.

Во всяком случае, нам кажется, что это объявление вполне свидетельствует о любви Зимина к животным...

Итак вот все, что нам удалось отыскать для характеристики Зимина. Мы видим, что это был безусловно незаурядный

человек, что обладал известным честолюбием, что он не хотел мириться с той участью, которую ему уготовила судьба, а стремился достичь более благоприятного положения. Если он сам, по всей вероятности, обладал малым образованием, то он все-таки прилагал заботы, чтоб его дети были образованными, чтобы они не походили на «серых купеческих деток», а более соответствовали его чину титулярного советника.

Зимин умер в 1806 году. Опекунами над многочисленной семьей и обширным имением были назначены вдова, Лукерья Гавриловна Зимина, и надворный советник Юшков. Рушилось основание семьи — начала разрушаться и сама семья. И первый признак неблагополучия, которое еще таилось внутри, которое не было, может быть, даже и заметно, проявился в следующем факте: «Умершего титулярного советника Гаврила Зимина Санктпетербургской губернии Лигского уезда отлучились из деревни Будкович крестьянская женка Саломонида Прокофьева, а из деревни Фошни крестьянский сын Григорий Андреев; приметами оные: первая росту небольшого, волосы на голове светлорусые, глаза серы, от роду 20 лет, а последний росту среднего, волосы на голове светлорусые, глаза серы, лицом бел и где ныне проживают неизвестно, почему чрез сие объявляется, что есть ли где оные в жительство окажутся, что представить их в узаконенное присутственное место для присылки на прежнее жительство».

Умер хозяин, и начались бега крепостных — это признак очень плохой. Трудно предположить, что Зимин был жесток к своим крестьянам, и они не бежали из-за страха наказаний, для такого предположения у нас не имеется вовсе данных. Но, очевидно, крепостные знали, что в семье покойника не ладно, что скоро должен наступить раздел, что имение будет продано — и Бог знает, в какие руки оно попадет, так не лучше ли теперь, когда над имением опека, когда надзор не так силен, воспользоваться обстоятельствам, и добиться свободы. Мы допускаем такое объяснение, хотя не можем не указать, что бежали одновременно из двух деревень крестьянская женка и крестьянский сын — быть может, основание к побегу было и романтическое. Но во всяком случае характерно то обстоятельство, что первый побег произошел почти тотчас после смерти Зимина...

Следующий зловеющий признак распада мы находим в другом объявлении, появившемся в 1811 году. Сынок Зимина, Иван Гаврилович, подрос, вышел из младенчества и «Вдова титулярного советника дочь Зимина просит через сие почтенную публику, чтоб несовершеннолетнему сыну ее Ивану Гаврилову Зимину никто доверия не делал, ибо он, находясь под опекой с прочими своими братьями и сестрами не в отделе, никакой собственности в своем распоряжении не имеет, а определенные опекуны расходов и долгов его, без ведома их сделанных, платить из общего наследственного, имения не обязаны».

Обычная история, но, во всяком случае, очевидно, Иван Зимин шагнул слишком далеко: ни советы, ни увещевания не действовали — пришлось прибегнуть к публикации.

Все эти ссоры, дразги действовали на старуху Зимину, и в конце концов она решила выделить своих детей. Первым — 30 августа 1812 года — был продан дом в Зиминском переулке: «Во второй Адмиралтейской части во 2-м квартале по Екатерининскому каналу и Казанскому переулку с дозволения Правительства продается угольный каменный о трех этажах дом под № 33 и 34 с двумя деревянными флигелями и пусто-порожним местом».

Как некогда Зимин приобрел этот дом у бывлой знаменитости Родиона Чиркина, так и теперь Зиминский дом приобрел другой все расширявший свои обороты петербургский купец Кусовников.

Нужно думать, что вскоре после этой продажи умерла старуха Зимина, и Иван Гаврилович Зимин, уже достигший совершеннолетия и вступивший в свои наследственные права, решил не только порвать всякие связи с семьей, но отплатить за сравнительно недавнюю публикацию, порочащую его доброе имя. Иван Гаврилович Зимин со своей стороны объявлял 26 августа 1813 года, что «14 класса Иван Гаврилов сын Зимин отныне впредь уничтожает данное им девице Анне Гавриловне Зиминной врющее письмо на управление имением, засвидетельствованное в Гражданской палате, просит его считать недействительным».

И более, чем вероятно, что одним из первых действий Зимина-сына была продажа и второго дома.

Этот второй дом на Фонтанке купил граф Димитрий Александрович Гурьев. Точно установить год покупки нам не удалось, но мы думаем, что покупка произошла в конце 1813 или в начале 1814 года. Кроме вышеуказанного объявления Зимина характерно то обстоятельство, что с 1813 года перестают появляться на столбцах «Санкт-Петербургских ведомостей» различные объявления о сдаче квартир, торговых помещений и т. п. в доме Зимина. Этот дом, пока им владели Зимины, был доходным домом; с переходом в руки графа Гурьева он сделался домом-особняком, домом для собственного жилья; понятно, что исчезли все объявления. Кроме того, как будет видно из дальнейшего изложения, графу Гурьеву именно в 1813—1814 годах нужно было приобрести дом.

VI

Где же находился дом Зимина, когда он появился и что представлял из себя?

Вот те вопросы, на которые постараемся ответить, несмотря на скудные данные, сохранившиеся об этом доме.

Топография его вполне точно указана в тех многочисленных публикациях, которые помещал о сдаче квартир Гавриил Зимин и, очевидно, будучи аккуратным человеком, не желая затруднять съемщиков квартир бесплодными поисками, старался указать местоположение своего дома так, чтобы не вызывались сомнения.

«В 3-й Адмиралтейской части идучи по Невскому проспекту, к Аничкому мосту на левой руке подле гауптвахты»... «в 3-й Адмиралтейской части по Невской перспективе не доходя Аничкова мосту на углу по Фонтанке»... «в 3-й Адмиралтейской части в каменном доме, состоящему у Аничкова мосту к реке Фонтанке и по Караванной улице подле деревянной гауптвахты»... «в 3-ей Адмиралтейской части по Невской перспективе, пройдя гауптвахту, по Фонтанке, во втором от угла доме» — принимая во внимание, что 3-я Адмиралтейская часть в настоящее время именуется Спасской, мы видим, что все выше приведенные указания вполне соответствуют нынешнему дому княгини Шаховской.



Фасад дома Г. С. Зимина, Наб. р. Фонтанки, д. 27. Фото 1910-х годов

К этому же выводу мы приходим, если начнем проверять, на основании ряда отысканных нами справочников, переход этого дома от владельцев к владельцам, а также и изменение в нумерации этого дома. (Этот переход от владельцев и изменение в нумерации видны в приложенной при сем таблице.)

Теперь несколько слов о нумерации петербургских домов. Первоначально номера домов давались не по улицам, а по частям. Каждая часть имела свой порядковый номер, который выдавался в зависимости от времени выдела участка, номера доходили до тысячных. Так по описи 1804 года последний номер на Петербургской стороне доходил до 1412, в Московской части было 982 номера, а в четвертой Адмиралтейской — ныне Коломенской — считалось 924 номера домов.

Да и солнечная сторона Невского проспекта, начиная от Казанского моста до Фонтанки, носила сотенные номера. Угловой дом на Екатерининском канале (ныне Учетного банка,

тогда князя Голицына) был под № 756, вместо дома Лихачева было два порожних места под № 773 и 774, дом Зимина значился № 775.

Весьма понятно, что такие большие номера были неудобны, и тогда придумали заменить порядковый номер части порядковым же номером по кварталам в каждой части.

Действительно, сотенные номера домов исчезли, но сохранилось все же одно неудобство — номера домов на одной и той же улице резко изменялись при переходе улицы из квартала в квартал; таким образом на углах одной и той же улицы могли рядом с № 2, положим, быть № 20, 75 и 7, если эти четыре угла одной и той же улицы принадлежали четырем различным кварталам.

И только после 1834 года додумались до такой простой и естественной, на наш взгляд, нумерации домов, как по улицам, причем на одной стороне улицы должны были быть четные, а на другой нечетные номера. Но и в данном случае не сразу установили — какую сторону улицы нужно считать правой, какую левой и где ставить четные и где нечетные номера.

Сравнительно очень недавно на это изменение номеров смотрели как на такое событие в жизни Петербурга, которое должно было быть отмечено, и еще в 1859 году мы читаем, например, такие строчки: «Петербург не может существовать без улучшений: на домах поставлены номера по системе Парижской, т. е. четные цифры по одну, нечетные по другую сторону домов».

Это своеобразное изменение номеров домов Петербурга заставляет при расследовании вопроса перехода того или иного имущества от одного владельца к другому начинать исследование не с того времени, когда приблизительно мог быть построен дом, а с нашего времени и идти назад.

Пределом нашего исследования мы ставим 1903 год — двухсотлетие Петербурга: с этого года, пользуясь различными справочниками, официальными и неофициальными изданиями, легко проследить переход имущества и изменение его нумерации до 1834 года, когда как мы и говорили выше, была произведена коренная ломка номеров. Ключ к этой ломке мы, после долгих поисков, нашли и, благодаря этому ключу, можем

дойти до 1804 года, когда была издана первая Табель домов к плану 1797 года. Для дальнейших изысканий приходится пользоваться единственным имеющимся у нас источником — частными объявлениями «Санкт-Петербургских ведомостей». Собирая эти объявления, сличая их, группируя, мы получаем возможность проследить дальнейший переход. Конечно, относительно некоторых домов Петербурга или представляющих из себя исторические постройки или принадлежащих каким-либо видным лицам, сохранились и архивные данные — к сожалению, эти данные слишком немногочисленные. Результат наших исследований мы прилагаем при сем в виде таблицы, относящейся к дому Зимина:

Год	Место-положение	Владельцы	№ №	Оценка
1903	Наб. р. Фонтанки	Княгиня М. А. Шаховская	27	
1888	-»-	Е. С. Любомирская	23	
1874	-»-	Е. С. Любомирская	23	
1869	-»-	Е. С. Любомирская	23	
1865	-»-	Граф А. Д. Гурьев	23	
1848	-»-	Граф А. Д. Гурьев	26	
1842	-»-	Граф А. Д. Гурьев	26	
1830	-»-	Графиня П. Н. Гурьева	26	
1825	-»-	Графиня П. Н. Гурьева	26	
1823	-»-	Граф Д. А. Гурьев	15	
1804	-»-	Граф Д. А. Гурьев	15	
1804	-»-	Тит. сов. Г. С. Зимин	13	70 000 р.

О гауптвахте около дома Зимина мы уже говорили выше; не можем только не отметить следующего странного обстоятельства — ни на одном из планов, которые нам удалось просмотреть в наших изысканиях мы не могли найти этой гауптвахты.

Ее нет ни на плане Рота 1776 года, ни на плане 1781, ни на карманном плане 1787 года; наконец, она не указана ни на

плане Георги 1795 года, ни на планах первых годов царствования императора Александра I. Между тем указания Зимина не позволяют сомневаться в существовании этой гауптвахты приблизительно там, где теперь дом Лихачева.

Это определение подтверждается и следующим разысканным нами известием.

До 1790 года место, занятое домом Лихачева, принадлежало казенному ведомству, какому, мы пока не знаем, а в 1790 году было передано в ведение приказа Общественного призрения, который 26 апреля 1790 года поместил объявление следующего рода: «От Санктпетербургского приказа Общественного призрения извещается, что сего Мая 14 числа по полуночи в 10 часов имеет быть третичная продажа двум порожним местам, лежащим в 3-й Адмиралтейской части в 1-м квартале под № 773 и 774 по Невскому проспекту против Аничкова мосту и реки Фонтанки, в коих меры длиннику 42, а поперечнику 15 сажень, желающие купить имеют для торга явиться в сей приказ».

Очевидно, желающих купить это место было не слишком много, иначе не нужно было бы назначать торги в третий раз. По своим размерам, место это вполне соответствует современному Лихачевскому участку; купил его, наконец-таки, действительный тайный советник Гавриил Романович Державин, который, кроме того, что был большим поэтом, был не меньшим спекулянтom по скупке и продаже в Петербурге земельных участков. И этот участок он также скоро продал новоладожскому купцу Шарову, тоже бывшей знаменитости петербургского купечества.

Итак, местоположение дома Зимина нам удалось определить вполне точно. Ответить на следующие вопросы: когда и кем был построен этот дом, — мы можем дать только приблизительный, причем относительно времени постройки мы можем ошибиться лишь на два-три года; что же касается до имени архитектора, строившего этот дом, то мы высказываем лишь нашу догадку, основанную, сознаемся, лишь на косвенных данных. Но все же, несмотря на шаткость этих данных, вывод из них вытекает вполне логично, и невольно хочется верить, что, может быть, впоследствии найдутся подтверждения нашего предположения.

Первое по времени объявления о доме Зимина, отысканное нами, датируется 7 ноября 1788 года:

«У Аничкова моста в 3-й Адмиралтейской части в доме именитого гражданина Гаврилы Зимина отдаются в наем разные покои на Фонтанку, в нижнем и верхнем, а на Караванную улицу в нижнем, среднем и верхних этажах и во дворе во флигелях, поэтажно и порознь со всеми к ним принадлежностями, а о цене объявит приказчик Иван Лобанов».

Таким образом, в 1788 году существовали трехэтажные дома на Фонтанку и Караванную улицу и два флигеля, перпендикулярные к домам, во дворе, — т. е. постройки были точно такие же, как и в настоящее время. Отметим еще, что дом на Караванную улицу и надворные флигеля сдавались целиком, в доме на Фонтанку не сдавался только средний этаж; это обстоятельство играет значительную роль в наших дальнейших объяснениях.

Если мы теперь проследим историю застройки нынешних Караванной улицы и набережной Фонтанки, то придем к убеждению, что дом Зимина был построен если не в 1788 году, то очень близко к этому времени и являлся одной из первых построек на набережной Фонтанки.

Караванная улица и образовалась не сразу и не сразу же получила свое название «Караванная» (объяснение этому названию мы дали выше). Еще в 1799 году вместо названия Караванной употреблялось описательное название — «по Невскому проспекту в улице, проходящей в Садовую против Кабинета», затем эту улицу называли Садовым переулком, Малой Садовой, нынешняя Екатерининская, а ранее Малая Садовая улица звалась Шуваловым переулком, так как на углу Невского стоял дом Ивана Ивановича Шувалова, один из первых по времени постройки домов на Невском проспекте.

Такая неопределенность названия улицы ясно свидетельствует о ее сравнительно поздней застройке, причем в этой застройке соблюдалась следующая постепенность.

Сначала была застроена сторона, удаленная от Фонтанки. Действительно, в 1780 году мы читаем такое известие:

«Продается дом, состоящий во второй части по Караванной набережной улице смежностью со дворами по правую

сторону с.-петербургского купца Никифора Глазунова, а по левую сторону кровельного мастера Франца Егерера».

Этот дом можно точно определить — он был третьим по Караванной улице от нынешней Манежной площади, дома рядом с ним существовали, но Караванная улица все еще звалась набережной Караванной, тем самым свидетельствуя, что домов по нынешней набережной Фонтанки еще не было, или они только строились.

Принимая во внимание то, что земельные участки по Фонтанке не изменялись и вполне соответствуют нынешним, восстановим вид этой набережной в начале девяностых годов XVIII века.

Угловое место к Аничкову мосту было не застроено, рядом с ним, второй от моста, был дом Зимина, третий, теперь (т. е. в 1903 году) дом Юрьевой — в 1792 году был недостроен, продавался с аукционного торга, четвертый дом, ныне Абазы, был в 1791 году каменным «немазанным», позади него «порозжее место».

В объявлении о продаже этого дома мы встречаемся со следующей характерною особенностью:

«Желающие купить дом с местом или место особо могут там получить обо всем подробные сведения».

Очевидно, место было куплено особо, вот почему лежащий по Караванной улице в настоящее время участок Шлихтинга и не является сквозным на Фонтанку, тогда как все другие участки сквозные. Образование несквозного участка кн. Огинской, следующего за участком Шлихтинга по направлению к Манежной площади — более позднего времени; этот участок выделился из общего участка Нарышкиных — теперь три домовые участка: гр. Шуваловой, Абаза и кн. Огинской. В 90-х годах XVIII столетия на участке Нарышкина, как кажется, был дровяной двор купца Мясникова и вышеуказанный немазанный дом.

Из этого описания ясно видно, что еще в 90-х годах XVIII века часть набережной Фонтанки, между Невским проспектом и Итальянской улицей, находилась в периоде застройки, и дом Зимина был, пожалуй, первым по времени постройки.

Что же касается до стороны Караванной улицы, удаленной от Фонтанки, то ее застройка началась несколько ранее, но во



Наб. пр. Фонтанки, д. 27. Фото 2009 года

всяком случае не раньше конца 70-х годов XVIII века. К этому выводу мы приходим на основании следующих данных. Дома на Караванной улице принадлежали в большинстве случаев купцам (Меншикову, Глазунову, Куприянову), только один дом — крайний на нынешний Манежной площади — был чиновного владельца «г. полковника Петра Ивановича Турчанинова», все эти дома были доходные и, понятно, что владельцы их стали делать публикации тотчас после постройки; между тем объявления об этих домах начинают появляться не ранее 1778–1779 годов.

Так, в 1779 году в доме Глазуновой на Караванной жил зубной врач Шеберт, в 1792 году в этом же доме жил придворный скульптор Франц Христиан Брилло — дядя родоначальника талантливой семьи художников Брюлловых.

В 1778 году появляются два дома — полковника Турчанинова угловой (нами выше указанный) и рядом с ним дом придворного кровельного мастера Егерера. Мы читаем такое объявление: «Иосиф Жоли, учредивший, с дозволения Императорской Академии наук, воспитание для юношества обоего пола, живший прежде в доме Петра Ивановича Турчанинова, имеет честь объявить обществу, что он переменял квартиру и живет ныне в доме придворного кровельного мастера Егерера в Караванной улице первой дом на правой руки подле г. Турчанинова в среднем этаже. Имя его написано на доске, привешанной у балкона его покоя».

«Учредивший воспитание для юношества обоего пола» да еще с разрешения Императорской Академии наук — обозначает на современном языке — открывший пансион для мальчиков и девочек; это, кажется, был первый пансион для детей обоего пола в Петербурге. Но если пальму первенства открытия такого пансиона можно еще оспаривать у Иосифа Жюли, то ему, безусловно, принадлежит первенство в помещении вывески пансиона — эта вывеска в объявлении объяснена довольно любопытно: «Имя его написано на доске, привешанной у балкона его покоя». Впоследствии Жоли писал, что его имя сделано «золотыми буквами».

Не безынтересны и мотивы, на основании которых Иосиф Жоли избрал для своего пансиона Караванную улицу; этими мотивами дается до известной степени характеристика и самой улицы.

«Сей дом, — расхваливал в 1777 году Иосиф Жоли дом Турчанинова, — имеет наилучшее положение как в рассуждении чистоты воздуха по открытому со всех сторон месту, так и по близости саду, в котором воспитывающемуся юношеству по окончании учения можно ежедневно гулять для движения вспомогательного здоровью».

Таким образом, Караванная улица считалась вследствие близости Императорских садов и незначительности построек, местностью особенно здоровой.

Все вышеизложенное и заставляет нас предполагать, что дом Зимина был выстроен около 1788 г. — даты первого объявления Зимина о сдаче квартир в его новом доме.

Теперь вопрос об архитекторе. Наши данные, повторяем опять, не позволяют нам выйти из области предположений и догадок — проекта, да еще подписанного, этому дому мы не нашли.

Но в 1791 году Зимин почему-то хотел продать этот свой новый дом и поместил о продаже следующее объявление.

«На берегу Фонтанки близ Аничковского моста продается италианской архитектуры каменной немазанной в 3 этажа дом, второй от Невской перспективы».

В дальнейших объявлениях указывается и фамилия хозяина этого дома — Зимина. Таким образом Зимин называл свой дом «италианской архитектуры» — отсюда, более чем вероятно заключение, что строил этот дом архитектор-итальянец.

Но кто же был этот таинственный итальянец? Чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно посмотреть, не было ли при постройке этого дома каких-нибудь особенных обстоятельств. Обстоятельства эти, безусловно, были.

У Зимина имелся уже свой дом, и доходный, и по размерам такой, что Зимин мог свободно в нем жить. А между тем из первого объявления о сдаче квартир в новопостроенном доме, как мы уже и подчеркивали, видно, что самая большая и лучшая квартира во втором этаже на Фонтанку не сдавалась, а предназначалась для самого хозяина. Очевидно, Зимин не довольствовался своим старым домом, построенным так, как строили дома в 1756 или 1761 году, — новый дом должен был быть построен в новом вкусе, и хорошо бы, если этот дом строил не обыкновенный рядчик, а какой-нибудь архитектор, да при том из тех, о которых говорили в городе, постройки которых признавались образцовыми. Факты, приведенные нами из биографии Зимина, явно свидетельствуют о его честолюбии. Он уже не простой купец, а именитый гражданин, записанный в обывательскую книгу первого разряда, он уже бургомистр города Петербурга и мечтает занять еще более высокое положение — быть городским головой.

На то, что у Зимина была эта мечта, указывает совершенно непонятное его желание продать свой только что построенный дом в 1791 году. Но если мы вспомним, что около этого года были вторые выборы в городские головы, и что последним был

выбран не Зимин, а купец Меньшиков, для нас разъяснится этот непонятный факт продажи дома чуть ли не на другой день после его постройки.

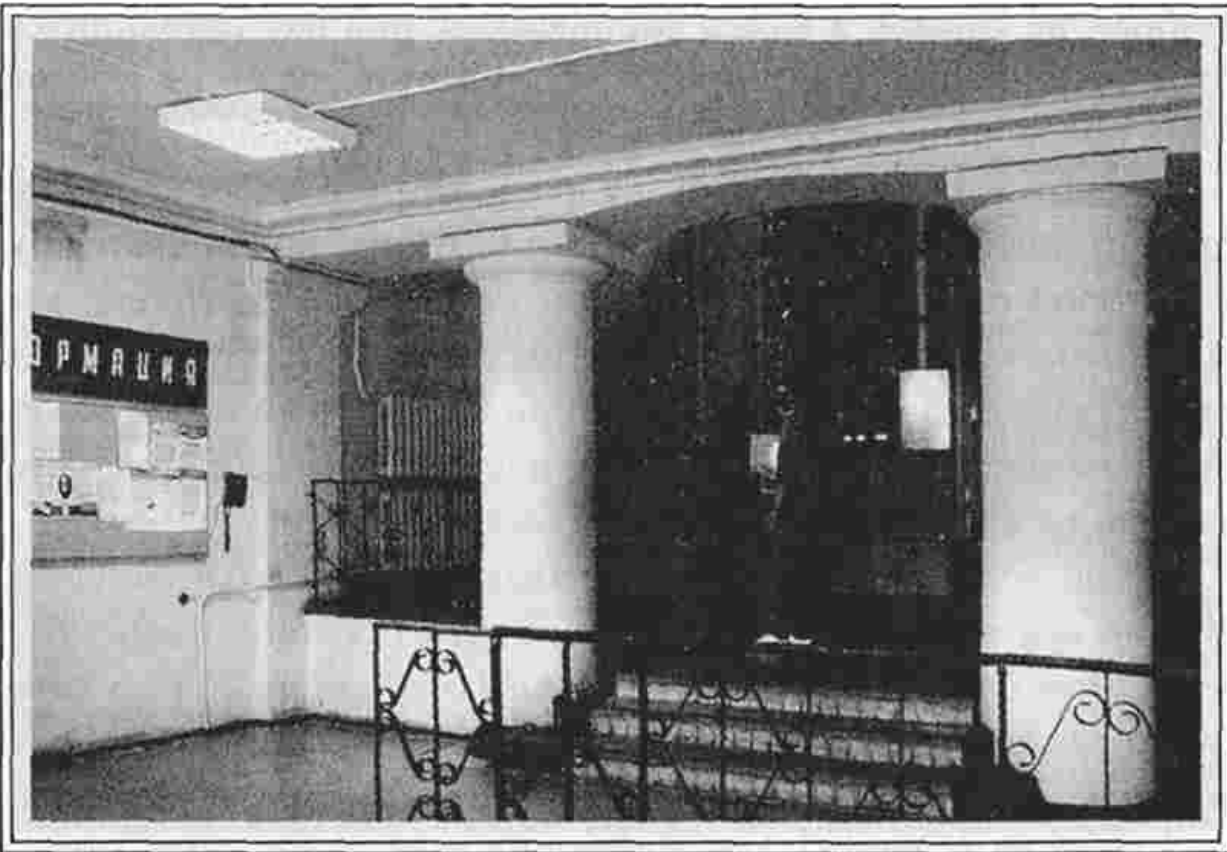
Зимин строил этот дом, надеясь, что его изберут городским головой; тогда ему нужно было иметь такую квартиру, в которой он мог с достоинством принимать не только все именитое купечество, но и знатных лиц Петербурга, тогда ему нужен был дом, который строил известный архитектор. А таким архитектором, входящим в славу, во второй половине восьмидесятых годов XVIII века был Кваренги.

И поэтому, называя свой дом «итальянской архитектуры», Зимин мог подразумевать архитектора-итальянца Кваренги.

Самое существенное возражение, которое можно сделать, будет заключаться в том, что фасад дома уж слишком прост, в нем нет характерных черт творчества Кваринги, нет даже и намека на колонны. Но сделавший такое замечание может быть и очень хорошим знатоком и ценителем художественных произведений, но в то же время лишенным даже намека на историческую точку зрения. А основываться на критерии эстетики нет возможности, когда рассматриваются явления жизни. Надо помнить, что Зимин был купец, а ведь только в 1828 году было дано разрешение «О даче обывательским домам фасадов вида не однообразного». Выстроить себе дворец с фасадом Кваренги, например, хотя бы таким, какой имеет лежащий напротив дом Екатерининского института, Зимин не мог даже и думать: он не получил бы никогда разрешения от полиции того времени на роскошный фасад.

«Ишь, купчишка, что задумал: палаццо себе строить, — сказал бы любой чиновник канцелярии обер-полицмейстера, — разжирел на казенных подрядах, наворовал деньгу и дворцы строить; шалишь, брат!»

Но если Зимин не мог дать своему дому, по условиям того времени, роскошного фасада (хотя должны заметить, что ныне сохранившийся фасад дома Зимина — княгини Шаховской, несмотря на свою простоту, или вернее, именно вследствие этой простоты, обнаруживает, что он не мог быть задуман рядовым архитектором), то на внутреннюю отделку дома никто не мог положить всевластного veto.



Наб. пр. Фонтанки, д. 27. Входная лестница. Фото 2009 года

Здесь, внутри своего дома, Зимин был вполне хозяином и мог требовать от архитектора и роскоши, и изящества, и тщательной отделки.

И, действительно, уже одна лестница показывает, что строил выдающийся архитектор.

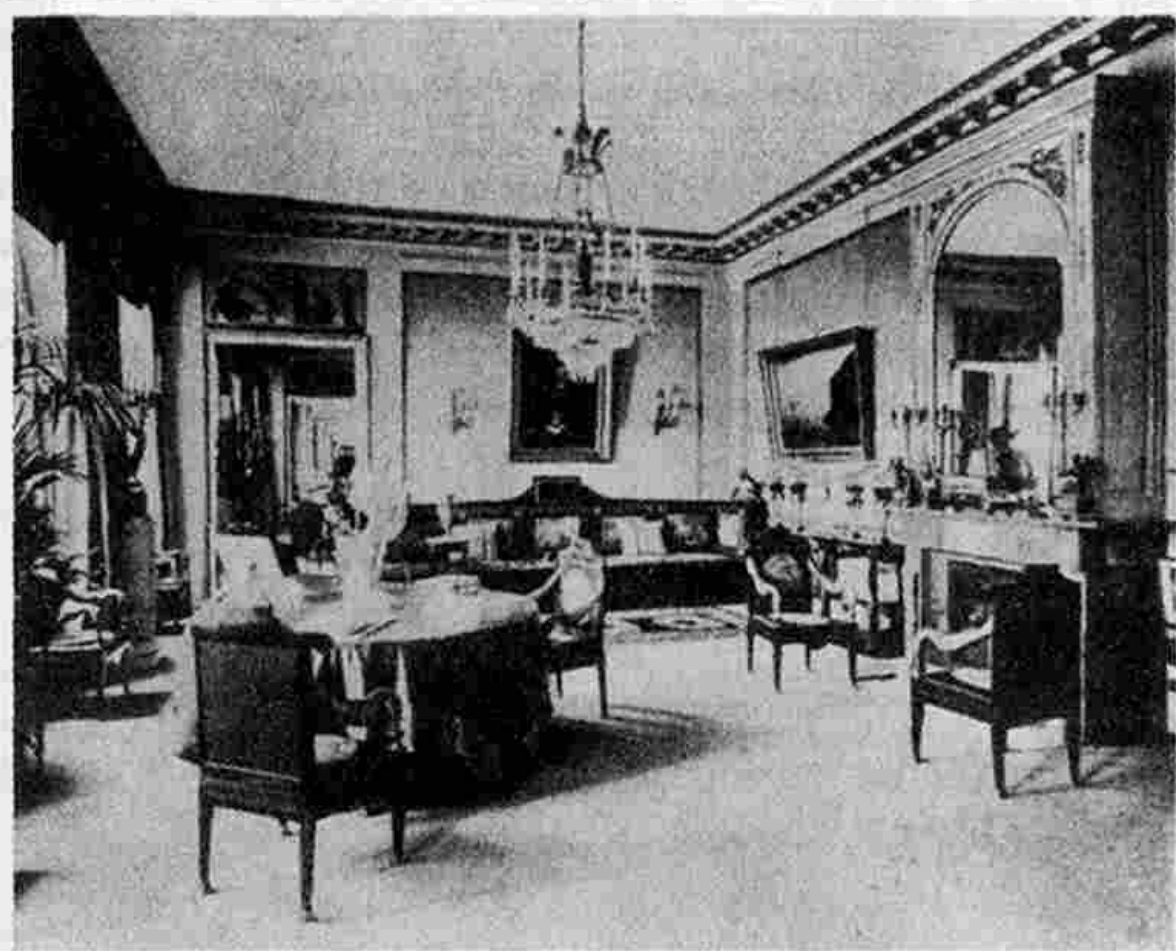
У входа — две дорические колонны. Они, правда, несколько массивны, тяжелы, но их массивность объясняется тем, что они поддерживают капитальную стену; несколько взад и вбок поставлена для поддержки свода третья колонна того же ордера, но такая стройная, благородно изящная, что она вполне напоминает колонны Кваренги. Линии сводов лестницы проведены смелыми, изумительными по пропорции кривыми — теряется совсем впечатление массивности свода, столь присущее погребам, нижним этажам и вполне неподходящее к лестнице, которая по своему назначению стремиться вперед, вверх, должна быть легка и изящна. Это впечатление достигнуто вполне.

Лестница без окон, с верхним освещением. Латернер — вспомним, как выражались наши предки — фонарик изумите-

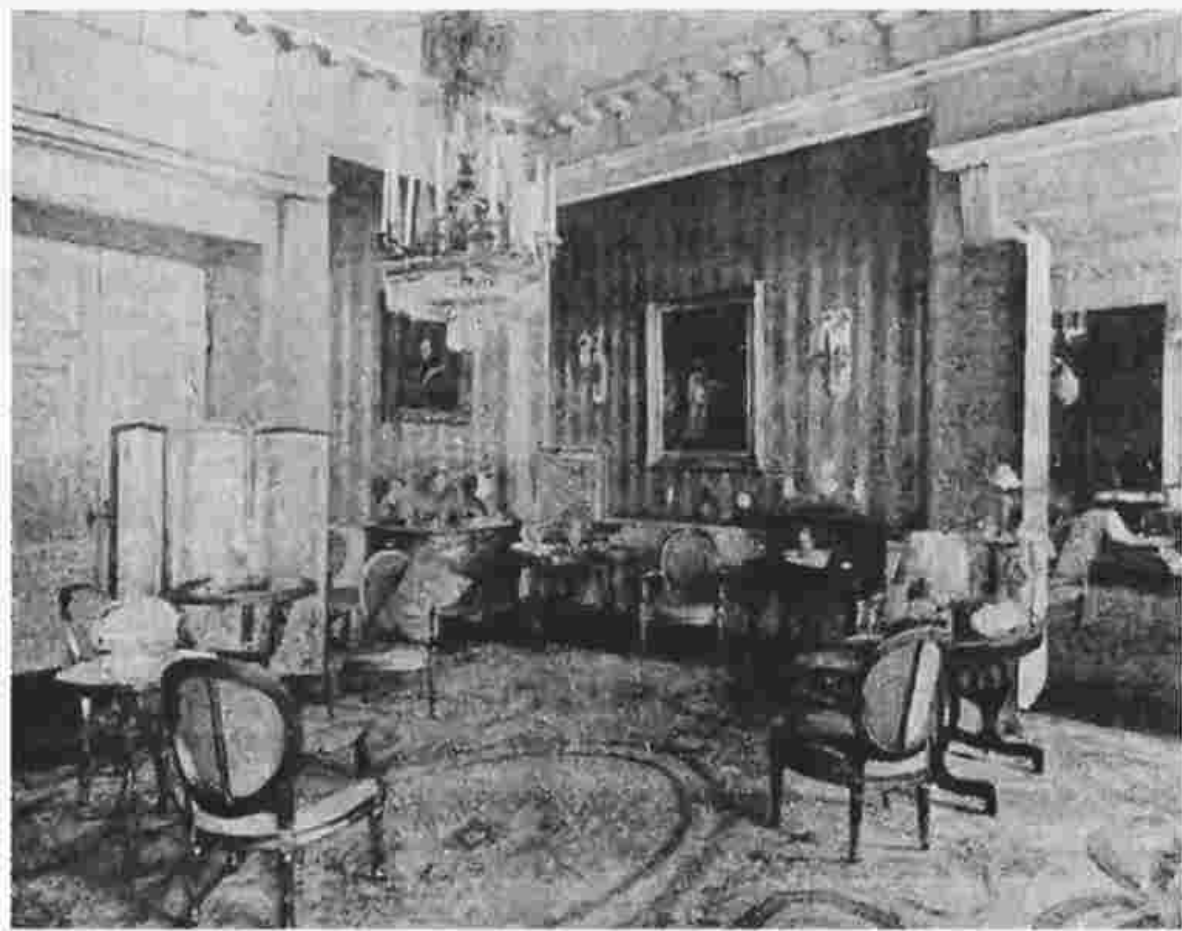
лен по простоте своего замысла: стены большими наклонами, слегка вогнутыми, незаметно переходят к фонарику, рамка которого имеет интересный звездчатый переплет.

Если лестница проста и легка, то фонарик убран затейливыми барельефами и плафонами — опять и этот замысел обнаруживает большого художника — поднимаясь, мы смотрим вверх, особенно если свет падает сверху, а не сбоку — и художник постарался дать наслаждение глазам. Четыре плафона изображают главнейших обитательниц и обитателей Олимпа — Зевс и Марс и против них Венера, неверная жена Вулкана, прельстившаяся доблестями Марса, и Минерва, как известно, родившаяся из головы своего отца Зевса.

Таким образом, лестница дома, как по своему замыслу, так и по разработке его, опять-таки подтверждает наше предположение, что дом строил большой архитектор, пожалуй, и Кваренги.



Гостиная в доме кн. Шаховской. Напротив зрителя на стене портрет гр. Гурьева. Фото 1910-х годов



Гостиная в доме кн. Шаховской. Фото 1910-х годов

Сама квартира была вполне соответствующей своему назначению: высокие, светлые, просторные комнаты, с карнизом наверху, с обкладкой мрамором внизу, богато украшенные орнаментом двери, красивые каминны — все это свидетельствует о том давно прошедшем далеко, когда люди умели устраивать себе жилище.

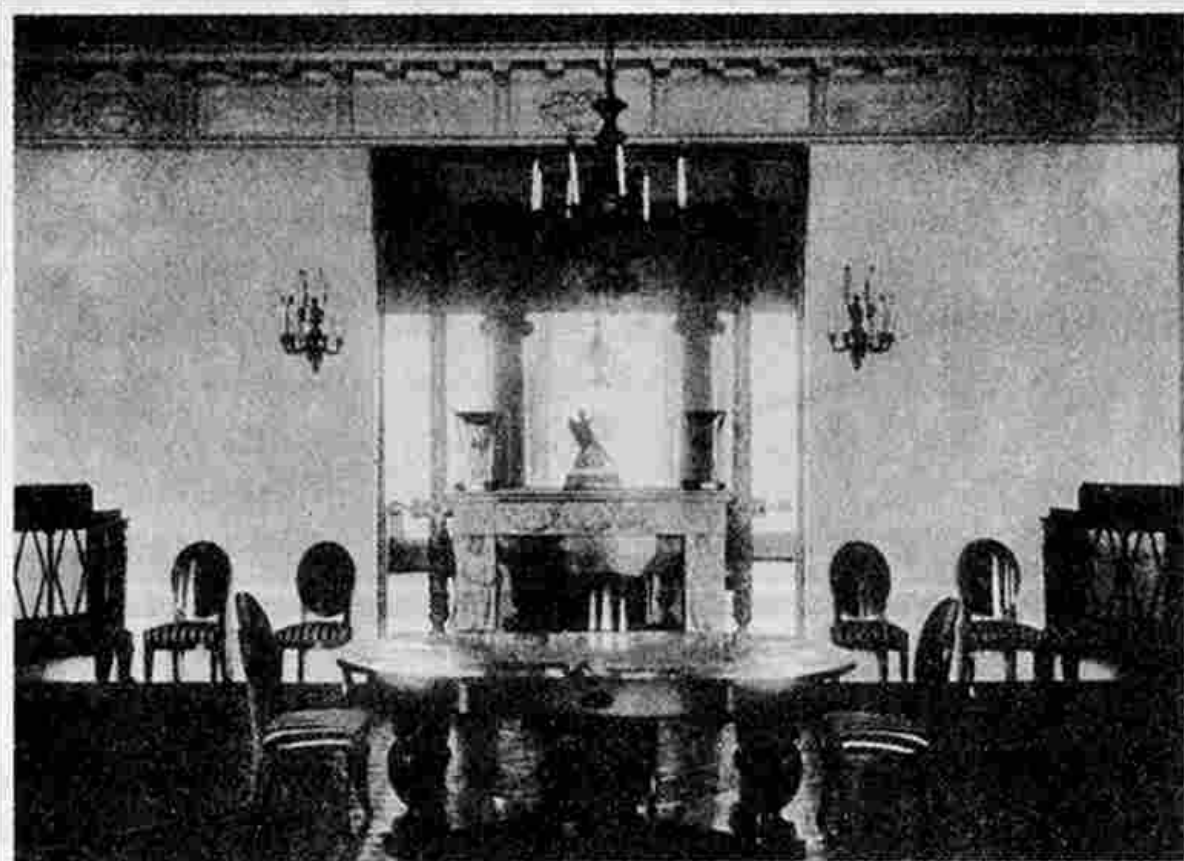
Еще два слова о фасаде: если посмотреть на фасад напротив лежащего Екатерининского института (его строил Кваренги), на боковые крылья, то мы увидим замечательное сходство с окнами дома Зими́на. Оба здания трехэтажные, верхние окна у обоих зданий сравнительно небольшие, четырехугольные, почти квадратные, окна средних этажей украшены одинаковыми наличниками; есть разница в окнах нижних этажей: у института окна прямые, у дома Зими́на они закругленные, но общее впечатление таково, что сходство более чем разительно.

Еще одна случайность, которую мы, конечно, склонны объяснить не случайностью и не совпадением обстоятельств.

19 декабря 1804 года в «Санкт-Петербургских ведомостях» было напечатано такое объявление: «Один приехавший сюда недавно итальянец желает обучать рисованию. Живет он близ Аничковской гауптвахты в Зиминском № 13 доме».

Почему итальянец, учитель рисования, остановился в доме Зимина? И кто был этот итальянец? Пустился ли он в далекое странствие наугад, или, может быть, он был соотечественником Кваренги, и прежде чем ехать в Петербург, списался с своим уже знаменитым земляком, а тот, вспомнив, что когда-то он строил дом Зимина, и указал на этот дом как на временное пристанище. Безусловно, наши выводы — догадка, но в жизни, в действительной жизни, бывают такие совпадения, такие неожиданности и сплетения, которых не выдумает самая пылкая фантазия.

Учителя рисования приезжали в Петербург уж не в слишком большом количестве, а итальянцы приезжали прямо единицами — и обстоятельства складываются так, «что приехавший сюда итальянец» останавливается на житье в доме «итальянской архитектуры».



Гостиная в доме кн. Шаховской. Фото 1910-х годов



Парадная галерея. Фото 1910-х годов

Итак, все вышеизложенное может быть резюмировано следующим образом:

1) Дом был построен не позже 1788 года, приблизительно в период 1785–1788 годов.



Парадная галерея. Фото 2009 года

2) Дом строил какой-то большой архитектор, более чем вероятно, что постройка Кваренги.

Выше, при разборке объявлений 1788 года, мы указали, что ныне существующие постройки были и в 1788 году, т. е.



Набережная р. Фонтанки, д. 27. Мраморный зал. Фото 2009 года

внешний вид нынешняя постройка сохранила старый, с некоторым расширением и удлинением надворных флигелей.

В одном из объявлений о сдаче третьего этажа на Фонтанку перечисляется довольно подробно расположение комнат — оно вполне соответствует нынешнему.

Словом, из сопоставления всех вышеприведенных и вообще собранных нами данных, явствует, что этот дом может быть назван одним из наиболее ранних по времени постройки вполне сохранившихся домов, и в ответе на вопрос: «Который год?» — может спокойно ответить: «Сто двадцать пятый!».

VII

Почему стены старых домов лишены возможности речи? Какие увлекательные, трогательные, печальные и мрачно таинственные рассказы услышали бы мы, если бы, как по мановению волшебной палочки феи-невидимки, открылись уста и заговорили бы стены.

Самая пылкая фантазия не в состоянии представить себе той обыденной действительности, о которой повествовали бы безмолвные свидетели давно прошедших годов.

Но если стены молчат, то неужели ум человеческий бес-
силен, чтоб заставить их говорить? Неужели же «река времен»
в своем течении поглощает бесследно все прошлое? Неужели
же, если естествоиспытатель по ничтожной косточке, по едва
заметному следу на ископаемом сланце восстанавливает фи-
зический мир прошлого, историк не в силах сделать то же с
миром человека и, подобно мозаичисту, создающему из груды
мелких разноцветных камешек очаровательную картину, не
может развернуть страницы былой жизни, осветить маленький
уголок человеческого бытия...

Постараемся заставить говорить старые стены дома Зи-
мина...

На наш современный взгляд, начинается печальный рас-
сказ, но для отдаленного прошлого он столько же обыкнове-
нен, как в наши дни надоевшая нам хроникерская заметка еще
об одной жертве самоубийства.

«Молодых лет парикмахер женской и мужской, да вино-
кур, выкуривающий из двух с половиной четвертей хлеба
от 14 до 16-ти ведер вина, продаются за умеренные цены.
А спросить об них у Аничкова мосту, подле гауптвахты, в доме
Зимина, входя из Садовой улицы на двор на правое руке во
втором жилье первый из подъезда ход».

Было имение, был свой винокуренный завод, своя много-
численная дворня, исполнявшая не только все нужные работы,
но и малейшее желание, — но что-то произошло, и вместо
имения, вместо большого барского дома с тенистым садом —

Ты помнишь ли, Мария,
Один старинный дом,
И липы вековые
Над дремлющим прудом?

Садовая улица Петербурга, небольшой двор, по правой
руке во втором этаже небольшое жилье — маленькая квартира,

и необходимость ликвидировать последние остатки прежнего величия — за «умеренные цены» продать и того парикмахера, который был научен делать «кораблик» из пышных белокурых волос молодой Марии, и того винокура, который, несмотря на свое изумительное умение «выкуривать из двух с половиной четвертей хлеба до 16 ведер вина», все-таки не смог предотвратить своей продажи... Еще одна характерная подробность этого объявления, вполне восстанавливающая колорит XVIII века. Это объявление написано в спокойном, чуть ли не эпическом тоне, во всяком случае в тоне рассказа. Сообщаются предметы продажи, и делается маленькая вставка, не просто указывается адрес, но пишется: «А спросить об них». Это маленькое междометие «а» и служит тем штрихом, который доканчивает картину. Без него объявление было бы слишком ординарно и не остановило бы на себе внимания.

Веселого мало расскажут стены...

В левом флигеле (левом, входя во двор с нынешней Караванной улицы) во втором этаже, над конюшнями, занимал небольшую квартиру в два покоя и кухню портной Маковский, который, как это ни странно, несмотря на свою фамилию, был трудолюбивый немец, покинувший свой Vaterland в чаянии лучших благ. Но северный Петербург не улыбнулся Маковскому. Ему не повезло. Был ли он сам виноват, не умея угодить «петиметрам и франтам того времени», или просто так незадачливо складывались обстоятельства, но вместо большого магазина, вместо многочисленных заказчиков — квартира над конюшнями, вечное недоедание, а на руках большая семья, не только жена и дети, но и лишний рот в семье — теща...

И, быть может, после долгой борьбы, после тяжелых разговоров, последовало решение, память о котором сохранили следующие строчки: «Немка, пожилых лет, желает вступить в господский дом для хождения за детьми или смотра за домом. О ней спросить в Садовой улице близ Аничкова моста, дом Зимина у портного Маковского».

Жертва была принесена, «die alte Mutter» пошла в чужой дом, но злая судьба преследовала Маковского.

«Продается французская весьма хорошая арфа Кузиновой работы с педалями, покрытая красным лаком, вызолоченная,

со стеклами, спросить о нем и видеть оную могут подле Аничкова моста в Зимимновом доме на дворе, в левом флигеле у Маковского».

Последнее воспоминание о своей родине — милая старая арфа, под аккомпанемент которой так хорошо звучали незабвенные песни, — пошла в продажу...

Конечно, быть может, весь этот рассказ — лишь плод воображения; быть может, арфа продавалась за ненадобностью или по комиссии, а немка «пожилых лет», поступающая в няньки или экономки, была вовсе не «die alte Mutter», но если этот эпизод и не был на самом деле, но все-таки он мог быть. А «маленькому человеку» вообще не везло в Зиминском доме.

Покои, «удобная для производства какого-либо торгу или для мастерства», постоянно сдавались в наймы: жильцы этих покоев — а они были в подвальном этаже на Фонтанку — не подолгу жили в них, так как, очевидно, вносили плату неаккуратно и взыскательный Зимин выселял таких неплательщиков, или с ними происходили катастрофы.

Калужский купец Афанасий Потапов соблазнился выгодным местоположением дома и открыл в погребах «полпивную», что на современном языке означает портерную, где сначала торговал «пивом и портером на англинский манер», продавал его по 19 копеек бутылка без стекла, а затем и местным, с.-петербургским, пивом лучшего заводчика того времени, купца Усачева, память о котором сохраняется до наших дней в Усачевом переулке, расположенном в Коломне от Садовой улицы до реки Фонтанки близ недавно провалившегося Египетского моста.

Но ни «англинский манер», ни «завод Усачева» не помогли калужскому купцу и «от Санктпетербургского губернского правления, по представлению здешняго надворного суда 3-го департамента объявляется, чтобы желающие к покупке арестованных в доме титулярного советника Зимина напитков пива и портера и оловянной тарелки, принадлежащих калужскому купцу Афанасию Потапову, оцененных в 13 рублей 23 копейки, явились на место сего Августа 31 числа».

Принимая во внимание, что бутылка пива продавалась Потаповым по 19 копеек и, следовательно, для публичного торга оценивалась значительно дешевле — у купца Потапова было

арестовано свыше 100 бутылок. Для чего была «оловянная тарелка» — трудно сказать, но, во всяком случае, ее присутствие в полпивной показывает намерение хозяина устроить продажу «по хорошему», «претензиями» — на оловянной посуде в то время едали и бары...

Но плакали в доме Зимина не только его жильцы, а даже живущие в других домах города. Где-то в одном из флигелей приютился паук в образе человека, выражаясь фигурально, а попросту жил ростовщик, дававший деньги под заклад вещей. У него не было вывески «ссудная касса», но дорогу к нему знали многие, и о своем существовании он напоминал иногда через те же самые «Санкт-Петербургские ведомости». И извещая неаккуратных займодавцев, что заклады будут проданы. Эти извращения особенно любопытны по той форме, в какой они делались: «Через сие извещается г-н генерал-майор П. И. П., отставной поручик Ф. Г. и вдова купеческая жена Татьяна Михайлова Пастухова, чтоб они заложенные ими весьма давно разные вещи в Зиминском доме под № 13, что у Аничкова мосту в течение 6 недель выкупили, в противном случае оные вещи имеют быть проданы».

Три закладчика, но их общественное положение вполне различное и хотя все они просрочили заклад, однако извещаются далеко не одинаково: вдова, купеческая жена, как стоящая на самой низкой общественной ступени, пропечатывается полной фамилией, отставной поручик обозначается только инициалами Ф. Г., к инициалам генерал-майора П. И. П. присоединяется еще почтительное: «господин».

И ростовщики в то время были очень вежливы, хотя не всегда; в некоторых случаях они не стеснялись, печатали полностью и именитых особ, очевидно, желая таким образом поскорее выручить свои деньги: «Продаются заложенные графом Федором Матвеевичем Апраксиным две просроченные золотые табакерки, одна с красной амалией (т. е. эмалью), а другая чеканная, бриллиантами же осыпанная, да бриллиантовый перстень солитер».

Весь Петербург 1800 года таким образом узнал, что граф Федор Матвеевич Апраксин дошел до того, что закладывает свои табакерки и из заклада не выкупает...

А в 1800-й год, год царствования Павла Петровича, и такой проступок графа Апраксина мог обратить на себя внимание императора, который в своих решениях иногда был очень скор...

Частную ссудную кассу в доме Зимина сменило однородное по характеру учреждение, но официальное — аукционная камера, которая помещалась в правом (со стороны Караванной улицы) флигеле, во втором этаже (там, где теперь зала и столовая с пристроенными по проекту архитектора А. И. Фомина галереями). Аукционная камера просуществовала несколько лет, по крайней мере, еще в 1808 году в конце года, в ней продавались пополудни в 4 часа: «ружье, пистолеты, золотые, серебрянные и стальные вещи бриллиантовые, книги на разных языках, платье и многие вещи с задатком не менее 10%».

Иногда, впрочем, в эту камеру доставлялись для продажи и более интересные вещи. Особенно любопытный аукцион был 3 января 1805 года: «По требованию вдовы бывшего в церкви святых Петра и Павла пастора Герольда сим извещается, что доставшийся ей большой механический оркестр Страссера, который мастером сим был проигран в публичную лотерею, за 60 тысяч рублей, продаваться будет с публичного аукционного торгу сего 1805 года января 10 дня пополудни в 6 часов в аукционной камере в 3 части в 1-м квартале близ Аничкова моста через один дом от гауптвахты по Садовой улице в доме г. Зимина, войдя с ворот на правой стороне во 2 входе (т. е. этаж). Продажа имеет быть с задатком не менее 10%».

Кому достался с аукционного торга «механический оркестр Страссера», мы, к сожалению, не знаем. Кажется, этот «оркестр» в настоящее время сохраняется в Императорском Эрмитаже.

Сравнительно центральное положение дом Зимина, близость Летнего и Аничковского дворцов, привлекало к нему и разных заезжих торговцев; останавливались в нем и бухарские татары, которые продавали: «персидские породы двух жеребцов, первой шерстью гнидой 5 лет, ростом 2 аршин и трех вершков, второй 6 лет росту одинакового с первым».

Продолжительное время жил «нежинский купец Константин Попазоглу», и, можно думать, что во время жительства

этого купца в доме Зимина покупатели не только приходили пешком, но и приезжали на своих лошадях.

Нежинский грек хотел зараз удовлетворить обе половины рода человеческого. Для слабого прекрасного пола он предлагал «индейские разных фасонов и лучшей доброты шели (т. е. шали), называемые резань джеви и донлуки; индейские платки, разных цветов, самые лучшие константинопольские и индейские парчи».

В то время, как модницы 1803 года перебирали «резань джеви и донлуки», накидывали себе на голову «константинопольские парчи» и приценивались к «индейским платкам», — представители не прекрасного пола любовались и «настоящими константинопольскими чубуками с янтарными мундштуками», выбирали себе по вкусу трубки и, набив их «самым лучшим курительным табаком, называемым энте», пускали в воздух одно за другим колечки, стараясь их нанизать друг на друга...

Купец Попазоглу не потерял времени и, скоро распродав свой товар, отправился обратно в родной Нежин.

Открывался в доме Зимина и трактир, он носил громкое название «город Амстердам», в нем не только можно было «получать за сходные цены всякое кушанье и напитки», но «онье же отпускались и по домам».

Трактир сменился кофейным домом, носившим еще более оригинальное название: «Каноникус». Для привлечения к себе посетителей хозяин Каноникуса устроил «лотерею из бриллиантового кольца, золотых и серебряных вещей числом 30», а сам розыгрыш этой лотереи происходил, на наш взгляд, не совсем обыкновенно: «С Высочайшего разрешения разыгрываться будут в лотереи бриллиантовое кольцо, разные золотые, серебряные и другие, состоящие из 30-ти выигрышей».

«Как уже билеты довольно расходятся, — заявлял содержатель „Каноникуса“, — то через сие приглашаются на бал и ужин все те, кои получили или возмут 4 билета от содержателя кофейного дома Каноникуса, что позади гауптвахты в Зиминевом доме».

Таким образом и те несчастливцы, которые получили, как говорили в то время, «пустые лоты», все-таки могли до

известной степени утешиться, и во время бала и следующего за ним ужина позабыть о своем проигрыше.

В среднем этаже Зимин прожил свои последние годы жизни, а после его смерти вдова Зиминая стала сдавать это помещение, перебравшись сама на Караванную улицу.

Жильцами этой бывшей Зиминовской квартиры были богатые и знатные лица. Это обстоятельство опять-таки подтверждает высказанное нами выше предположение, что квартира была богато устроена.

Так отсюда уезжал за границу 25-летний действительный камергер Лев Александрович Нарышкин, вместе с ним ехал и камердинер Ефим Гаврилов.

Опять-таки одна из тех странных случайностей, с которыми нам приходилось уже неоднократно сталкиваться. Лев Александрович Нарышкин был сыном Александра Львовича Нарышкина и приходился племянником Дмитрию Львовичу Нарышкину, отцу Эммануила и Марины Нарышкиным. Последняя впоследствии вышла замуж за гр. Николая Дмитриевича Гурьева, сына графа Дмитрия Александровича Гурьева, который, как мы уже и говорили, приобрел дом Зимина.

Квартира после Льва Александровича Нарышкина недолго пустовала, и в ней поселился граф Мусин-Пушкин-Брюс.

«Сего ноября 12 дня, к вечеру пропал легавый щенок, кобель; приметами оной: весь белый, на ушах пятнами крапины изредко, хвост рубленой. Кто онаго щенка, поймав, приведет или об оном даст знать 3 Адмиралтейской части в 1 квартале г-жи Зиминной под № 13, что возле Аничкова мосту, жившему в оном доме в 2-м этаже на Фонтанке камердинеру графа Мусина-Пушкина-Брюса, Ивану Жукову, тому будет дано 25 рублей.

Или, действительно, собака была очень хорошая, что за нахождение ее давалась такая крупная по тому времени награда 25 рублей, или же это была любимая собака графа Мусина-Пушкина-Брюса. Нашлась ли эта белая легавая с «рубленным» хвостом, мы не знаем, но, по всей вероятности, не ошибемся, если скажем, что в конюшнях, в левом флигеле произошла экзекуция того виновного, кто упустил такого доброго щенка.

Наконец, можем указать, что раньше Нарышкина квартиру занимала какая-то «скучающая» особа — была ли это старая барыня, нечто вроде той Московской Венеры, цельный образ которой нарисовал Пушкин в своей «Пиковой даме», или, может быть, даже молодая красавица, жаждавшая и не находившая пока жениха, или, наконец, старая дева, потерявшая всякие надежды — не знаем, но эта особа поместила следующий вызов: «Желают иметь благородную женщину средних лет, которая знает говорить по-французски и по-русски и отчасти по-немецки для компании, узнать подле Аничкова мосту в Зиминском доме № 13 по Фонтанке в 2-м этаже...»

Последние года владения Зиминскими их домом — большинство квартир в их доме пустовало, и Зимина предлагала желающим снять этаж на Фонтанку не целиком, а только половину. Кажется, и на половину не находилось охотников...

Хроника дома Зимина любопытна в том отношении, что дает яркие образцы, по которым можно составить себе представление о способах эксплуатации среднего петербургского дома конца XVIII — начала XIX столетий.

Рядом с титулованными особами в доме живет и мелкий ремесленник, и ростовщик, тут же помещается и аукционная камера и кофейный дом со странным названием «Каноникус», а в погребах ютится и полпивная с «пивом и портером на аглинский манер» и простонародная харчевня — не делается еще никакой разницы между жильцами, все принимают, лишь бы платили деньги...

VII

Под гербовой моей печатью
Я свиток грамот сохранил...

Были такие грамоты и у нового владельца старого Зиминского дома Дмитрия Александровича (впоследствии графа) Гурьева.

«Божею милостью мы великие государь Царь и великий князь Михаил Феодорович пожаловал калуженина Петра Наумовича Гурьева за его многие службы, что он, памятуя

Бога и пречистую Богородицу и московских чудотворцев, будучи у нас в Московском государстве при царе Василье в нужное и прискорбное время, за веру крестьянскую и за святые Божия церкви и, за нас всех православных крестьян, против врагов наших польских и литовских людей и русских воров, которые до конца хотели разорить государство Московское и веру крестьянскую попать, а он, Петр, будучи на Москве в осаде, против тех злодеев наших стоял крепко и мужественно, и многое дородство и храбрость и кровопролитие службу показал, голод и наготу и во всем оскудение и нужду всякую осадную терпел многое время и на воровскую прелесть и службу ни на которую не покусился, стоял в твердости разума своего крепко и непоколебимо безо всякие шалости... из ево поместья в калужском уезде в отчине, в деревне Сидоровской, да в пустоши в Терешенках, да в пустоши в здвиженской в вотчину со всеми угодыя...»

А подписана грамота 7132 года сентября 30 дня — т. е. в 1624 году.

Если при Василии Шуйском, Петр Наумович Гурьев защищал Москву от поляков и от многочисленных самозванцев и был пожалован за это вотчинами, то его внук, стольник Кузьма Сильвестрович Гурьев, был обласкан двумя царскими грамотами от царей Иоанна и Петра Алексеевичей. Первую он получил «за многую службу, что он во время настоящей войны с султаном турецким и ханом крымским, служил отцу нашему Великому Государю Алексею Михайловичу и брату нашему Великому Государю Феодору Алексеевичу, будучи в полках с бояры нашими», вторая грамота была дана за то, что «будучи за нами Великим Государем Царем в нашем царского величества поход в селе Коломенском и в савине монастыре и в селе воздвиженском и в троицком сергиевом монастыре во время шедшаго в нашем царствующем граде Москве мятеж и нестроении служил нам» — Кузьма Сильвестрович Гурьев, таким образом, не встал за князем Хованским и стрельцами на сторону царевны Софии...

При тишайшей царице Елизавете Петровне, Александр Григорьевич Гурьев — внук упомянутого нами стольника Кузьмы Сильвестровича — был всего-навсего секунд-майором

гвардии, но, несмотря на сравнительно невысокий чин, пользовался большим влиянием и силой, так как он был ближним человеком царского любимца Ивана Ивановича Шувалова.

О значении Александра Григорьевича Гурьева мы узнаем из следующего письма гр. Семена Романовича Воронцова к отцу Роману Ларионовичу: «Екатеринбургские судьи сделали совсем определение, чтобы отнять у нас Белоярскую слободу (а она у нас наилучшая), и хотели ее отдать Александру Григорьевичу Гурьеву...»

Когда же гр. Семен Романович Воронцов обратился к главному судье Арцыбашеву за объяснением, то последний «ответствовал, что Иван Иванович писал ему с выговором, для чего Гурьеву не приписали крестьян с поспешностью, а к другим тотчас приписали не только к настоящим молотовым фабрикам, но и в те, которые впредь обещали построить, хотя еще ничего не построили, да и видно, что еще в три года не построят».

Таким образом, мы видим, что калужский помещик Александр Григорьевич Гурьев был, кроме того, и Екатеринбургским заводчиком.

Его сын Дмитрий Александрович Гурьев 15 лет (до сих пор биографы считали годом рождения Д. А. Гурьева 1751 год, но из подлинного формулярного списка видно, что он родился в 1757 году) поступил на службу в л.-гв. Измайловский полк солдатом 17 ноября 1772 года, через неделю после поступления на службу был произведен в капралы, в следующем 1773 году он получил сразу два повышения в каптенармусы и сержанты, затем в 1779 году был сделан прапорщиком, в 1772 году подпоручиком, через год (1783) поручиком и, наконец, 1 января 1785 года капитан-поручиком.

Но в военной службе Дмитрий Александрович Гурьев оставался недолго и уже в следующем 1786 году был назначен (2 сентября) камер-юнкером при дворе Екатерины II, а вскоре и церемониймейстером церемониймейстерской части при Коллегии иностранных дел, в 1795 году он был произведен в камергеры.

Дмитрий Александрович Гурьев принадлежал к числу тех немногочисленных придворных Екатерининского

времени, которые сохранили свое положение и при Павле I — 1 января 1797 года Д. А. Гурьев был назначен гофмейстером двора Великой Княгини Александры Павловны, а в 1799 году ему повелено было присутствовать в Сенате.

С вступлением на престол императора Александра I перед Гурьевым открылось блестящее поле деятельности: 26 августа 1801 года император Александр I поручил Д. А. Гурьеву управление кабинетом, 8 сентября 1802 года Гурьев стал



*Д. А. Гурьев.
Портрет из собрания кн. Шаховской*

товарищем министра финансов, 9 июня 1806 года министром уделов, а 1 января 1810 года — членом Государственного совета и министром финансов. Но кроме такого повышения по службе Дмитрий Александрович Гурьев, кроме ряда милостивых рескриптов от императора Александра I, получил и ряд наград: 1 января 1804 года — орден Св. Александра Невского; 27 января 1804 года — чин действительного тайного советника; 18 ноября 1806 года — алмазные знаки ордена Александра Невского; 28 августа 1810 года — денежный подарок в 100 тысяч рублей; 30 августа 1814 года — орден Владимира I степени; 1 января 1817 года — орден Андрея Первозванного; и, наконец, 12 декабря 1819 года был пожалован в графское достоинство.

При этом гр. Гурьеву был дан следующий герб: «За истинный разум, доброй экономии, за ясность щитов» (т. е. счетов).

«Щит разделен горизонтально на две части, из коих в верхней, в красном поле, возникает $\frac{1}{2}$ черного одноглавого

орла с распростертыми крыльями; в нижней части, в голубом поле, отсеченная рука в латах из облака выходящая с серебряной саблей вверх поднятой; щит покрыт графской короной, имеет на поверхности шлем, увенчанный короной, под которой виден черный двуглавый коронованный орел, имеющий на груди щит пурпурового цвета с изображением вензеля нашего имени. Намет серебряного, голубого и красного цвета, подложенный серебром. Щит держат на правой стороне лев, а на левой — единорог».

Но блестяще начатая карьера также внезапно прекратилась. Гр. Гурьев, опираясь на близкого друга царя кн. А. Н. Голицына, не побоялся вступить в войну с всесильным, всемогущим графом «без лести преданным» Аракчеевым. Борьба началась потому, что гр. Гурьев, как министр финансов, требовал от военного министра и отчетности, и сокращения расходов.

«У меня один только остался злодей Гурьев, — так говорил Аракчеев своему приближенному Маевскому, — но и тот, слава Богу, околевает».

Гр. Аракчеев в этой борьбе хотя и победил, но не вполне. Император Александр I в день Пасхи 1823 года уволил гр. Гурьева от звания министра финансов, оставив его и министром уделов и управляющим кабинета...

Удар был нанесен гр. Гурьеву слишком сильный, он не ожидал отставки — и пережил недолго свое падение; он умер 30 сентября 1825 года.

Император Александр I почтил вдову графа следующим письмом.

C'est avec la peine la plus sensible, Comtesse, que j'ai appris la nouvelle du décès de Votre époux. Les longs et importants services, rendus par le defunt à L'Etat et les sentimens personnels que je lui ai toujours portés me rendent sa mémoire à jamais chère.

Soyez donc persuadét de la part très sincère que je prends à Votre affliction. Puisse le Ciel dans samiséricorde Vous faire trouver quelque consolation à Votre juste douleur.

Receves, Comtesse, l'expression de mes sentimens listin-
gués.

Aléxandre.

Taganrog ce 10 Oct. 1825.*

Возвышение Гурьева связано с именем М. М. Сперанского. Гурьев в начале своей службы в министерстве был орудием в руках М. М. Сперанского для проведения последним его финансового плана 1810 года. Во всяком случае, М. М. Сперанский принадлежал к таким административным деятелям, которые редко являются на арене государственной жизни, и то обстоятельство, что Сперанский приблизил к себе Гурьева, свидетельствует в пользу Гурьева — очевидно, что Гурьев был не только «гастрономический гений», как выражается Вигель, но и мог содействовать планам и начинаниям Сперанского.

Наконец, сам Гурьев, в своем плане финансового управления 1816 года, повторил за немногими поправками финансовый план Сперанского 1810 года, — следовательно, он был хорошим учеником, а главная существенная работа графа Гурьева — предложение 1821 года об увеличении доходов и о уменьшении расходов по военному ведомству — в первой своей половине представляла переработанный проект Николая Тургенева, опять-таки личности недюжинной, которая могла бы сыграть значительную роль в истории русской жизни, если бы не 14 декабря 1825 года.

Приведем основные положения главных проектов графа Гурьева.

В 1819 году 14 декабря был опубликован Таможенный устав, который в общих чертах просуществовал до наших дней.

* С большой скорбью, Графиня, я узнал новость о кончине Вашего супруга. Продолжительная и важная служба покойного на благо государства и личные чувства, которые я всегда к нему испытывал, навсегда останутся в моей памяти.

Будьте уверены, я искренне разделяю Вашу скорбь. Да будет Бог милосерден и поможет найти Вам утешение в Вашем горе.

Помните, Графиня, выражение моих глубоких чувств.

Александр.

Таганрог, 10 октября 1825 года.

2 апреля 1817 года появился указ о замене откупов казенной продажей вина (с 1819 года). Эта казенная продажа вина, как видно из записок Гурьева, почиталась им только временной переходной мерой, через нее должно было перейти к акцизной системе, в то время уже существовавшей в Западной Европе.

5 августа 1818 года было введение нового устава о соли. Казна не только была избавлена от значительных по соляной операции убытков, но вскоре стала получать прибыль; в том же 1818 году, вследствие настояний гр. Гурьева, было предоставлено крестьянам право учреждать фабрики и заводы с освобождением их при этом в течение 4 лет от платежа пошлин.

Наконец, к 1821 году относятся проекты Гурьева о гербовом сборе и о пошлинах с наследств.

Граф Гурьев полагал уничтожить подушную пошлину с мещан, заменив ее сбором с их промыслов, изменить расположение подати с купцов по гильдиям, заменив подземную подать доходом с владельческих имений; затем гр. Гурьев обращал особое внимание на крепостной и гербовый сбор, который, как он полагал, в существе своем есть «один из обильнейших источников государственного дохода и имел перед многими другими следующие важные преимущества:

1) беднейшие классы народа, по положение своему, могут быть почти свободными от платежа его;

2) богатейшие граждане, делающие между собой многообразные сделки и имеющие в судебных местах значительные процессы, наиболее будут оному подвержены и, следовательно, по естественному ходу вещей правительство может быть уверено и в обильном и почти бездоимочном доходе по сей части».

Наконец, граф Гурьев считал необходимым ввести пошлину с наследства.

Вот те главные основания, помощью которых граф Гурьев старался доказать и необходимость и справедливость этой пошлыны.

«Она сообразнее со строгою справедливостью, — писал гр. Гурьев, — которая требует, чтобы каждый член общества делал некоторые пожертвования за выгоды, коими он пользуется под покровом установлений сего общества; она платится

в самое удобное время и именно тогда, когда наследники приобретают без труда то, что не имели и, следовательно, без всякого стеснения, могут пожертвовать малозначительную часть приобретенного».

Пошлину с завещанного Гурьев полагал определить выше пошлины с наследства, которое переходит законным путем, ибо в первом случае получающие наследство пользуются не правом, общим законом о наследстве предоставленным, а только волей, весьма часто несправедливой, завещателя.

Этот проект Гурьева подвергся злой критике графа Н. С. Мордвинова. (Любопытно, между прочим, что граф Н. С. Мордвинов всегда считался либералом, гр. Гурьев был консерватором, но в данном случае понятия перепутались.)

Сделав ссылки на Плиния, Адама Смита, восставших против наследственной пошлины, граф Н. С. Мордвинов писал следующие строчки:

«Министр финансов не освобождает от этого, т. е. от пошлины, движимого даже имущества, полученного по наследию, сколько бы ни было кратковременным пользование им и требует верного объявления всему наследству; за утайку же полагает строгое наказание; а за умедление в подачи объявлений берет имение в опеку».

«С этим новым ущербом имущества, с наказанием, возлагаемым до сих пор только за законопреступные дела и поступки и с угрозой доносов, устав гербовых пошлин, начертанный Министерством финансов, явится в числе русских кротких узаконений несовместным и крайне огорчительным. Вводимые им в семейные дела доносы возмущают нежнейшие чувства человека. Один из семейства или ближайший из друзей может только знать истинную цену наследства и подробное ему описание. Возмущать верность друзей, любовь родственников, покорностью подчиненных — запрещают священные связи и взаимные обязанности друг к другу миролюбивых сограждан. Награду, обещанную таким доносчикам, отвергают законы духовные и светские, существенная цель и основание которых есть — благодать нравов...»

«Бывают времена народной опасностей или чувствительного огорчения чести и достоинства, в которые правительства могли быть принужденными преступить черту умеренности и возложить налоги, предосудительные мирным временам, и при

долговременном взимании, в последствиях пагубные, но такие налоги никогда не были признаваемы справедливыми, — на учреждаемы постоянными в вечными».

«Вообще, налоги, тяжкие или по своему количеству, или по причиняемому огорчению, должны быть облегчаемы во взимании их; но предполагаемые ныне налоги министр финансов вооружил стражею повсеместно, обеспечил доносчиками, размножил чиновников, ему подвластных, уполномочил их не допускать к распоряжению наследством и присвоил своему министерству всю власть над частной собственностью, доколе она не будет искуплена из руки финансового чиновника».

«В начертанной министром финансов росписи наследства никто не исключается от уплаты устанавливаемой им дани; оно не щадит ни сына, ни дочери, ни отца, ни матери, ни вдовы, ни вдовца, ни даже бедностью удрученного человека, какого бы он состояния ни был. Всех он ставит на черту повинности и вручает своим чиновникам без различия в преследования и наказаниях».

Достоверно можно сказать, что если бы пошлина на наследство была принята, то она произвела бы чувствительнейшее огорчение, и всеобщее негодование, ибо на поражает и оскорбляет закон, вдохновленные природою между кровными».

«По всем этим уважениям департаменты Государственного совета отвергают налог, во всех его постепенностях, как противный мудрости и благочестию августейшего нашего самодержца».

Таково было мнение того самого Мордвинова, про которого декабрист Рылеев писал:

Кто этот дивный великан,
Одеян светлой броней,
Чело спокойно, стройный стан,
И весь сияет красотой?
Кто сей, украшенный венком,
Строит гранитною скалой
И давит сильною пятой
Коварную несправедливость?

Конечно, в вышеприведенных рассуждениях гр. Гурьева о необходимости налога с наследства нет таких сентиментально-напыщенных сентенций, как в мнении гр. Н. С. Мордвинова, но, безусловно, рассуждения гр. Гурьева более соответствуют правильному взгляду на налоги...

Наконец, позволим себе привести еще один, последний проект, также не вошедший в жизнь, о гражданском уложении государственных крестьян.

Проект этот был составлен Гурьевым, как министром уделов, и заключал в себе все отрасли управления: хозяйственную, полицейскую и судебную.

В отношении гражданских прав гр. Гурьев полагал уравнивать государственных крестьян с прочими свободными состояниями; права на землю предполагалось установить 3 видов: полную собственность, куда отнесены земли, приобретенные или пожалованные; бессрочного содержания, куда причислялись земли, отводимые в семейные участки с платежом оброка, соответственно получаемому доходу от земли; и срочного содержания, куда введены статьи, составляющие собственно государственное имущество. Над государственными крестьянами, совокупно с казенными массами и имуществами, предполагалось учредить общее управление с отделением полицейской и хозяйственной власти от судебной.

Проект этот в 1824 году был забракован, а много лет потом им пользовался гр. Киселев, получивший за него славу известного либерала.

Граф Д. А. Гурьев по своему званию министра финансов пользовался казенной квартирой, которая помещалась на набережной Невы против Мраморного дворца, ныне дома Ратькова-Рожнова. Когда-то на этом месте существовал каменный дом князя Кантемира, одна из ранних построек гр. Растрелли.

27 июля 1814 года состоялась свадьба дочери гр. Гурьева Марии Дмитриевны с графом Нессельроде. Для молодых нужно было отвести квартиру, и гр. Д. А. Гурьев, подыскивая подходящий дом, невольно остановил свое внимание на продававшемся тогда доме Зимина, местоположение которого около Невского проспекта, недалеко от Аничкова дворца, могло быть названо центральным.



*К. В. Нессельроде. Копия Е. И. Ботмана
с портрета работы Крюгера*

Граф Гурьев и купил этот дом, где сначала и поселились одни новобрачные. Граф Нессельроде продолжал жить в том же доме и сделавшись министром иностранных дел.

В 1823 году можно было наблюдать следующую, полную древней идиллии, сценку.

В доме графа Гурьева, на Караванной, жил министр иностранных дел граф Нессельроде; тут же в этом доме жил не только посланник и полномочный министр

австрийского двора барон Лебцельтерн, но и два секретаря австрийского двора Флюсель и Швеер де Дюренштейн — таким образом, в одном и том же доме помещались и русский министр иностранных дел, и австрийское посольство; понятно, что последнее имело большую осведомленность в делах нашего Министерства иностранных дел.

Положим, такая идиллия наблюдалась и раньше. В 1810—1811 годах, когда уже готовился разрыв с Францией, император Александр I летом жил в Каменноостровском дворце, а через Невку, на другой стороне, напротив, занимал дачу князя Лопухина французский посол Коленкур и, сидя у себя в кабинете, мог беспрепятственно наблюдать за тем, что происходило во дворце русского императора, кто приезжал во дворец.

Внезапно разразившаяся катастрофа над графом Гурьевым заставила его с казенной квартиры переехать в свой дом, в котором он прожил очень недолго, всего около двух лет. Трудно предположить, что за эти два года граф сделал какой-либо значительный ремонт в доме. Положим, на плане 1823 года показана какая-то деревянная постройка посреди двора

(может быть устроили деревянные конюшни) австрийское посольство того времени содержало большую конюшню.

С переездом Гурьева в свой дом, последний потерял совершенно свой первоначальный характер доходного дома и сделался домом-особняком, в котором жили до своей смерти родоначальники фамилии, граф и графиня Гурьевы, и их дети, и даже замужняя дочь со своим мужем. Графиня Гурьева умерла в 1830 году, и дом после ее смерти перешел к стар-



М. Д. Нессельроде. Портрет работы Ж.-Б. Изабе. 1814 год

шему сыну Александру Дмитриевичу, женатому на графине Авдотье Петровне Толстой. Второй сын гр. Гурьева, Николай Дмитриевич, женился на Марине Дмитриевне Нарышкиной — не знаем, где происходила свадьба, но если в доме Гурьева, то один из приглашенных, дядя Марины Дмитриевны, Лев Александрович Нарышкин, попал в дом Гурьева, мог вспомнить свою юность, свою квартиру в этом доме, в 1810 году.

Александр Дмитриевич граф Гурьев только через 9 лет после смерти матери и вступления в наследственные права мог воспользоваться квартирой в собственном доме, так как 14 февраля 1839 года он был назначен членом Государственного совета. До этого времени граф А. Д. Гурьев служил в провинции.

Самое крупное выступление графа А. Д. Гурьева было 15–30 марта 1842 года, когда Государственный совет рассматривал дело касательно взаимных условий помещиков с их крестьянами.

Граф А. Д. Гурьев выступил решительным противником проекта. По его мнению, обнародование указа вселит лишь смуту в умы.

«У крепостных людей, — говорил гр. А. Д. Гурьев, — давно уже имеется сознание, будто Царь хочет дать свободу, а помещики того же не желают. Кто будет в силах оспаривать несчастную мысль сию, когда она подкреплится всем составом проекта указа?»

Но Государственный совет не согласился с графом А. Д. Гурьевым, и проект указа получил силу закона...

Таким защитником крепостного права граф А. Д. Гурьев остался всю свою жизнь, до 16 декабря 1865 года, когда он умер от паралитического удара на 81 году жизни.

«Член Государственного совета и председатель хозяйственного департамента этого совета, — читаем мы в его некрологе, — он был в 1859 году принужден, вследствие первого удара, отказаться от участия в делах. Шесть лет сряду боролся он с тяжелой болезнью, каждую весну ездил в Теплиц пользоваться водами. Он имел коренные убеждения и упорно защищал их, невзирая на то, что они шли в некоторых случаях противно господствующему течению и могли возбуждать неудовольствие. О министре Канкрине он говорил с большим уважением, но вместе с тем укорял его за разные меры, принятые под его правлением, которые считал государственными ошибками. Он не находил его достаточно твердым защитником государственной казны и приписывал его попущению расходы излишние и даже, по мнению графа Гурьева, вредные. Замена ассигнационного рубля кредитным не была также им, безусловно, одобрена. Граф Гурьев говорил, что употребление целкового рубля, как денежной единицы, вредно тем, что располагает народ к расточительности. Он не находил слов довольно сильных, чтобы отвечать тем людям, — такой несколько туманной фразой заканчивается некролог, — которые судили легкомысленно о государственном банкротстве, как о зле переходящем, печальном для некоторых!»

Судьба всегда смеется над людьми. Мог ли думать Канкрин в июне 1823 года, когда он уверял, что «все данные прежнего министра гр. Д. А. Гурьева неверны, что казначейство

приближается к банкротству», что через 25 лет почти то же самое будет говорить о нем, Канкрине, председатель департамента Государственной экономики, граф Александр Дмитриевич Гурьев, сын бывшего министра финансов.

С 1839 года по день своей смерти граф А. Д. Гурьев прожил в своем доме, в квартире второго этажа, выходящего на Фонтанку. Безусловно, за 25 лет жизни графа квартира не раз ремонтировалась, но ремонт этот был поверхностный: красились стены, белились потолки,

камины заменялись печами и т. д. — дом и снаружи и внутри в главных чертах оставался таким же, каким его создал первый владелец — именитый гражданин Гавриил Зимин.

Дочь графа А. Д. Гурьева, графиня Александра Александровна вышла замуж за польского магната князя С. К. Любомирского. Брак этот был непродолжительным. Молодая Любомирская умерла после рождения дочери, во владение которой и перешел Гурьевский дом.

Княжна Екатерина Сигизмундовна Любомирская не жила в России, ее домом управляли различные управляющие. Дом снова принял первоначальный характер доходного дома, и в 1888 году второй этаж на Фонтанку был сдан за 3660 рублей Собранию инженеров путей сообщения, которое устроило здесь свой клуб. Помещение было отдано с ремонтом и, несмотря на то, что хозяева были инженеры, ремонт дома производился самым варварским образом: мраморные стены и мраморные каминные закрашивались масляной краской,



*А. Б. Куракин, прапрадед
кн. М. А. Шаховской. Портрет
работы В. Л. Боровиковского.
Из собрания кн. М. А. Шаховской*

золотились те бордюры, которые должны были оставаться без позолоты, словом, ремонт делался так, как его считает нужным сделать маляр.

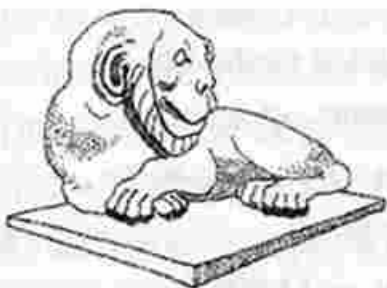
В это время произошла последняя перемена владельцев дома. Дом от княжны Екатерины Сигизмундовны Любомирской перешел к княгине Марии Анатольевне Шаховской, правнучке графа Гурьева, урожденной княжне Куракиной; таким образом, в течение целого столетия — с 1814 по 1914 год — дом оставался в одном роде, переходя, впрочем, по женской линии...

Ожил старый дом, вернулся его былой облик, были приняты работы, соскоблена масляная краска, появились мраморные стены, восстановлены прежние украшения, сделана была небольшая пристройка галереи с полным соблюдением стиля, а в самом доме, выражаясь по старинке в «аппартаментах», разместилось одно из лучших частных собраний Петербурга, собрание состоящее, как говорит такой знаток дела, как С. Н. Тройницкий, из многих прекрасных и милых предметов (часть их воспроизведена на этих страницах). Собрание это составлялось не с целью образовать определенную коллекцию, а потому что собранные предметы представлялись красивыми, интересными и подходящими к обстановке... Ожил старый дом, и в двадцатом столетии, рядом с кипучей артерией столицы, рядом с Невским проспектом, по которому шумит трамвай, несутся автомобили, движется многотысячная толпа, рядом с громадным, безвкусно аляповатым, в чисто буржуазном духе домом Лихачевых, как бы смиренно приютился старый-престарый дом... Ему хорошо и спокойно — он чувствует, что его испытания окончились, что он надолго останется молчаливым свидетелем «прошлого далеко», что его характерные черты — признаки прошлого — не будут уничтожаться, а, наоборот, подержатся заботливой рукой.

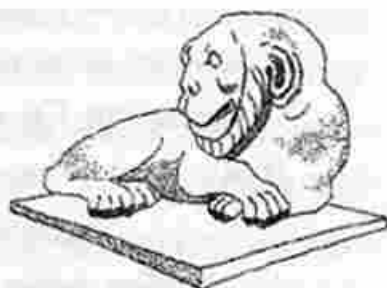
Дроуеу Трыда



*Исторический очерк П. Н. Столпянского
«Дворец труда» впервые был опубликован
в Петрограде в 1923 году*



Дворец Труда



Несколько слов от автора. — Особенность строительных распоряжений Петра I. — Что было на месте Адмиралтейства. Метаморфоза, испытанная Адмиралтейством. Образование гласиса у Адмиралтейства. — Временный Канатный двор. Узаконения о Канатном деле. Выбор места для Канатного двора. Постройка его. — Анализ плана местности. Описание Канатного двора 1723 года. Адмиралтейский и Крюков каналы. Воспрещение частных построек у Канатного двора. — Смольня. Ее постройка. Противопожарные мероприятия. — Ремонт Канатного двора. — Проект перевода Адмиралтейства в Кронштадт. — Желание переделать Канатный двор в хлебный запасный магазин. Распродажа Канатного двора. — Доклад адмирала Пуцина. Переделка Канатного двора в морские казармы. — Неудача вторичной попытки распродать в частные руки Канатный двор.

Дата появления Галерной улицы. — Застройка Английской набережной. — Меншиковские мазанки. — Регулирование Английской набережной. Когда началось усиленное заселение Английской набережной. — Почему эта набережная называется Английской. — Таблица домовых участков на Английской набережной. — Устройство гранитного берега. —

Гуляние на Английской набережной. — Каток Английской набережной. — Английский трактир.

Мазанки Меншикова. — Дом Остермана. — Дворец Бестужева. — Старый Сенат. — Перестройка его Росси. — Архитектурное значение Сената.

Особняк графини Лаваль. — Обыск в особняке в ночь с 14 на 15 декабря 1825 года. — Биографические данные о графине Лаваль, урожденной Козицкой, и графе Лаваль. История их

женитьбы. — Постройка особняка. — Великолепные рауты для царской фамилии. — Литературные вечера. — Значение салона графини Лаваль. — Карточная игра и военный министр Сухозанет. — Дочь графини Лаваль, княгиня Трубецкая — прототип Некрасовской поэмы «Русские женщины». Переход особняка в другие руки.

Разбор таблицы домов. — Общие замечания. — Особняк Воронцова-Дашкова. — Описание праздника 12 февраля 1842 года. — Замятин переулок. — Другое его название. — Новое село у графа Орлова. — Дом Военной академии. — Дом Салтыкова. — Покупка его Волярыльским. — Канкельский утес. Николаевский мост. — Его постройка. — Стихи Зотова на открытие моста. — Церемония открытия. Морские слободки. — Попытка их регулировать. — Пожар 1737 года.

Дом Ломоносова. — Дом № 61 на Мойке. — Дом почтовых карет. — Архитектор Кавос. — Дом Министерства внутренних дел.

Дом Ягужинского. — Театр в этом доме. — Представления первых эквилибристов. — Пантомимы XVIII века. — Переделка дома в Почтамт. — Дом Безбородки. — Главное управление почт и телеграфа. — Телеграфный двор.

Дом Мятлевых. — Дом Сарептского Общества. — Дом Германского посольства.

Участок Брумберга. — Конногвардейские казармы. — Конногвардейский бульвар. — Церковь Благовещения.

Дворец великого князя Николая Николаевича. — Ксениевский институт. — Дворец Труда.

Примечания.

Несколько слов от автора

Задача автора — в живой популярной, но строго научной форме дать исторический очерк небольшого уголка Петербурга, той местности, которая в настоящее время является резиденцией Дворца Труда.

К сожалению, все еще невозможно составление общей истории Петербурга, нужна еще большая подготовительная

работа. Но для некоторых уголков Петербурга у пишущего эти строки собрано достаточное количество данных, что читатель может увидеть из количества приложенных к этому очерку примечаний, ссылок на документы. Затем описываемая местность представляет и большой общий интерес. Знакомясь с развитием с переустройством этой местности, читатель неизбежно приходит к заключению, что в построении и регулировании Петербурга не было строгого, продуманного плана. Наоборот, из этого очерка ясно, что без всякой надобности ломалось, переделывалось, портилось то, на что была затрачена масса средств и еще более дарового человеческого труда...

И если вообще возможно признавать некоторый символизм, то избрание бывшего Ксениевского института, ранее Николаевского дворца, Дворцом Труда, безусловно, соответствует символизму — как много потрачено труда в этой местности, чтобы привести ее в современный вид — фундамент для Дворца Труда был заложен основательный.

П. Столпянский

28.VI.1921 г. С.-Петербург

Одной из особенностей Петра Великого при строении города Санкт-Питер-бурха было стремление пользоваться для своих главных сооружений более или менее подготовленными местами, таковыми же, бесспорно, являлись многочисленные финские деревушки, разбросанные по берегам дельты Невы. Здесь, как-никак, почва была до известной степени укреплена, не представляла из себя той трясины, которая была так обыкновенна в болотистом лесу, и было, таким образом, легче строиться. На нынешнем Адмиралтейском острове, судя по шведским картам¹, были две деревушки: на месте нынешнего Адмиралтейства находилась деревня Гавгуево — в ней было «два двора, душ мужского пола, людей тяглых, 2, сена косили 20 копен, а хлеба сеяли 6 коробей» — и какая-то безымянная деревня приблизительно на месте нынешней церкви Благовещения. Эта последняя деревня заключала в себе «пять дворов и сем душ мужского пола, сена косили 90 копен, а хлеб сеяли

18 коробей», наконец, на месте нынешнего Летнего сада был уже разбит сад при имени шведского майора Конау.

Этими тремя пунктами и определилось дальнейшее застроение Адмиралтейского острова — сад имени майора Конау сделался Летним царским садом, здесь был построен первый Летний дворец (о Летнем саде, окружающей местности подробности мною сообщаются в имеющей выйти в свет монографии: «Площадь Жертв Революции»), на месте безымянной деревни появился Каторжный двор, а на месте деревни Гавгуево возникло Адмиралтейство, которое, по первоначальному проекту, представляло из себя одноэтажное мазанковое здание. Передний фас предназначался для разных мастерских, в боковом фасе (против бывшего Зимнего дворца) предполагалось устроить сарай в 350 футов длиной для спуска каната и такелажа и для помещения канатного и смоляного мастеров; в другом боковом фасе, против бывших Сената и Синода, проектировались амбары для мастеров мачтового, блокового, парусного и др. Наружные стены этих строений не должны были иметь никаких проемов, а все окна и двери выходили внутрь Адмиралтейского двора, причем в 15-футовом от них расстоянии проектировалось вырыть канал. Пространство внутри этого канала, длиною в 100 и шириною в 49 сажень, и составляло собственно верфь, где надлежало устроить 13 эллингов для сооружения кораблей, три сарая для постройки более мелких судов и две кузницы.

Но этот первоначальный план так и остался в проекте, военные действия шведов заставили вместо обыкновенной верфи устроить крепость, которая, как это видно из старинных планов, была устроена о пяти бастионах, окружена высокими земляными валами, обрыта довольно широким и глубоким рвом — каналом. И 15 ноября 1705 года один из строителей Петербурга Яковлев доносил петербургскому губернатору Меншикову²: «при С.-Петербурге, на Адмиралтейском дворе, милостию Божиею, все хранимо и, во круг того двора, крепость строением совсем совершилась и ворота подъемные и шпиц и по бастионам по всем пушки поставлены и рогатками обнесены».

Вследствие этого изменения, в плане постройки Адмиралтейства произошли два события, повлиявшие на план

окружавшей Адмиралтейство местности. Так как Адмиралтейство стало крепостью, то оно должно было иметь незастроенный гласис — вокруг Адмиралтейства и образовалась громадная площадь³, только в 1872 году превратившаяся в Александровский сад, ныне прозванный Сад трудящихся. Затем, внутри крепости, стесненной валом и рвами, не оказалось места для выше упомянутого канатного сарая, его пришлось устраивать на ином месте. Временно этот сарай устроили на гласисе, по крайней мере, так его описывает автор составленного в 1710–1711 годах первого описания Петербурга⁴: «Близ Адмиралтейства большой Канатной двор в несколько сот шагов длины, на котором изготовляются якорные и мелжовые канаты и все необходимое для корабельной оснастки».

Временное устройство Канатного двора может быть объяснено тем, что Петр Великий долгое время колебался, где выгоднее устроить производство канатов — в Петербурге или ином месте. Вначале канаты у нас изготовлялись в Москве, и 23 января 1716 года⁵ «Царское Величество канатов на Москве делать не указал и повелел всех канатных мастеров и прядильщиков прислать в С.-Петербург, чтоб, конечно, они могли бы здесь стать для будущей кампании марта в первых числах», затем в том же году следует и другое, аналогичное распоряжение⁶ «О производстве работ по изготовлению канатов и канатной пряжи в одном Петербургском Адмиралтействе и о запрещении приобретать впредь с подрядов эти припасы», далее в 1718 году в одном январе месяце появились новые два указа: первый (от 15 января) — «Указ Архангельскому Вице-губернатору о высылке в С.-Петербург на Адмиралтейский канатный двор 150 прядильщиков»⁷, второй (от 31 января), подтверждал этот первый указ, но уменьшал число прядильщиков до 100 человек⁸. Эти два указа должны были служить основанием более общему указу, изданному в том же 1718 году «О бытии в Петербурге генеральному прядильному двору»⁹, и в результате этих мероприятий последовало 27 мая 1720 года новое распоряжение¹⁰: «На лугу, что против двора секретаря Осипа Павлова, для спуска канатов поставить из Адмиралтейской подрядной канцелярии прядильню в 6 колес и для клати пеньков и инструментов сделать анбар в 6 сажень и

крыть кровлю и быть тому строению на том месте, доколе под прядильню состроены будут мазанки, как те мазанки со-
строются, тогда оный амбар сломать»; через месяц, 30 июня
1720 года¹¹, было указано место — «прядильню в одно житье
делать позади двора светлейшего князя и уступить от того
двора улицу». Этим распоряжением, одновременно с устрой-
ством Канатного двора, пробивалась и нынешняя Галерная
улица. И только 2 марта 1721 года¹² приступлено было к работе,
причем работу производили наемными людьми¹³, и к 1723 году
Канатный двор имел следующий вид¹⁴. (Это описание составил
камер-юнкер Берхгольд, приехавший в свите герцога Голштин-
ского, выписанного Петром Великим как жениха для старшей
дочери Анны Петровны. Герцог Голштинский сделался отцом
императору Петру III.) «Отсюда вице-адмирал повел нас на
канатные дворы (Kererbahn), находящиеся вне Адмиралтейства.
Там выстроены рядом, в известном расстоянии один от друго-
го три дома, из которых каждый тянется ровно на полверсты,
имея 750 локтей в длину и 20 шириной. Из всех трех, с одной
стороны, проведены вкось галереи, соединяющиеся с другим,
находящимся насупротив, мазанковым строением, где смолят
якорные канаты и скатывают или плетут их, проводя через
упомянутые галереи. Якорные канаты делаются здесь очень хо-
рошо и охраняются от всякой мокроты крышами, устроенными
над дворами. Возле третьего двора, кроме того, выстроено еще
3 дома, которые все вместе равняются прежде названным, и
в которых хранится пенька, лен. В настоящее время на конце
канатных дворов возводятся еще несколько магазинов. Все это
место окружено каналом и плетеным забором.»

Из-под валов Адмиралтейства шел через бывший Алек-
сандровский сад длинный канал, который носил название
Адмиралтейского. Он проходил под нынешним Бульваром
Профессиональных союзов и впадал в существующий доньше
Крюков канал; теперь этот Адмиралтейский канал заключен в
трубу, одно отверстие которой видно при впадении его в Крю-
ков канал: подробности об этом будут сообщены ниже. Крюков
канал был прорыт от Невы до Мойки, часть этого Крюкова
канала, на бывшей Благовещенской площади, при постройке
первого постоянного в Петербурге Николаевского моста, была

также заключена в трубу. Крюков канал был прорыт в 1717 году¹⁵, получил свое название от фамилии подрядчика Крюкова, копавшего этот канал и получившего 20 сентября 1719 года¹⁶ 150 рублей за добавочное рытье. Канал этот был прорыт со специальной целью — осушить эту местность. Назначение Адмиралтейского канала было несколько иное: этот канал — он вырыт также в 1717 году¹⁷ — должен был служить для хранения привозимого в Петербург леса. «Корабельные сосновые леса, — читаем мы распоряжение от 8 июня 1720 года¹⁸, — класть по каналу, который делается от Адмиралтейства к Голландии». Но когда начался этот канал рытьем, Петр Великий дал ему и другое специальное назначение. Прежде всего, от этого канала, по направлению к зданию бывшего Синода, был проведен небольшой отрезок, а затем, в противоположную сторону от этого отрезка, сперва под прямым углом, был проведен второй, затем параллельный Адмиралтейскому каналу и снова впадающий в него, и образующий таким образом особый островок. Этот островок должен был быть застроен амбарами для пеньки, льна, угля — легко возгораемых продуктов, — чтобы обеспечить другие здания Адмиралтейства от пожара или, как тогда говаривалось, «пожарного страха для», и устроили этот островок. Но, насколько можно судить по некоторым данным, на островке не было устроено этих амбаров, островок, вплоть до своего исчезновения, что случилось в начале XIX века, был не застроен. С другой стороны этого Адмиралтейского канала, вплоть до нынешней Благовещенской площади, тянулись, как и говорится в описании Берхгольца, канатные амбары, занимающая собою всю левую сторону современной Галерной улицы, правая сторона Галерной улицы была уже в то время отчасти застроена постройками частных домов, хотя Петр Великий и его преемники противились появлению в этой местности сперва вообще частных домов, а впоследствии деревянных домов. 9 июня 1720 года, т. е. в год постройки Канатного двора, появился именной, объявленный генерал-полицмейстером Девнером указ «о нестроении в Санкт-Петербурге, где казенный прядильный двор и прочие Адмиралтейские заводы, строения». 22 декабря того же года этот указ был подтвержден, причем вместо хормного строения приказано было сделать

«забор с решетками»¹⁹. Наконец, 10 июля 1738 года последовала утвердительная резолюция Кабинета министров на доклад комиссии о строении, «о сломке деревянных зданий в С.-Петербурге по Галерной набережной»²⁰; но из дальнейшего изложения будет видно, что все эти указы не имели никакого действия. Вышеупоминаемый палисад был в действительности построен на несколько ином месте, а именно, он шел²¹ через бывшую Сенатскую площадь, приблизительно там, где теперь возвышается монумент Петру I, и затем этот палисад уже не постоянный, а передвижной, устраивался по льду Невы, зимой, чтобы воспрепятствовать входить посторонним лицам в Канатный завод, но, кажется, очень скоро догадались, что этими палисадами делу не поможешь, и их перестали ставить²².

Отросток Адмиралтейского канала к Синоду был проведен вот с какою целью: на месте нынешнего Синода была устроена смольня, т. е. помещение, где в особых больших котлах — эти котлы выписывались из-за границы²³ — кипятилась смола для смоления канатов. Горячая смола представляла из себя еще более опасный в пожарном отношении материал, чем пенька и уголь, и для того здание смольни было построено на берегу канала, из которого в случае пожара было можно тотчас достать воды. На берегу этого канала постоянно помещались и пожарные насосы. Но, несмотря на все эти предосторожности, нахождение смольной бани посреди города, недалеко от Адмиралтейства, беспокоило Петра, и 28 октября 1721 года Петр делает распоряжение²⁴: «Смольню до весны не ломать, а с начала весны вместо нее, конечно, сделать на эверсе или на плоскодонном судне, чтобы она, как летом, так и зимою всегда была на воде», но этот проект не был приведен в исполнение и был заменен другим, также невыполненным²⁵, «О постройке для литья смолы деревянного обитого свинцом погреба». Смольня, как и большинство других построек Канатного двора, была мазонковою, каковою она оставалась до 1749 года²⁶. Тогда 8 сентября вызывались желающие «вместо имеющихся при Канатном дворе смолен, в которых требуемых во флот и Адмиралтейство канатов смолить опасно, достроить ей имеющихся построенных вновь каменных мастерских палат для варения смолы» и за это устройство, с черепичного

крышею, предлагалось получить 495 рублей, а с досчатою — на 100 рублей дешевле, т. е. 395 р.»²⁷. Исчезла смольня вместе с исчезновением и части Канатного двора, и уже в конце XVIII века на ее месте красовался частный дом купцов Устевых, впоследствии купленный именитым петербургским купцом Кусовниковым.

Еще ранее, чем перестраивать смольню, принялись за Канатный двор, в 1736 году приказано было «у прядильного сарая сделать каменную стенку»²⁸, а в следующем году нужно было деревянную крышу заменить черепичной²⁹. В 1775 году при императрице Екатерине II возник проект полной перестройки Канатного двора. Приказано было прислать графу Чернышеву план для постройки в С.-Петербурге каменного Канатного двора³⁰, но дело дальше присылки планов не пошло. В 1783 году в мае месяце в Адмиралтействе возник большой пожар, в связи с которым и решено было перевести Адмиралтейство и Прядильный двор в Кронштадт, в последнем было отыскано место для будущего Адмиралтейства, составлялись проекты перевода его, сочинялись сметы, словом, адмиралтейские чиновники того времени проявили кипучую деятельность, но с переводом Адмиралтейства в Кронштадт нужно было и всем чиновникам, и служащим в Адмиралтействе переехать в Кронштадт, что, конечно, многим из них, и особенно начальствующим, совершенно не улыбалось; в самом деле, тогда бы пришлось жить вместо столицы в страшном захолустье, и дело было повернуто так, что все ограничилось лишь составлением проектов да многомиллионных смет. Но хотя Адмиралтейство и осталось на своем месте в Петербурге, Канатный завод был, в силу указа от 23 октября 1786 года³¹, уничтожен — в это время в Петербурге было уже достаточное количество частных канатных заводов, и поставка канатов подрядом была выгоднее казенного производства канатов. Строения завода были отданы под хлебный гражданский магазин. Конечно, без перестройки, без надлежащего ремонта приспособить Канатный завод под хлебный магазин было невозможно, ремонт требовал больших денег, и вместо объявлений о вызове на ремонт 6 июля 1794 года появилось нижеследующее объявление³²: «От генерала майора с.-петербургского губернатора и кавалера

Никиты Ивановича Рыльева объявляется, что сего июня 12 числа, т. е. в понедельник, имеет быть учинена продажа месту, разделенному по именному Ее Императорского Величества указу на разные части, составляющие каждая из 10 сажень вдоль по улице, состоящие в 1 Адмиралтейской части, где прежде был Канатный двор. Желающие оные покупать явились бы того числа по полуночи в 10 часов на помянутое место, где и оценка им объявлена быть имеет». Но в день, объявленный для торгов, никого не явилось³³, не было желающих покупать эти места, и только в октябре того же года с.-петербургский губернатор и кавалер объявлял³⁴, «что из состоящего в 1-ой Адмиралтейской части по Галерной улице старого Канатного двора имеют продаваться со строением каменным места все по порядку, из которых на номера 7, 8 и 24, что последней на углу, есть охотники. Желающие покупать эти места могут для торга являться 13 октября». Из этого объявления видно, что весь Канатный двор был разделен на 24 места, 2 марта 1795 года было продано всего лишь 5 мест³⁵, к 14 августа того же года продано было еще одно, шестое, место, и находились желающие на № 22, 23 и 24, за которые и давали цену 22 600 р.³⁶; но правительство нашло эту цену невыгодною, и к 1796 году было продано всего-навсего 6 мест³⁷, а тут умерла императрица Екатерина II, на престол вступил ее сын Павел I, поставивший себе как будто задачею переделывать все начинания своей матери. Приостановлена была и продажа Канатного двора частным лицам. Но так как несколько мест в той части двора, который был ближе к Петровской площади, уже были проданы, то решили продлить Замятин переулок до Адмиралтейского канала, и часть Канатного двора между этим переулком и Петровскою площадью продолжали продавать, а остальную — от Замятина переуллка до нынешней Благовещенской площади — оставить в казенном ведомстве, перестроив ее в казарму для нижних морских чинов. Этот проект появился вследствие нижеследующего доклада адмирала Пущина от 3 февраля 1797 года³⁸.

«Сначала заведения в Петербурге Адмиралтейства для строения судов военных, то есть со времени блаженной и вечной славы достойная памяти Государя Императора

Петра Великого служащие при Адмиралтействе мастеровые люди расположены были житием по удобности в нарочно отведенных для того вблизи улиц Морских, сохранивших сии название поныне, для того, чтоб могли они в полуденное время уходить в дома обедать, на что им зимою положено один час. Потом, когда при других государях для украшения и распространения города лучшие во оном места занимались порядочным обывательским строением, те служителя переводимы были в другие улицы поблизости Адмиралтейства, называемые переведенскими, что ныне следуют Мещанские. А когда и сии, время от времени, стали населяться обывателями по мере умножения людей и распространения города, построен был для них особый двор, названный полковым, близ коего ныне соборная церковь Николая Чудотворца.

Напоследок, по случаю предположенного в 1783 году перевода Адмиралтейства в Кронштадт, места, полковым двором занимаемые, розданы обывателям, и многие из них уже застроены, служители частью расположены по квартирам обывательским в Коломнах, а некоторые по другим отдаленным местам в С.-Петербурге. По дальности жилищ от Адмиралтейства не можно им в полуденное время ходить домой для подкрепления себя пищей, особливо горячею, коя для людей, бывающих весь день на ветру и на стуже, есть самонужнейшая, особливо в зимнее время, да и другими свойственными их состоянию выгодами в рассуждении содержания себя с семействами не могут пользоваться к немалому отягщению для себя, каковые причины заставили меня многократно заботиться о доставлении им возможных пособий сообразных истинным пользам службы, но не мог найти к тому средства, кроме следующего: за переводом в Кронштадт Канатного казенного завода остается одна часть принадлежащего тому заводу каменного строения, лежащая по старой Исаакиевской улице, как на приложенном у сего плане отмечено под литерою А (плана этого при докладе не сохранилось). Все сие Канатного завода строение сначала, как прядильщики с мастерами перемещены были на новый в Кронштадте завод, по особым Высочайшим повелениям, переходя из одного места в другое, напоследок поступило в ведомство здешнего губернатора для продажи,

которым из того разные части с публичного торгу и проданы, начиная с конца, что к монументу, однако же, остается еще столько не продано, что адмиралтейским мастеровым и других команд служителям с пристойным числом начальников поместиться могут.

Если благоугодно будет Его Императорскому Величеству оное строение Высочайше пожаловать Адмиралтейству для помещения служителей, то как план всему тому, что должно исправить и перестроить, так и сметы сделаны и представлены будут вскоре, на что денег понадобится, без сомнения, немного, а выгоды будут великие, а именно: все вышесказанные неудобности по отношению служащих уничтожатся, на работы в Адмиралтейство и в Галерный дом ходить им будет близко, они могут работать всегда на два шабаша и, находясь в одном месте, будут всегда под хорошим присмотром и в надлежащей дисциплине, в летнее время после полуденной работы могут в оставшееся свободное время исправлять свои потребности вместо того, что ныне отягчаются излишнею хотьбою, а при том не только что во всякое время, когда бы они не понадобились, могут быть собираемы в самое короткое время на пользу службы, да возможно будет им тогда в узаконенные времена прочитывать законы с пользою, дабы неведением оных не отговаривались».

Читатель не посетует на нас за то, что мы привели доклад адмирала Пуцина целиком. Кроме того, что он является очень важным документом в историческом отношении, он заключает в себе массу бытовых подробностей, ярко характеризующих то отдаленное от нас время. Как ярко, например, указание, что если служители будут жить в одной казарме, то им можно будет «прочитывать законы с пользою, дабы неведением оных не отговаривались».

Весьма понятно, что Павел I благосклонно взглянул на доклад. Продажа была приостановлена, и еще сохранившаяся часть Канатного завода была перестроена в двухэтажный жилой корпус³⁹, на фронтоне которого был укреплен «государственный герб»⁴⁰; оставшаяся свободной часть бывшего Канатного двора была занята складами дров. Следующая перемена должна была произойти с былым Канатным двором

в 1847 году: в это время строили Николаевский мост, Адмиралтейский канал спрятался в трубу под новым Конногвардейским бульваром, перестраивались неуклюжие здания прежних Конногвардейских казарм, воздвигалась новая церковь во имя Благовещения — словом преобразовалась вся эта местность, ей сулили блестящую будущность, и вдруг значительный кусок ее, громадный участок, огорожен плохим забором, за которым скрывается двор для дров и уныло возвышается двухэтажная павловских времен казарма. Решили, что для адмиралтейских служителей эта казарма не нужна, что их можно перевести в другое место, а занятый казармою и дровяными дворами участок распродать желающим, дабы они построили здесь красивые дома в любимом тогда стиле «возрождения». Торги были назначены на 1 декабря 1847 года⁴¹, но они не состоялись, так как не оказалось желающих. Земля еще была слишком дешева в Петербурге, помещать капитал в землю было вполне невыгодно. Вопрос о продаже этой казармы возник еще раз, и также безуспешно, в 1864 году⁴², и, в конце концов, этот участок так и остался в руках казны.

Мы уже установили дату появления нынешней Галерной улицы — это было в 1720 году. Застраиваться же нынешняя Английская набережная, несмотря на то, что Петр Великий вовсе не хотел видеть эту местность застроенной, предполагая занять ее служебными для Адмиралтейства постройками, начала с 1710 года. В этом году светлейший князь, герцог ингерманландский, губернатор Санкт-Петербургский Меншиков, не довольствуясь тем участком, который отвел ему Петр Великий на Васильевском острове, самовольно захватил участок против только что построенного Адмиралтейства, недалеко от вновь возводимой Исаакиевской церкви (эта церковь строилась на берегу Невы, еще ближе к последней, чем памятник Петра I Фальконета). Участок Меншикова впоследствии был занят под Сенат; Захватив участок, Меншиков построил на нем по данному Петром Великим образцу мазанковые постройки, и этот участок Меншикова стал зваться — «княжеские мазанки»⁴³. Через шесть лет после захвата, в 1716 году, приехавший в Петербург архитектор Леблон построил на этом месте ряд небольших домиков, в которых он устроил первую школу лепки

и художественной резьбы, 19 различных мастерских, 4 горна и 2 литейные печи⁴⁴. В 1723 году с этими домами Меншикова случилось несчастье, о котором мы узнаем из письма Девьера, петербургского полицмейстера, к князю, бывшему с ним в свойстве. Девьер писал следующее⁴⁵: «Изволили упоминать о сломке мазанок Вашей Светлости, дабы до приезда Вашего умедлить, и о сем служители ваши напрасно вашу светлость тем утруждали и до вас писали, о чем и я бы мог писать, токмо видя необходимое сие дело, не хотел в одержимой вашей болезни сим утруждать, понеже Его Императорское Величество сам позади оной набережной изволил ходить и что надлежит велел сломать не у одних ваших мазанок, но и у прочих той линии домов». Это письмо показывает, как приходилось Петру Великому приводить в жизнь свои начинания. Был издан им — как указано выше — указ о нестроении в этой местности деревянных построек, но обыватель, несмотря на указ, продолжал строить как ему Бог на душу положит, и вот Петру нужно было самому приехать на место и при себе велеть ломать, потому что, как только он уехал с ломки, ломка, конечно, прекратилась, и все осталось по-старому.

Таким образом, вследствие захвата Меншикова, появились первые постройки будущей Английской набережной, затем, в 1711–1712 годах, здесь же отвели место конопатному мастеру⁴⁶, чтобы ему недалеко было ходить в Адмиралтейство, а 16 ноября 1715 года⁴⁷ появилась первая законодательная мера, известным образом регулирующая строительную часть на Английской (тогда она звалась не этим названием, а Нижней набережной): «о размерах и величине домов по Английской набережной», и к этому же году относится первая роспись дворам «от Австории (этим исковерканным иностранным словом называлась гостиница) вниз по Неве»⁴⁸. Но Петр Великий обращал сравнительно небольшое внимание на эту набережную, он заботился главным образом о Верхней, или Дворцовой, набережной, и об Английской набережной усилила свою заботу его племянница Анна Иоанновна, тогда набережная и стала зваться вместо Нижней Английской. 10 июня 1732 года⁴⁹ был выпущен в свет общий указ «о построении домов и о укреплении берегов реки Невы теми лицами, коим

розданы места в С.-Петербурге ниже Адмиралтейства». Затем этот указ неоднократно повторялся, но уже не в общей форме, а по отношению тех лиц, которым было приказано здесь строиться. А строиться должны были знатные лица, те которые при Петре Великом уже получили другие участки и в первоначальном Петербурге — Петербургской стороне, и на Васильевском острове, и на Миллионной линии, и все эти участки нужно было застроить домами «по пропорции» и содержать их в порядке — это был своеобразный налог, который ложился довольно тяжелым бременем даже и на этих сравнительно богатых людей. Но отказаться от участка было нельзя, этим отказом можно было вызвать Высочайший гнев, а гнев царицы Анны Иоанновны был действительно жесток, и царедворцы, скрепя сердце, брали участки и старались всеми возможными способами отлынивать от построек.

Но одно случайное обстоятельство пришло им на помощь — 9 мая 1735 года⁵⁰ вышел указ об избавлении от постоя домов, занимаемых английскими купцами. В этом году был заключен торговый договор между Россией и Англией и одним из пунктов этого договора было вышеуказанное освобождение англичан от постоя, а воинский постоя в то время был страшною натуральною повинностью, от которой не освобождался почти никто. Эта повинность ложилась большой тяготою на домовладельцев. И когда английским купцам была дана означенная льгота, то именитые владельцы домов на нынешней Английской набережной наперерыв стали предлагать свои дома для жительства англичанам — тогда дома освобождались от повинности. И с течением времени любимым местопребыванием английских купцов и стала эта Нижняя набережная. Первое время продажа домов в Петербурге, и особенно в руки иностранцев, была воспрещена, но, конечно, и это воспрещение обходили — дома сдавались в долгосрочную аренду, закладывались и т. д., и с течением времени многие дома, принадлежавшие родовитым российским людям, стали принадлежать английским купцам. Переход домов от одного владельца к другому можно проследить по прилагаемой таблице, в которой представлены фамилии владельцев домов за следующие года — 1715, 1737, 1804, 1848 и 1903, кроме того, для

Владельцы домов на Английской набережной

№	1710 год	1715 год	1737 год	Конец XVIII века	1804 год	1848 год	1903 год
2	Меншиков	Меншиков	Гр. Остерман	Гр. Бестужев по 1764 г.	Сенат	Сенат	Сенат
4	Меншиков	Меншиков	Кн. Черкасский	Строгонов	Гр. Лаваль	Гр. Лаваль	Поляков
6	Меншиков	Меншиков	Кн. Трубецкой	—	Томсон	Блессинг	Кн. Тенишева
8	Меншиков	Меншиков	Нарышкин	—	Шаховской	Потоцкий	Гр. Пачкевич
10	Меншиков	Меншиков	Кн. Голицын	С 1762 г. гр. Воронцов	Гр. Воронцов	Гр. Воронцов	Гр. Воронцов
12	Меншиков	Тормосов	Еропкин	—	Глен	Маркович	Поляков
14	—	—	Гр. Скавронская	—	Гамберлинг	Пашкова	Кн. Тенишева
16	—	Кн. Долго-руков	Кн. Долго-руков	—	Бетлинг	Дурново	Дурново
18	—	—	Муханов	Гр. А. Орлов 1765–1770	Волков	Гардер	Частный коммерческий банк
20	—	—	Собакин	—	Кн. Голицына	Коммерческое общество	Гр. Орлов-Давыдов

№	1710 год	1715 год	1737 год	Конец XVIII века	1804 год	1848 год	1903 год
Замятин или Графский переулоч							
22	—	Корабельный мастер Ней	Корабельный мастер Ней	Замятин	Митусов	Митусов	Гр. Игнатьев
24	—	—	Кн. Лобанов	—	Белл	Шитт	Варгунин
26	—	—	Кн. Юсупов	—	Кондоиди	Риттер	Риттер
28	—	Полянский	Полянский	—	Полянский	Всеволожский	Фон Дервиз
30	—	—	Бутурлин	—	Стромберг	Морское министерство	Шварц
32	—	—	Кн. Куракин	—	Альберт	Военная академия	Главный штаб
34	—	—	Кн. Урусова	Коллегия иностранных дел	Коллегия иностранных дел		
36	—	—	Кабинет мин. Вольнского	—	Овандер	Репнина	Фон Дервиз
38	—	—	Нарышкин	К.Г. Разумовский 1746–1779	Шаховская	Балдына	
40	—	—	Гр. Салтыков	—	Гр. Салтыкова	Вонлярский	Охотников

некоторых домов указаны владельцы за промежуточные года. Из этой таблицы ясно, что за все время существования Английской набережной участки домов не подвергались изменению, только в середине 80-х годов прошлого столетия два участка, бывшие под №№ 36 и 38, соединились в один номер 34; таким образом вместо 20 участков XVIII и XIX веков в XX веке оказалось только 19. Детальная история некоторых домовых участков, так ярко характеризующая былой Петербург, будет рассказана ниже.

1 января 1781 года в «С.-Петербургских ведомостях»⁵¹ был помещен следующий вызов: «для битья на 4-й дистанции под береговое строение на 2-х ручных и 2 же фолуптерных копрах свай помесечно работников 100, в затесчики плотников 5 человек содержать и менее платить работникам 4 рубля, а плотникам 4 р. 50 коп. в месяц, желающим взять, явиться в контору берегового строения». Начиналось строение гранитного берега и у Английской набережной; до этих пор забота о берегу, о набережной, возлагалась на владельцев домов, которые должны были устраивать набережную сами и сами же за нею наблюдать, но при Екатерине II эта забота была снята с обывателя; правительство на казенный счет устроило по проекту архитектора Фельтена гранитную набережную (дальнейшая забота о которой была возложена затем на городское самоуправление). В 1820 году и на Английской набережной, как и в других местах Петербурга, появился сплошной из плит тротуар⁵², до этого времени устройства тротуаров в городе не признавалось обязанностью, кто хотел, устраивал тротуары и так, как хотел; с этого времени наблюдение за устройством тротуаров было возложено на полицию, и архитекторами были выработаны общие правила для устройства тротуаров.

В 1930–40-х годах Английская набережная раннею весною служила излюбленным местом прогулки Петербургского *bon-mond'a*. Вот как описывает преимущества и прелести этой прогулки фельетонист того времени⁵³: «Настало время года, в которое Невский проспект не в моде для гулянья. Там ныне ходят и ездят лишь по делам или для закупки обнов; гуляющая же публика собирается от двух до четырех часов

на Английской набережной и наслаждается там первыми лучами весеннего солнца. Полагаем почти излишним давать здесь разгадку этого предпочтения набережной живому, разнообразному, шумному, единственному нашему Невскому проспекту: на набережной можно пройти от Сенатской площади, где обыкновенно остаются экипажи и лакеи гуляющих, до самого нового Адмиралтейства по широкому гранитному тротуару, чистому и сухому в нынешнее время распутицы и непроходимой грязи, тогда как на Невском проспекте, на каждом шагу должно переходить через улицы по тротуарам, занесенным грязью от перекрестной езды экипажей. Прогулка по Невскому проспекту в нынешнем его положении представляет не удовольствие, а какую-то мучительную работу, несносную для нежных ножек наших щеголих, поэтому-то они поступают весьма благоразумно, покидая его на время, чтобы дать ему срок пообчиститься, сбросить изношенную зимнюю оболочку и принарядиться по-весеннему. Теперь Невский проспект в самом неавантажном виде; с каждым днем, однако же, убавляется по слою грязи с ледяной коры, покрывающей его, и в некоторых местах, как, например, у Полицейского моста, через несколько дней не останется и следов зимнего пути: надобно видеть, какие горы снега сгребаются с него по ночам под надзором деятельной полиции. Как бы то ни было, но в ожидании плодов такого усердия все гуляют по Английской набережной, одному из прелестнейших гульбищ Петербурга, имеющему перед всеми другими еще то преимущество, что оно не составляет сообщения между многолюдными частями города, и на нем почти не видать простого народа, в особенности несносных мастеровых мальчишек, одним словом, на нем нет мешаной толпы, неизбежной на Невском проспекте, центре всей петербургской деятельности. Желающих погулять с истинным наслаждением, приглашаем на Английскую набережную, тем более, что мода на это гульбище продлится только до Светлого праздника, а там поведет она всех в зеленющий Летний сад».

Как характерны для того времени эти подчеркивания — «несносные мастеровые мальчишки» и «мешаная толпа»: на Английской набережной была только чистая публика.

Если в 1930–40-х годах Английская набережная привлекала петербуржца раннею весною, то в 1960-х годах особенно много народа бывало вечером, когда на Английском катке устраивалась иллюминация. Вот описание одной из таких иллюминаций, бывшей 30 января 1867 года⁵⁴: «Иллюминация эта в ледяных увеселениях ожидалась петербургским bon-mond'ом с таким же нетерпением, как в театральном мире ожидалась постановка трагедии: „Смерть Иоанна Грозного“ и точно также, как трагедия графа Толстого была несколько раз отменяема «по непредвиденным обстоятельствам» и наконец-наконец осуществилась. Толпы любопытных зевак со всех концов Петербурга, еще задолго до иллюминации, засновали по Английской набережной и по льду Невы, осматривая ледяные беседки, устроенные катки и деревянные столы, на которых были прикреплены веревки с разноцветными фонарями. Но вот зажглось электрическое солнце, за ним другое, третье, четвертое... Запылали в фонарях разноцветные огоньки, на набережной замигал винтообразно газ, грянула музыка — и один за другим помчались щегольские экипажи с красавцами-бородачами кучерами. Движение народа и экипажей было так быстро и так скоро, что в какие-нибудь полчаса времени по набережной не было проходу. На льду показались барыни и барышни в щегольских костюмах, офицеры, джентльмены, почтенные люди и, в заключение, известные сановники. В 11-м часу вечера Английский каток удостоил своим посещением Государь Император с Августейшею Семьею. Прибытие Его Величества оживило всех присутствовавших на катке и на набережной. Громкие крики „Ура!“ встретили Его Величество на набережной и от самого входа на каток до беседки, в которой Его Величество изволил одевать коньки, встречала и провожала его густая масса публики, находившаяся на катке. Праздник и иллюминация кончились далеко за полночь!»

И Английский каток на Английской набережной, и весенние гуляния отошли в область преданий, они составляют штрихи для характеристики бывшего Петербурга. Есть еще одна особенность Английской набережной, но более ранней эпохи — XVIII века; это — английский трактир. По всей вероятности, с первым же купцом, поселившимся на этой

набережной, приехал и первый трактирщик-англичанин. Самое раннее нами пока отысканное сведение относится к 1747 году: «На Адмиралтейской стороне, у Крюкова канала, в доме г. вице-адмирала и кавалера Александра Ивановича Головина, у аглийского трактирщика Антона Вальтера отдаются в наем покои, как для приезжающих, так и погодно, о чем охотникам через сие объявляется»⁵⁵.

Английский трактир XVIII века был не только местом для еды и питья, он в то же время служил аукционной камерой и местом торговли и своего рода биржей и, наконец, местом для общественных увеселений — последние, как увидим ниже, принимали своеобразную форму.

«У иностранного купца Гарта, Адмиралтейская сторона у Галерного двора, в доме аглийского трактирщика Рубло, продается две пары Венгерского богато вышитого платья, которое в маскарад употреблять можно, из коих одно красного цвета с серебрянным позументом, по краям соболем опушено, а другое мясного цвету с таким же позументом и с венгерскою шубою, подбитою венгерским соболем, также фаeton и два попугая, а сего месяца октября 31 числа, т. е. в субботу, в оном доме будет концерт и ужин, за который с персоны брано будет по 2 р.»⁵⁶. Венгерское маскарадное платье, попугаи сменялись другим более ходким товаром⁵⁷ — «у аглинского трактирщика Фразера, близ Галерного двора, продаются привезенные сюда из Англии в 12 дней устерсы (т. е. устрицы), оные находятся в гальоте, который стоит у берега против его дому. Кто пришлет свой ксофт (т. е. бочку), тот платит за оный 4 рубля». Или еще один пример⁵⁸: «Продается в английском трактире одна весьма странная одноколка, называемая Каприоль, с прибором на две лошади». Из этих примеров видно, что в английском трактире торг велся диковинками, которые могли соблазнить петербуржца.

Увеселения по большей части устраивались с помощью лотерей. Приведем целиком одно из объявлений или, как тогда звали, извещений о такой лотерее⁵⁹: «Ноября 27 дня сего 1764 года в доме аглинского трактирщика Шкотд близ Галерного двора разыгрываема будет лотерея, в которой находится кабинетец со статуями, пеною в 600 р., зеркало, стенные подсвешники,

кресло, позолоченный столик и другие вещи. Статуи, трупы (группы), бюсты, к тому кабинетцу принадлежащие, все вызолочены и под статуями консоли, стенные подсвешники, цветники и люстры тоже вызолочены и покрыты лаком. Сей кабинет, так, как и прочие вещи, разделен быть имеет на 40 лотов, из которых самый последний (т. е. самый дешевый) будет ценою в 10 рублей (лот означает билет, общее число билетов этой лотереи равнялось таким образом 40). Для всех приезжающих с билетами будет ужин и бал, на который каждый из них может привести с собою женского полу персону. Билеты на бал раздаваться будут за наличные деньги по 6 рублей каждый».

Таким образом лотерея соединялась с балом. В лотерею разыгрывались очень ценные вещи, и лотереи эти были довольно дорогие. Увеселения бывали иногда и без лотерей, и в этом случае они чаще всего принимали форму маскарадов⁶⁰: «Сего февраля 7 и 12, с дозволения управы благочиния, будут в аглийском трактире два маскарада, цена билетов за оба раза 6 р., по оным впускаться будут 2 особы мужского и женского пола. Чай, кофе, лимонад и прочее безденежно. Большой зал назначен для контра-танцев, а малый для минуэтов, прочие же парадные комнаты для карт». Маскарады иногда сменялись балами⁶¹: «назначенные в аглийском трактире у г. Фауля маскарады по желанию подписавшихся переменены на балы, из которых первый будет 15 ноября, а прочие через две недели по понедельникам». И, наконец, в аглийском трактире очень часто и охотно давали концерты приезжающие артисты⁶²: «Сего апреля 4 числа на Галерном дворе, у аглийского трактирщика Фауля будет вокальный и инструментальный концерт в пользу приезжающих Императорского Венского двора музыкантов братьев Турнеров, которые играют на флейте с отменным искусством. Начало концерта будет в 6 ч., билеты по 1 р.».

Теперь мы приступим к более детальному знакомству с некоторыми зданиями на Английской набережной. Продолжим знакомство с начатым нами описанием дома Меншикова.

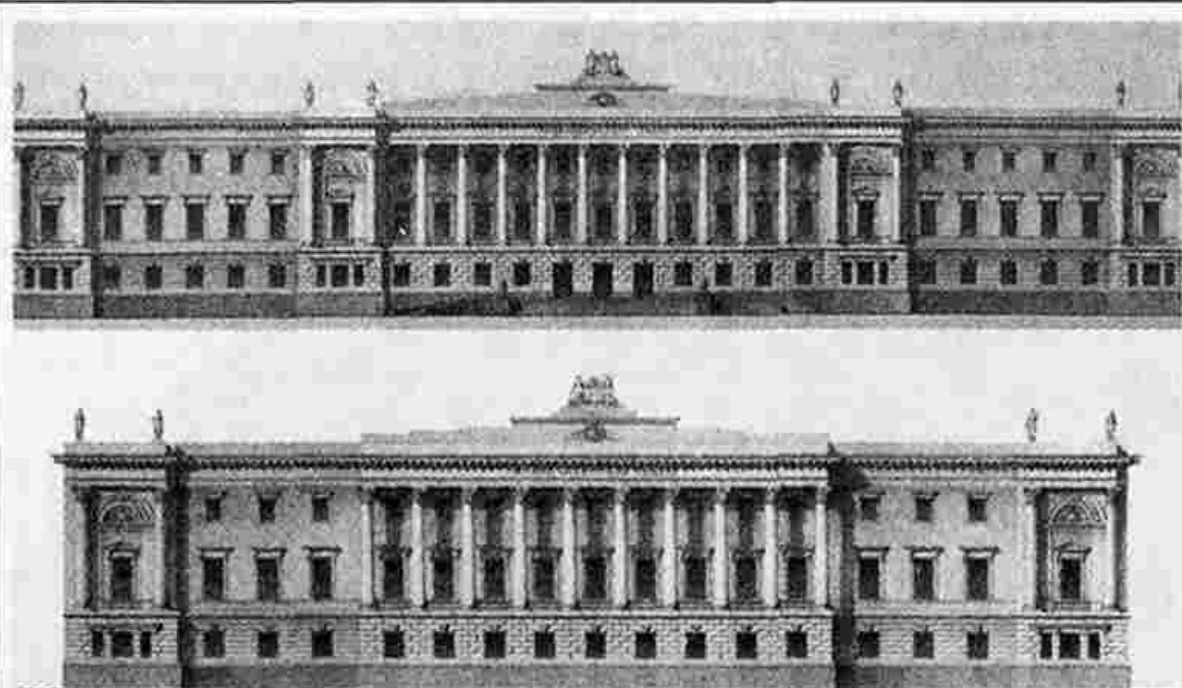
После падения Меншикова этот дом находился в ведении конторы конфискации и 10 октября 1732 года был пожалован графу Остерману, первому российскому канцлеру⁶³; незадолго



М. И. Махаев. Дворец Бестужева-Рюмина у Исаакиевского моста

до своего падения Остерман устроил в доме своем церковь⁶⁴, а 17 декабря 1744 года дом этот был пожалован другому русскому канцлеру — Бестужеву-Рюмину⁶⁵. Бестужев-Рюмин переделал дом чуть ли не до основания и выстроил себе громадный дворец с башнею, на которой были помещены выписанные из-за границы башенные часы, долгое время бывшие единственными в Петербурге, так как часы на Петропавловской колокольне сгорели вместе с последней от молнии, а ремонт колокольни затянулся на много лет. В этом доме Бестужев 25 февраля 1747 года⁶⁶ торжественно справлял свадьбу своего сына с графинею Разумовской, ночью была зажжена роскошная иллюминация, привлекавшая на площадь чуть ли не весь Петербург. Но как будто над домом было заклятие, передававшееся на хозяев. И третий владелец дома, подобно первым двум, впал в немилость, был арестован и сослан в свои дальние вотчины, но имения его и дом не были конфискованы, и 17 апреля 1761 года⁶⁷ «в доме бывшего канцлера Бестужева-Рюмина начнется публичная продажа разным вещам, серебру да пламенажам, шандалам, чайным, кофейным блюдам, гайдукских и егерских ливрей, серебряным наборам,

зеркальных досок для десерту в медных оправках с разными елками и деревцами с хрустальным к десерту шлифованным прибором, тонкого мрамора каминам, большим и малым шорам, седлам, бобровым и барсовым лошадиным покрывкам с серебряными позументами, иллюминационным фонарям, часам стенным и столовым, в том числе одни, английские, играют разные минуеты». А 22 мая того же года продавались уже упоминаемые нами «часы над домом Бестужева»⁶⁸. По приведенной краткой описи видно, что дом Бестужева блистал богатством, роскошью. Елизавета Петровна, сослав своего бывшего любимца и канцлера, не решилась конфисковать его имущества, и Бестужев распродал его сам, по личной инициативе, тем самым как бы подчеркивая свое тяжелое положение. Но оно продолжалось недолго, на престол вступила Екатерина II, из-за которой отчасти и пострадал бывший канцлер; она его вернула из ссылки, возвратила ему все его чины, награды, но не привлекла к государственной деятельности. 30 июня 1763 года⁶⁹ была вновь произведена оценка дома Бестужева, а 24 декабря того же года⁷⁰ последовало распоряжение «о принятии каменного дома графа Бестужева-Рюмина в С.-Петербурге у Невы реки с часами, что на башне, за 92 107 р. 60 к.». Деньги были отданы, и дом трех бывших больших людей России сделался местопребыванием высшего судебного и административного учреждения — Сената. На гравюре Дюбуа Сенатский дом изображен в царствование Александра I, когда он уже был неоднократно поправляем и отремонтирован, по этой гравюре все же хотя и с трудом можно составить себе понятие о старом доме графа Бестужева. У этого дома разыгралась декабрьская история 14 декабря 1825 года; одним ядром конной артиллерии был выбит здоровый кусок угла здания. И император Николай I нашел, что здание Сената слишком ветхо, что необходимо его перестроить, и задал российским архитекторам задание⁷¹: «Будущему Сенату придать характер, соответствующий огромности площади». Но нам думается, что главной причиной, побудившей Николая I приступить к перестройке Сената, была вовсе не ветхость дома, а желание уничтожить еще одного свидетеля 14 декабря. У российских архитекторов был уже некоторый опыт в смысле



*Здание Сената со стороны Петровской площади
и со стороны Невы. Проект К. Росси. 1829 год*

перестройки дома Сената⁷² — Академия художеств в 1815 году на выпускных экзаменах задала конкурс: «Здание Сената на том самом месте, где оный ныне находится, дабы он соответствовал новому зданию Адмиралтейства, против него воздвигаемому». К тому же были приглашены все выдающиеся художники того времени — Росси, Штаубер, Стасов, Шустов, Михайлов, Жако, Глинка. Эти архитектора, кроме Штаубера, представили свои проекты, из которых был, как выражались тогда, «апробован» проект Росси. Апробация была совершена 18 февраля 1829 года. В июле 1829 года сломали здание старого Сената, 24 августа того же года была произведена закладка. Одновременно с Сенатом должны были строить и здание для Синода — 21 февраля 1830 года назначено было 600 т. р. на приобретение для Синода здания купчихи Кусовниковой⁷³, а через неделю последовало дополнительное ассигнование 1 400 000 р. на разломку здания Кусовниковой и на постройку Синода. В первом ассигновании скрывается очень любопытная история, характеризующая российскую действительность. Выше мы говорили, что за три участка бывшего Канатного двора, в том числе и тот участок, на котором был выстроен дом Кусовниковой, в 1796 году просили 22 600 р., т. е. каждый



Здание Синода. Фото начала XX века

участок (по величине они были равны, разница была лишь в их положении) оценивался в 7500 р. Прошло тридцать лет, и казна за участок заплатила 600 000 рублей. Понятно, что эта сумма не соответствовала действительной стоимости, но купчиха Кусовникова знала, что казна решилась строить Сенат и Синод, что ее дом необходимо приобрести для постройки, а потому как же не содрать с казны-матушки. Очевидно, получили взятку и те лица, которые должны были производить оценку, они нашли цифру, просимую Кусовниковой, правильной, и казна заплатила за имущество чуть ли не в 50 раз дороже. Постройка производилась усиленным темпом. Осенью 1832 года хроникер того времени уже восхищался⁷⁴: «Величественное здание Сената и Синода окончено вчерне: оно представляет прекрасную картину. Из-за арок является Галерная улица, как театральная декорация, на конце ее развевается флаг на новом Адмиралтействе», а 25 апреля 1834 года состоялось открытие заседания Сената в новом здании в присутствии императора Николая I⁷⁵, несколько позднее закончена была постройка и Синода — 27 мая 1835 года⁷⁶ была освящена в Синоде церковь во имя Семи вселенских соборов.

Удалась ли эта постройка России? Соответствовала ли она громадности площади, с одной стороны, и изяществу

Адмиралтейства — с другой? И на эти все вопросы ответы будут отрицательны. Площадь так велика, так была громадна, что постройка Сената и Синода, несмотря на свою величину, пропадала на этой громаднейшей площади, а когда развели Александровский сад, то деревья его стали скрывать фасад здания. Затем это здание, протянутое в одну линию, не выделяет границ площади, как это делают здания Главного штаба на Дворцовой или здания Министерства народного просвещения на Чернышевской площади. Если же рассматривать детали, то, хотя они сами по себе и высокохудожественны, особенно полукруг фасада на Неву, но их относительная сложность и претенциозность, если так можно выразиться, ярко выступают, когда мы сравним детали против лежащего захарьевского Адмиралтейства — тут все просто, спокойно, гармонично, ничего нельзя ни прибавить, ни убавить, строгость линий изумительна. Но когда вы смотрите на детали Сенатского здания, невольно являются сомнения: не слишком ли много колонн на этом невском завороте, не слишком ли мизерна —



Здание Сената. Оформление угловой части. Фото 2010 года



Здания Сената и Синода. Арка. Фото 2010 года

да, безусловно, это определение приходит на ум — арка на Галерной улице, при такой длине зданий желательна арка более величественная, затем, следовало ли сделать такие крутые подъемы к подъездам, они еще уменьшают арку, словом, при детальном анализе можно выставить много разнообразных «но». Кто в этом виноват? Виновато ли то обстоятельство, что это была одна из последних работ Росси, как уверяет Курбатов в своем путеводителе по Петербургу, хотя это хронологически неверно (Александринский театр построен позже), виновато ли участие Штауберта, посредственного архитектора, на которого было возложено производство работ, а при производстве работ едва заметными отступлениями от проекта можно в достаточной степени испортить проект — трудно сказать, но, во всяком случае, эта постройка не является шедевром Росси.

Рядом с Сенатом, первым по Английской набережной, помещается особняк, бывший графини Лаваль, потом ее дочери, графини Берх, затем железнодорожного туза Полякова и, наконец, купленный в казну и присоединенный к Сенату.

Особняк был присоединен к Сенату и, следовательно, решил какой-то Сенатский архитектор, должен быть выкрашен так же, как Сенат, т. е. охрой и белилами. И ничтоже сумняшся, особняк Томона (он был окрашен в *gris de perle*) окрасился в столь несвойственную ему окраску, зато была соблюдена идея единства ведомства. Это один из обычных прежних примеров архитектурного вандализма, он любопытен еще и потому, что художественные критики тотчас указали на все безобразие окраски, но никто не обратил внимания на эти указания, и окраска не изменялась в течение ряда лет. Особняк, бывший графини Лаваль, интересен, как памятник работ большого архитектора, творца биржи Тома де Томона. Правда, в 1872–1873 годах А. К. Бруни составил проект на перестройку этого дома, когда он перешел в собственность Полякова⁷⁷, но, очевидно, перестройка касалась главным образом внутренности, фасад Тома остался без перемен и все еще прельщает античностью и спокойствием линий. Хороши вполне греческие медальоны в стене, а также одна из любимых особенностей петербургских домов XVIII и первой половины XIX века — львы у подъезда. Особняк графа Лавалья, поставленный рядом с Сенатом, имеет значение и в педагогическом отношении: сравнивая эти два дома, легко уяснить для экскурсантов разницу стилей Тома де Томона и России — стилей начала и середины XIX века. Но если этот особняк интересен в художественном отношении, то еще более он важен в историко-бытовом.

Сумрачная декабрьская ночь спускалась над Петербургом после тревожно прожитого дня 14 декабря 1825 года... Быстро смеркалось... Но окутанные поверх зипунов рогожами фонарики не выбегали из пожарных депо и не затепляли расставленных на почтительном расстоянии друг от друга фонарей; не освещались новейшими «маслотворными» лампами окна магазинов; наконец, почти не загорались огоньки и в маленьких лачужках и в высоких каменных громадах, кое-где уже вытянувшихся к туманному небосклону... Мрачная темнота декабрьской ночи рассеивалась лишь на перекрестках больших улиц, да кое-где на площадях отблеском разложенных костров, около которых грелись солдаты с ружьями в руках; но шаг за костер — и та же темнота и та же жуткая тишина... Город



Дом Лавая. Фото начала XX века

словно вымер. Обывателя не было видно, и как-то особенно резко выделялся стук копыт быстро мчавшейся лошади, визг полозьев маленьких саней курьеров да хруст снега под тяжелыми сапогами пикетов.

Зимний дворец казался совершенною крепостью: внутри охрану несли «чудо-богатыри — преображенцы»; вокруг дворца сгруппировались все роды оружия; около поставленных на передки орудий дымились фитили; от дворца по тем направлениям, по которым были рассеяны декабристы, по направлению к памятнику Петра Великого, к забору строящейся Исаакиевской церкви, к старому, неуклюжему, с башнею, зданию Сената, к Галерному двору, к Английской набережной — шли цепи преданных войск.

Все было кончено, всякое сопротивление сломано, но солдат все еще держали под ружьем на холоду, не отводили в казармы. Из уютных особняков, возле которых разместились военные патрули, стали показываться важные бритые лакеи в ливреях с гербами. На позолоченных серебряных подносах разносили офицерам чай, печенье, закуски, чтобы дать им

согреться, солдатам раздавались булки, хлеб; позднее появились длинные линейки «конюшенного ведомства», запряженные парой сытых откормленных лошадей — придворные лакеи везли и чай, и сбитень, и белый хлеб, и мясо... Молодой император посылал «подкрепиться» защитникам трона...

А по улицам, на площадях и на поверхности Невы сутились какие-то черные фигуры. Уезжая с Сенатской площади, царь отдал приказание обер-полицмейстеру города «убрать город к утру», и полиция старалась — на Неве пробивались лунки такой величины, чтобы в них могло с трудом пройти человеческое тело. Мертвых и раненых полицейские чины раздевали, обшаривали карманы и спускали в эти лунки, а когда весною ледоколы на этом месте стали вырубать кабаны льда для петербургских погребов, то вместе со льдом вытаскивали примерзшую руку, ногу, а иногда и целый труп человеческий... Пришлось переменить место для вырубki льда, но зато в ночь на 15 декабря все удалось прибрать, и город принял свой обычный нарядный вид.

Медленно текли мгновения, долго тянулась тяжелая декабрьская ночь. На высоком шпиге Петропавловской твердыни старинные куранты пробили половину второго ночи, и в это время к Павловскому батальону⁷⁸, расположившемуся около Сената и далее по Английской набережной, близ особняка графа Лавалля, подъехал полковой командир Арбузов, в сопровождении каких-то двух штатских лиц — эти последние были присланы из дворца. По распоряжению полкового командира от батальона отделился прапорщик Белостецкий с командой солдат и по указанию таинственных незнакомцев, приехавших с полковым командиром, занял все входы и выходы особняка графа Лавалля.

Хозяина не было дома — гофмейстер, действительный тайный советник, он, подобно другим придворным, был во дворце; хозяйка была у одной из своих замужних дочерей; прислуга дома при первых же выстрелах, — а стреляли картечью по направлению Английской набережной, так что дом графа Лавалля был в сфере огня — разбежалась от страха, так что особняк был вымершим, как будто необитаемым. Где-то отыскивали сальные свечи, наткнули их на штыки павловцев и



С. П. Трубецкой. Портрет работы Н. А. Бестужева. 1830-е годы

стали копаться в ворохе бумаг, в грудях писем, счетов, документов. Отодвинуты все шкафики, выдвинуты ящики многочисленных комодов и тщательно выстуканы стены — нет ли потайных ходов...

Но князя Сергея Трубецкого, назначенного декабристами диктатором и женатого на одной из дочерей Лаваль, не нашли в особняке его тещи, в громадной ее переписке также не отыскалось компрометирующих документов, и нигде, ни в каком из потайных ящиков комодов ее будуара не нашли того будто бы вышитого ее руками знамени, которое должно было победно веять над торжествующими декабристами⁷⁹.

В списке расходов, которые производились по изустным повелениям императрицы Екатерины II из кабинетских сумм под 28 мая 1772 года, записано: коллежскому советнику Козицкому пожалованные на крест дочери его 1000 рублей⁸⁰.

Статс-секретарь императрицы Екатерины II Григорий Васильевич Козицкий торжествовал рождение своего первенца — дочери Александры; императрица согласилась быть

начался тщательный обыск всего особняка от подвальных помещений до чердаков. В одной из зал, на диване, прикурнув, заснул тяжелым сном какой-то лакей: разбуженный шумом солдатских шагов, увидав вооруженных солдат, он со страха забился под низкий тяжелый диван, и немало усилий пришлось употребить павловцам, чтобы извлечь его из-под дивана. Вот и кабинет графини, вот большой письменный стол, он заперт, ключей нет. Мгновенное смущение: штык отвернут от ружья, треснула доска палисандрового дерева, а жадные руки

крестной матерью — надо было одарить крестницу. Обыкновенные подарки императрицы в подобных случаях выражались в нескольких стах рублях, но императрица знала, что ее статс-секретарь женат на одной из богатейших невест России, на дочери компанейщика и заводчика Ивана Семеновича Мясникова, императрица могла знать, что на уральских заводах Козицкой, полученных ею в приданое, считается только 19 тысяч крестьян мужского пола — надо было не обидеть подарком своей новой крестницы, и поэтому была выдана необычная сумма — 1000 рублей.

Через год у четы Козицких — 20 мая 1773 года — родилась вторая дочь Анна, а 10 июля 1775 года последовала неожиданная внезапная отставка Григория Васильевича Козицкого — именным высочайшим указом он был вовсе уволен от дел. Истинная причина отставки так и осталась невыясненной: слухов было много, говорили и о бесконечном корыстолюбии богатого статс-секретаря, намекали на политические злоупотребления, однако, точной причины никто не знал. С политической сцены сошел довольно большой деятель, один из ближайших сотрудников Семирамиды Севера, редактор указа о созыве депутатов в комиссию по составлению нового уложения. Г. В. Козицкий переселился в Москву, но перенести удара судьбы он не смог, и в том же году, 21 декабря, в припадке меланхолии, как официально извещали, нанес себе ножом 32 раны, от которых, промучавшись неделю, умер на второй день рождественских праздников⁸¹.

Все, вплоть до далеко необычной кончины, было не вполне ordinarily в жизни этого талантливого малоросса, воспитанника Киевской духовной академии, ученика знаменитого Варлаама Лещевского. По окончании курса наук в Духовной академии Г. В. Козицкий попал за границу вместе с графами Гудовичами и поступил в университет в Лейпциге. Курс университетских наук закончен, и юный хохол для далеких берегов Невы забыл, подобно многим своим соотечественникам, свою Украину, свой Киев, и очутился в Петербурге, сначала в качестве лектора философии и словесных наук, затем адъюнкта и, наконец, почетного советника Академии наук. С Васильевского острова из Петровского здания

Кунсткамеры Григорий Васильевич Козицкий скоро перекочевал на Адмиралтейский остров, в Зимний дворец, статс-секретарем императрицы по приему подаваемых на высочайшее имя прошений.

Вместе с царицей Г. В. Козицкий совершил знаменитое Екатерининское путешествие по Волге от Твери до Симбирска и участвовал в сделанном во время путешествия, конечно, по инициативе Екатерины II, переводе с Французского сочинения «господин Мармонтеля Велизарий». Этот соединенный перевод (в нем участвовали все путешествовавшие вместе с Екатериною II) был посвящен петербургскому митрополиту Гавриилу и отпечатан в типографии Московского университета. Участие Г. В. Козицкого в переводе (им переведена была 15 глава) указывало, что учение за границею не пропало даром, что французский язык был хорошо знаком Козицкому. Но не напрасно обучался он и в Киевской духовной академии — ее воспитанники не только свободно говорили, но и думали по латыни — и Г. В. Козицкому выпала честь перевести большой наказ императрицы Екатерины II на латинский язык — по крайней мере, в издании Наказа 1770 года помещены тексты русский, латинский, немецкий и французский, и на латинском заглавном листе означено, что перевод Наказа принадлежит Григорию Козицкому, статс-секретарю императрицы; фамилии же переводчиков на другие языки не указаны. Далее Г. В. Козицкий принимал деятельное участие в учрежденном императрицей собрании, старающемся о переводе иностранных книг, причем, по поручению этого собрания перевел Епинуса «Рассуждение о строении миров» и «Овидия Назона Метаморфозы». Надо еще указать значительное, далеко еще не вполне выясненное участие Г. В. Козицкого в издававшейся Екатериною II «Всякой Всячине», а также в разборке бумаг, оставшихся после смерти М. В. Ломоносова.

Как видим, деятельность Козицкого была разнообразной, начиная от литературных занятий до редактирования указов большой государственной важности. При этом разнообразии деятельности нельзя не подчеркнуть следующий, очень любопытный и до известной степени проливающий некоторый свет на самую личность Козицкого, факт: он начал свои переводы

в 1752 году переводом известного богословского сочинения Минетия «Камень соблазна»; прошло двадцать лет, и в 1772 году бывший семинарист, превратившийся в придворного, занимается переводом «Метаморфоз» Овидия, — новое время и новые требования, и Г. В. Козицкий с легкостью отвечает на эти новые требования. Вообще, не отрицая, а, наоборот, подчеркивая безусловную талантливость Г. В. Козицкого, в то же время нельзя не отметить его умения приспособливаться к обстоятельствам и неимение у него крепких нравственных устоев.

Молодая вдова Екатерина Ивановна Козицкая, оставшись после смерти мужа с двумя малолетними дочерьми (старшей шел третий год), не пожелала вторично выйти замуж и осталась богатой вдовою до глубокой старости — она умерла в 1833 году. Младшая ее дочь Анна Григорьевна вышла замуж за князя А. М. Белосельского-Белозерского ранее своей старшей сестры, а последняя, как говорится в таких случаях, будучи чересчур разборчивой невестой, засиделась в девках, хотя, конечно, мясниковские миллионы представляли из себя значительный магнит.

Относительно замужества Александры Григорьевны Козицкой существует ряд рассказов. Приведем два из них. Первый извлечен нами из известного издания бывшего великого князя Николая Михайловича «Русские портреты»⁸²: «Александра Григорьевна Козицкая обратила внимание на французского эмигранта графа Ивана Степановича Лавалья, отец которого носил фамилию Лубрери и который был сперва учителем в Морском шляхетном кадетском корпусе, а затем служил в Коллегии иностранных дел, преобразованной впоследствии в Министерство иностранных дел: во время пребывания Людовика XVIII в Митаве, Лаваль ссудил его деньгами и за это получил титул графа. Мать Александры Григорьевны Козицкой была против этого брака: тогда влюбленная дочь написала всеподданнейшую просьбу и опустила ее в ящик, поставленный по приказанию Павла Петровича. По требованию государя, мать должна была представить объяснения с причиною отказа в согласии на брак дочери; она выставила: «Лаваль не нашей веры, неизвестно откуда взялся и имеет небольшой чин».



*И. С. Лаваль.
Рисунок А. С. Пушкина*

Резолюция Павла была лаконическая. «Он — христианин, я его знаю, для Козицкой чин весьма достаточный, потому обвенчать». Несмотря на то, что повеление государя последовало накануне постного дня, граф Лаваль и Александра Григорьевна Козицкая, гласит предание, были повенчаны в приходской церкви без всяких приготовлений.

Другой рассказ более длинен, с большими подробностями⁸³; по этой версии «граф Лаваль, некогда столь известный в высшем с.-петербургском обществе своею любезностью и гостеприимством, был ни больше

ни меньше, как сын виноторговца в Константинополе. В молодости он получил отличное образование, каким-то образом попал к нам и в царствование Павла Петровича занимал должность секретаря при графе Палене, человеке, наиболее приближенном к государю. В это время жила в Петербурге вдова-богачка Козицкая, имевшая несколько дочерей, одна из которых вышла за вдовца князя А. М. Белосельского, отца княжны Зинаиды Волконской. Девушка Козицкая, страстная любительница просвещения, стала оказывать внимание молодому секретарю, и дело дошло до того, что писала к нему записки. Вдруг распространился про Лавалья слух, что он не спит по ночам, ходит взад и вперед по запертой комнате и что-то бормочет. В тогдашнее подозрительное время всему придавалось серьезное значение. Граф Пален приказал полиции следить и, по указанию шпионов, сам пришел подслушивать. Внезапно ночью он входит в комнату Лавалья и на вопрос, какого рода его ночные занятия, получает самый простой ответ: Лаваль учит наизусть русско-французские разговоры. Он

объяснил графу, что учится языку второго своего отечества, между прочим, для того, чтобы успешнее искать руки девицы Козицкой. Графу Палену стало совестно, и он решил помочь своему секретарю. На его вопрос, любит ли его Козицкая, Лаваль упомянул, что она пишет ему письма. Граф Пален взял сии последние и обещал уладить дело. Через несколько дней государь за что-то очень разгневался на графа Палена и упрекал его в нерадении и недостатке усердия. Извиняясь, ловкий царедворец, между прочим сказал: „Ныне, государь, такое время: идеи Французской революции проникают всюду, везде неповиновение. Всякое мещанство научило ценить себя даже у нас. Вот, например, Козицкая, ровно ничего не значит, только что богата, а туда же, чванится. Сватается к ее дочери мой секретарь, граф Лаваль, человек знатного рода, пострадавший за приверженность к монархической власти, образованный. Хотя бы поняла она, что он переселился из Франции, не желая служить под республиканским правлением“. Все это были выдумки: секретарь графа Палена не имел ничего общего со старинным родом графов Лаваль. Тем не менее, дело удалось. Государь приказал тотчас обвенчать Козицкую с Лавалем. Не смея перечить, их перевенчали в среду на масленице».

Опровергать легенды — дело вполне безнадежное. Какие бы ни были представлены — самые точные, неопровергаемые — документы, легенда все равно и после опровержения останется жить, бороться с легендой нет возможности, хотя бы в некоторых случаях, борьба, кажется, более чем легка. Например, о втором приведенном нами рассказе; достаточно указать, что Лаваль никогда не служил у графа Палена, с.-петербургского военного губернатора, главы заговора 12 марта: понятно, что поэтому не могло быть ни ночных бдений Лавалья, ни бесед с ним самого графа.

В первой версии правдоподобия больше, хотя и в этом рассказе имеются странности. Прежде всего едва ли Павел I мог сказать, что небольшой чин Лавалья был достаточен для Козицкой, так как последняя (и императору это обстоятельство было известно) была крестной дочерью покойной императрицы, отец ее был статс-секретарь императрицы и, наконец, сами Мясняковы, от которых происходили Козицкие, были

не простые купцы, а компанейщики, имевшие тоже чины. Затем, есть какая-то странность и в объяснении происхождения титула. Людовик XVIII жил в Митаве с 1797 по 1800 год, и, значит, он пожаловал Лавалю графство в этот промежуток, но, между тем, 26 февраля 1800 года граф Лаваль уже пожалован в камергеры двора великой княгини Елены Павловны, а 10 октября переведен камергером к Высочайшему двору — едва ли возможно было такое назначение только что произведенному в графы.

Нам не удалось найти документов, опровергающих или доказывающих происхождение Ивана Степановича Лаваль от французской титулованной фамилии, но нам кажется небезынтересным указание, что фамилия Лаваль была довольно распространенною в России. Об инженере Лаваль, приехавшем в Россию вместе с Лефортом, упоминает в своих записках Вебер; в 1758–1762 годах в Петербурге были какие-то учителя супруги Лаваль или, вернее, Де-ла-Валь; в 1765 году кухмистер Иоганн Батист Лаваль открыл трактир в Миллионной улице, наконец, неоднократно наезжал в Петербург и какой-то французский купец Лаваль.

И вот, когда какой-то «величавший себя графом», Лаваль, из чиновника иностранной коллегии делается миллионером, владельцем Воскресенского завода на Урале, то весьма естественно вспомнить прочих Лавалей, которые бывали в Петербурге, и, в конце концов, появились такие легенды, которые мы только что рассказали. Заключение брак, особенно принимая во внимание, что младшая дочь Козицкой вышла замуж за Белосельского, за Рюриковича, не мог показаться не странным.

Свадьба была совершена в 1799 году. Молодая, конечно, относительно, чета (молодому было 38, молодой — 27 лет) начала отыскивать себе гнездышко. При деньгах все можно, и граф Лаваль приобрел себе домовый участок на Английской набережной, рядом с Сенатом. Здесь был дом Николая Ерофеевича Муравьева, генерал-поручик и сенатора, который приобрел этот дом в конце 60-х годов XVIII столетия у князя Трубецкого. Муравьев вскоре умер, а вдова его не жила сама в этом доме, а сдавала его с 70-х годов английскому трактирщику

Фрезеру, а затем продала и самый дом барону Александру Николаевичу Строгонову, у которого (или от жены которого) дом этот в самом начале XIX века и приобрели Лавали. Старый-престарый дом с большими погребами был снесен до основания, и эмигрант-роялист француз-архитектор, на которого уже обратил внимание император Александр Павлович, Тома де Томон уже поспешно воздвигал здесь один из красивейших особняков Петербурга.

Особняк этот прост, изящен, в нем нет размаха былых официальных или официозных построек русских бар второй половины XVIII века, которые никогда не были и не носили характера особняков, по вид его так заманчив, что невольно хочется войти в этот скромный подъезд разбитого в рустик первого этажа. Срединная часть дома несколько выдвинута вперед и имеет 10 простых дорических колонн во втором этаже; на боковых частях протянулись изящные барельефы из греческой жизни. Особняк был выкрашен в любимый Томоновский *gris de perle*. Изящной внешности соответствовало и внутреннее убранство, причем особенно был замечателен этрусский кабинет⁸⁴: такого множества этрусских ваз и вещей, собранных в одну коллекцию, кажется, не было ни у кого в Петербурге, кроме графини Лаваль.

Изредка Английская набережная около особняка вся заставлялась роскошными экипажами, съезд бывал огромен⁸⁵, граф Лаваль устраивал торжественные праздники для царской фамилии, а каждую среду зимнего сезона окна особняка приветливо светились, и в салоне графа и графини собирался и дипломатический корпус, и весь вообще *beau monde* Петербурга. Нередко в салонах бывали и небольшие, но избранные собрания. «Провел два вечера, довольно приятных, у графини Лаваль опять с Свешиною (умною и полусвятою), с князем Александром Николаевичем Голицыным, с Балашовым, — так писал в феврале 1816 года Карамзин своей жене⁸⁶, — я им читал о Новгороде». Карамзин читал свою историю в салоне у графини Лаваль и, — пишет он в другом письме жене⁸⁷, — в доме у графа Остермана осуждали меня, как я мог у графини Лаваль, которой дом едва ли не первый в Петербурге, читать свою историю, а не у важных людей». Через несколько лет



Е. И. Трубецкая. Портрет работы Н. А. Бестужева. 1828 год

их салоне должны были являться самые свежие новинки. Иметь какое-либо политическое значение салон не мог, быть сосредоточием либерализма мешало участие графа Лаваль в знаменитой комиссии Магницкого и Рунича в разгроме С.-Петербургского университета; наоборот, быть столпом и основанием консерватизма не позволяло и происхождение и воспитание графини Лаваль. Но, повторяем, хозяевам салона едва ли улыбалась мысль о политическом значении, им просто хотелось, чтоб об их особняке шли постоянные разговоры и толки.

У Лавалей была довольно большая семья — сын Владимир и дочери: Екатерина (за князем Трубецким, умерла 14 октября 1854 г.), Зинаида (за графом Лебцельтерн, австрийским посланником), София (за графом Борх, умерла 8 сентября 1871 г.) и Александра (за С. О. Коссаковским). Сын, граф Владимир Иванович Лаваль, застрелился еще совсем юношей. Самоубийство сына как бы послужило толчком к семейным неурядицам. Дочь графини Лаваль была в замужестве за Трубецким, который, как мы упоминали, предназначался декабристами в диктаторы: князь был сослан в Сибирь, и его жена Екатерина Ивановна была первой русской женщиной,

в салоне графа и графини Лаваль совершилось другое большое торжество: солнце русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин читал свою новую трагедию «Борис Годунов». В графском доме во время своего приезда очень часто бывала m-me Сталь⁸⁸, и графиня Лаваль имела полное право именовать себя другом дочери Неккера.

Все это вполне характеризует салон графа и графини Лаваль: об их салоне должны были говорить, и в

вместе с княгиней Волконской, поехавшей вслед за мужем в Сибирь. Трубецкая и Волконская послужили Некрасову для создания его лучшего произведения — поэмы «Русская женщина». Вторая дочь вышла замуж за Лебцельтерна, вскоре после декабрьской истории должна была уехать за границу, так как на ее квартире скрывался Трубецкой, и из этой квартиры, квартиры австрийского посланника, он был доставлен в Петропавловскую крепость.

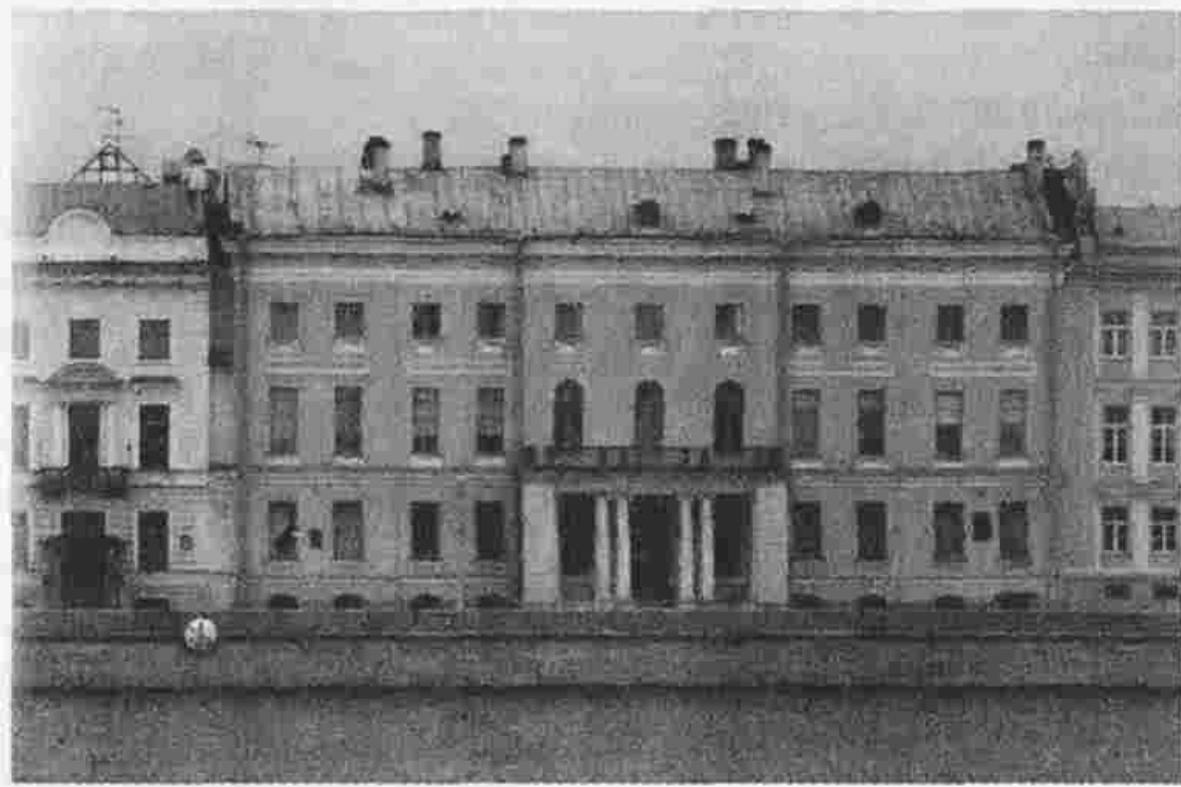
Время шло, графиня Лаваль старилась. Ее муж умер 19 апреля 1846 года, в особняке графини продолжались среды, но уже не для литературных чтений, а для игры в карты. Особенно крупную игру вел военный министр генерал Сухозанет, и император Николай, обычный посетитель графини Лаваль, неодобрительно смотрел на эту крупную игру... Но игра все же продолжалась.

А 17 ноября 1850 года неизбежная смерть навестила и графиню Лаваль, она умерла старухой 78 лет. Особняк ее перешел по наследству оставшейся дочери, графине Борх, после смерти которой и был продан железнодорожному тузу С. Полякову.

Если мы просмотрим третью графу нашей таблицы домов на Английской набережной, то увидим, что из 20 владельцев — 12 титулованных, а из 8 нетитулованных — двое принадлежали к семье Нарышкиных,



С. Поляков. Скульптура работы М. М. Антокольского



Английская набережная, д. 10. Фото П. Правдина. 2007 год

ближайших родственников Романовых; один был Волынский, кабинет-министр; Мухановы и Собакины также причисляли себя к родовитым дворянам, и в эту вполне аристократическую компанию как-то случайно затесались двое простых смертных: корабельный мастер Ней, который имел дом на углу Замятина переулка, перейдя последний, если идти от Сената, и адмирал Полянский — один из типичных служак Петровской эпохи. Таким образом по списку владельцев домов Английская набережная времени Анны Иоанновны была вполне аристократической, но только по списку, так как на самом деле, как мы и говорили выше, в большинстве домов жили, а многими из домов и владели английские купцы.

Большинство первоначальных владельцев не удержали своих домовых участков. Только Полянские сумели сохранить свой участок чуть ли не сто лет, с 1715 по 1804 год, да графы Воронцовы-Дашковы владели своим участком с 1762 года. Этот последний дом, отличающийся большим, далеко выступающим на тротуар подъездом, сохранил простой фасад чуть ли не с первых годов своей постройки. Можно даже предположить, что его строил первый владелец этого участка, князь

Михаил Голицын, о котором 6 июля 1733 года⁸⁹ последовал высочайший указ — о высылке из Москвы князя Михаила Голицына для достройки каменного дома на берегу Невы. Кн. Голицын вздумал уехать из Петербурга, не dokonчив постройки, не сделав нужных распоряжений, и последовал приказ выслать его — в этот раз не было прибавлено «в кандалах», но иногда высылали в кандалах, а рабочих людей в Петербург обыкновенно, чтобы они не убежали с пути, вели в ножных и ручных цепях.

К сожалению, у нас нет точных доказательств о времени постройки дома графа Воронцова, но если наши предположения верны, то этот дом (конечно, без неуклюжего подъезда) может служить образцом тех построек, которые хотела видеть на своей Английской набережной Анна Иоанновна. На это предположение наводит нас и то обстоятельство, что первоначальный дом князя Голицына был так же, как и теперешний дом, трехэтажным, что явствует из следующего извещения⁹⁰: «Лейб-гвардии Измайловского полку князя Александра Михайловича Голицына каменный дом на Адмиралтейской стороне близ Галерного двора по Набережной улице сдается в наймы, в котором имеется в верхнем и нижнем апартаментах 14 покоев, внизу 2 погреба и 2 покоя жилых и кухня, на двор на другую сторону улицы 1 покой, конюшня и сарай».

Для князей Голицыных этот дом был арендной статьей, видимо, они им не дорожили и, может быть, даже очень легко расстались с ним, когда его решил приобрести для себя Иван Илларионович Воронцов⁹¹, который был президентом вотчинной коллегии в Москве, братом известного Михаила Илларионовича Воронцова, канцлера России, бывшего сторонником цесаревны Елизаветы Петровны, вместе с Лестоком стоявшего на запятках саней, на которых цесаревна поехала в съезжую избу Преображенского полка в ночь провозглашения ее императрицей... Внук первоначального владельца Иван Илларионович, обер-церемониймейстер при Дворе императора Николая I, с 1807 года, после смерти последнего из рода князей Дашковых, стал называться графом Воронцовым-Дашковым. Его дом в 40-х годах XIX столетия считался образцом дома хорошего тона.



*Ив. Илл. Воронцов-Дашков.
Портрет работы Э. Робертсона.
1810-е годы*

Сохранилось замечательно любопытное описание одного из праздников, устроенных Воронцовым 12 февраля 1842 года. Описание это любопытно еще и потому, что, насколько нам удалось отметить, это было первое появившееся в печати описание бала частного лица; до этого времени в печати появлялись описания балов лишь при царском дворе. Описывать частные празднества считалось неприличным, и цензура подобные описания не пропускала.

«Между почти ежедневными у нас в столице увеселениями — читаем мы в „Северной Пчеле“⁹², данное 12-го числа сего февраля в долге действительного тайного советника графа Ивана Илларионовича Воронцова-Дашкова, было собственно блестящее во всех отношениях: приглашения были утренние и вечерние. Съезд начался в первом часу дня, а разъезд окончился в четвертом часу ночи. Великолепный праздник сей удостоен был присутствием императорской фамилии. Приглашенных особ было 750. В течение всего дня посетители были угощаемы завтраком, обеденным столом и ужином, и все было великолепно, роскошно и весело. Перед домом его сиятельства на Неве построен был красивый щит, который горел во все продолжение вечернего бала».

Как видим, граф сумел накормить 750 человек, и гости могли быть от завтрака до ужина, от часу дня до 3 часов ночи. Переулок, пересекающий здесь Галерную улицу и выходящий с Английской набережной на Конногвардейский бульвар, носит название Замятин переулок, тем самым сохраняя память об одном из владельцев дома на Английской набережной. Указанный нами корабельный мастер Ней, владевший с 1715 года угловым домом, продал его советнику Замятину,

во владении которого этот дом находился приблизительно до конца 1860-х годов. Замятин переулок одно время официально прозывался Графским переулком⁹³, или Графским проломом⁹⁴, но это название не привилось. Основанием для него послужило вот какое обстоятельство, следующим образом отмеченное в записках Семена Порошина, воспитателя Павла Петровича⁹⁵: «После обеда (25 января 1765 года) поучась, изволил Государь поехать на новоселье к графу Алексею Григорьевичу Орлову в Вульфовский дом, что на набережной. Часу в восьмом изволили прибыть туда Ее Императорское Величество. В девятом часу зажгли приготовленный перед домом на Неве фейерверк, который сделан был и горел довольно изрядно».

Таким образом граф Орлов получил от Екатерины II в презент дом, принадлежавший некогда Муханову, в котором жил английский резидент Вульф, или Вольф, — память о нем сохранилась в названии двух улиц на Петербургской стороне — Большая и Малая Вульфовы улицы, пересекающие бывший дачный участок барона Вульфа. Этот дом был второй от угла Замятина переуллка, по направлению к Сенату. Появление здесь в этой местности графского дома и подало повод переименовать Замятин переулок в Графский. Но граф Алексей Орлов недолго жил в Петербурге, переселился в Москву, дом его был продан, и старое название переуллка осталось за ним.

В этой же части Английской набережной, т. е. между бывшим Сенатом и Замятиным переулком, был одно время дом Еропкина, сподвижника Волынского, положившего вместе с ним голову на плаху. Этот дом помещался на том месте, где теперь находится дом № 12⁹⁶; дом самого Волынского, как видно из приложенной таблицы домов, вошел в настоящее время во второй участок дома



*Английская набережная, д. 12.
Фото 2009 года*

фон Дервиза, следующий за домом бывшей Военной академии. Военная академия была открыта 20 ноября 1832 года⁹⁷ и помещалась в здании бывшей Коллегии иностранных дел⁹⁸, а эта последняя приобрела себе дом от князя Урусова. Безусловно, этот дом сохранился со второй половины XVIII века.

Наконец, на той же Английской набережной нужно обратить внимание на угловой дом, выходящий и на Благовещенскую площадь. Этот дом сравнительно поздней постройки, он был закончен известным прожектором и аферистом Вонлярлярским в 1847 году⁹⁹, когда строился Николаевский мост. В это время пророчили большую будущность Благовещенской площади, и Вонлярлярский приобрел место и старый-престарый дом графа Салтыкова, существовавший на этом месте, по крайней мере, с 1748 года, когда 16 февраля был «пожар на доме Салтыкова погреба и поварни», так, по крайней мере, было занесено в журнале дежурных флигель-адъютантов императрицы Елизаветы Петровны¹⁰⁰.

Это был дом известного Сергея Васильевича Салтыкова, первого любовника Екатерины II и предполагаемого отца императора Павла. Дом был трехэтажный, и вот как он описывался в 1755 году, когда Салтыкову пришлось поехать послом в Швецию и сдать свой дом¹⁰¹. «Адмиралтейская сторона, набережная линия, что от Исаакиевского собора, сдается каменный дом ее императорского величества камергера князя Сергея Васильевича Салтыкова, в верхнем и среднем апартаментах 19 покоев, под ними 4 кладовые со сводами, конюшня о 21 стойло, каретный сарай, хлебня, 2 ледника, людских покоев 6». В роде Салтыковых этот дом оставался, насколько нам удалось проследить, до 1821 года¹⁰², когда «продается с публичного торга дом графини Аграфены Емельяновны Салтыковой. 1 Адмиралтейской части за № 183. По Исаакиевской и в заднем 17 сажень и пол-аршина, с правой 24 сажени $1\frac{3}{4}$ аршина, с левой стороны 23 с. 2 ар., который приносит доходу 3200 р., кроме занимаемой самой графинею квартиры на 6500 р. — т. е. доход с этого дома в 1821 году был 9700 р. Весьма понятно, что при таком небольшом доходе за дом не хотели давать и 40 т. р., которые хотели получить за него хозяева»¹⁰³.



Английская набережная, д. 36. Фото 1980-х годов

Вонлярлярский перестроил этот старый дом, как тогда выражались, во вкусе «ренессанс», в нижнем этаже должны были быть магазины — «нижний этаж красивого дома Вонлярлярского, подле Благовещенского моста, постепенно наполняется магазинами, располагающимися в прекрасных помещениях. В конце прошедшего года в этом доме поселился перчаточник, а на днях открыт магазин чая, кофе и сахара. Освещение в магазинах производится газом»¹⁰⁴. В то же время этот дом стал излюбленным местом петербургской золотой молодежи, так как, писал хроникер того времени¹⁰⁵, «для вашего изысканного вкуса, во имя ваших гастрономических потребностей, открывается на днях роскошный Café restaurant Бореля под фирмою Rocher de Cancale (Канкальский утес)! Канкаль — это небольшое местечко в западной части Франции, замечательное ловлею устриц. Ресторан поместится в нижнем этаже прекрасного дома Вонлярлярского, что у Благовещенского моста и выходит на Неву и в Благовещенскую улицу. Роскошь и комфорт на каждом шагу, в каждой безделице! Комнаты отделаны и убраны превосходно, зеркальные окна, мозаические полы, стены под мрамор, золотые карнизы, зеркала, бронзовые



Лестница в особняке Вонлярлярского. Рисунок И. И. Шарлеманя 1852 год

люстры, в большой столовой резная дубовая мебель, обитая трипом».

Дом Вонлярлярского находился у самого Николаевского или, как его тогда звали, Благовещенского моста, и постройка его была вызвана именно постройкою этого моста.

В апреле 1842 года в с.-петербургских газетах появилась обычная, так сказать, сезонная заметка¹⁰⁶: «Исаакиевский мост уже был наведен, но сегодня вечером вновь разведен». Но к этой заметке редакция, очевидно, с разрешения цензуры, добавила еще несколько слов.

«Носятся слухи о постройке постоянного моста на Неве». К сообщению такого чрезвычайного слуха редакция сделала добавление: «Предприятие достойное нашего века. Памятник вровень (pendant) с железною дорогою в Москву!» Как характерно помещение русского слова «вровень» с французским «pendant», да и вообще, как очаровательна вся конструкция этой малюсенькой хроникерской, на наш взгляд, заметки. Нет, в то время, это была вовсе не хроникерская заметка — обществу разрешили говорить о постройке моста. И разговоры тотчас начались. Прежде всего, надо было подчеркнуть¹⁰⁷, что «никакого нет сомнения, что такой мост на Неве построить можно». Более того¹⁰⁸, «есть ли у нас на Руси что-нибудь невозможное, где исполнители воли царской жертвуют всем для быстрого и точного осуществления его мысли, клонящейся ко благу народному. Усердие все превозмогает — вот девиз, глубоко врезанный в душе верноподданного, с этим девизом едва ли что-нибудь встретится невозможного». Но, несмотря на это убеждение, все же «при постройке невского моста остается недоумение, какою



Исаакиевский мост. Литография

степень крепости он должен иметь для сопротивления напору льда. Для разрешения такого обстоятельства опытов с мостами в иностранных мостах недостаточно, потому что тамошний лед слаб и тонок. Не менее любопытен и тот вопрос: какой лед может быть для моста опаснее, осенний или весенний? Кажется, весенний опаснее, когда идет в большом количестве с Ладожского озера, он не может смерзаться, останавливаться и покрывать реку, подобно осеннему, а в случае сильного скопления, он или запрудит реку, у моста, или сам от напора поднимется на мост. Сила льда, при быстром ходе, бывает тогда очень велика: рассказывают примеры, «что бродячий весенний лед на озерах, будучи гоним ветром, надвигается нередко на несколько сот сажен с воды на берег и ходом своим срывает встречающиеся строения». После такого примера следовало заключение: «много надобно соображения и опытности инженеров для постройки прочного и удобного моста подобного рода, как постоянный чугунный мост через Неву. Постройкою таких мостов особенно отличалась Англия»¹⁰⁹.

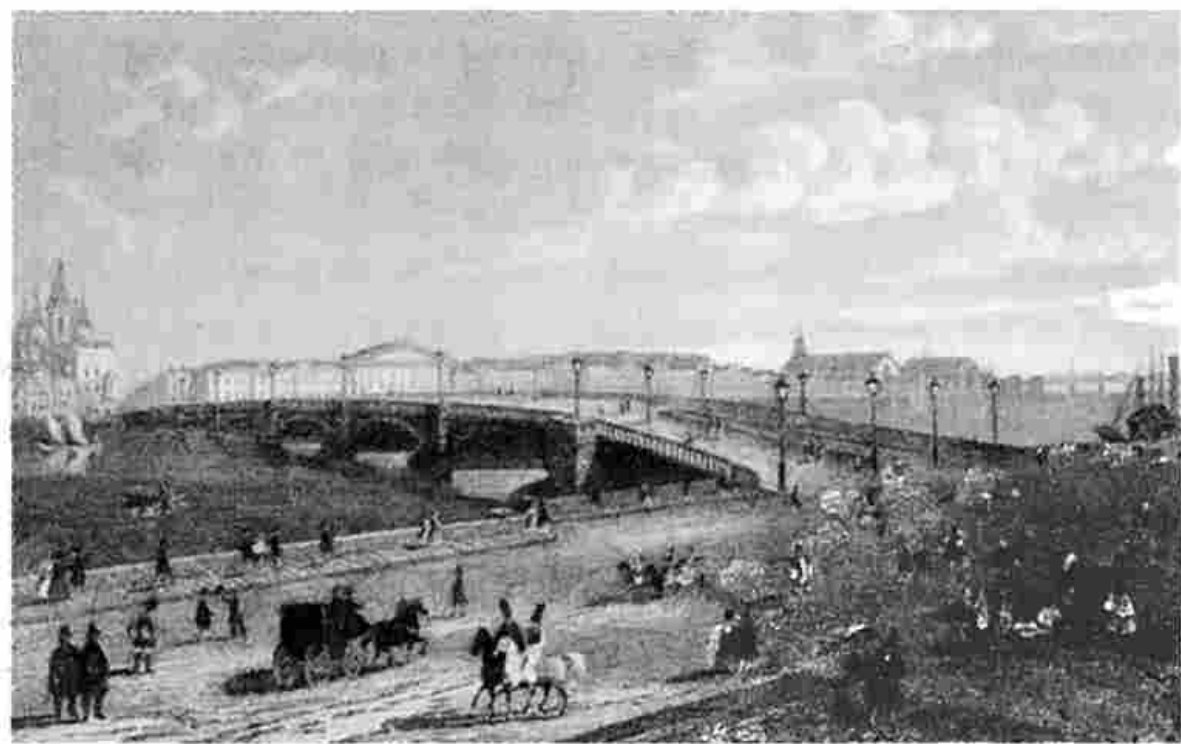
Но очень скоро, видимо, чтобы пресечь в корне все подобные разговоры, потому что они, несмотря на видимую

свою благонамеренность, все же подвергали критике правительственное распоряжение, последовало опубликование высочайше утвержденного 6 ноября 1842 года¹¹⁰ «положения о сооружении в С.-Петербурге постоянного моста через реку Неву». В этом положении, прежде всего, указывалось, что учрежден особый комитет из высших чинов строительного ведомства для сооружения моста. На этот комитет возлагалось и устройство подземной трубы и бульвара на месте Адмиралтейского канала. Затем приводился довольно подробный план работ, разбитых на 3 года — с 1842 по 1846 год включительно. По этому плану надлежало: «1) Осенью 1812 года устроить все временные сооружения, заготовить машины, инструменты, лесные материалы для фундаментов левого берегового устоя, примыкающих к одному закруглению набережной, и подземной трубы на месте Крюкова канала, набережных на Васильевском острове от Императорской Академии художеств до моста и от одного до 8 линии и первого от Английской набережной речного быка. Как скоро невиский лед будет довольно крепок, приступить к устройству стен, перемычек и к забивке свай, что и привести к окончанию до весны 1873 года. По вскрытии реки, весною будущего года приступить к сломке частей домов г-жи Холодковской и барона Шабо, к устройению подземной трубы и к производству каменной работы быка, устоя и набережной и к осени довести эту последнюю работу до начала чугунных арок. Работы же по устройению подземной трубы окончить к осени же 1843 года, кроме устройений мостовой новой улицы, каковую произвести в начале лета 1844 по окончательной осадке насыпи; 2) Осенью 1843 года заготовить материалы для правого берега устоя, для толстого быка вращающегося моста и для двух речных быков, зимою же с 1843 года и по 1844 год набить сваи и весной приступить к каменной кладке и кончить ее до начала арок к осени 1844 года, продолжая притом кладку быка и набережной до их окончательного возведения; 3) Таким же образом с 1844 по 1845 год поступить с тремя остальными быками и кончить притом в течение 1845 года каменную кладку, в предыдущем году начатую. С зимы 1845 до осени 1846 года устроить кружальные подмости, положить в дело чугунные арки, вращающийся

мост с механизмом и привести к совершенному окончанию все остальные работы по верхнему строению моста, так, чтобы езда по постоянному мосту могла быть открыта до времени разведения невских плашкоутных мостов».

Судя по этому положению, мост должен был быть построен в неполные четыре года — но ведь у русских человек предполагает, а Бог располагает, и весьма понятно, что в назначенный срок почти ничего не было сделано. Постройка моста продолжалась вдвое дольше, и только 21 ноября 1850 года было торжественное открытие моста. Торжество это заключалось, конечно, в молебствии, после которого Николай со своими сыновьями пропутешествовал пешком через мост на Васильевский остров, назад он поехал в открытой коляске вместе с наследником, в других экипажах следовали остальные его сыновья и герцог Лейхтенбергский, муж его дочери Марии Николаевны. Народ кричал «ура», бежал за коляской, хватался за колеса, российский патриотизм проявлялся во всю. А в «Северной пчеле» в день открытия моста были помещены стихи известного театрала Р. Зотова, стихи интересные особенно в том отношении, что они показывают, до какого падения может дойти человеческая натура, эти стихи — один из ярких образцов, характеризующих Николаевскую эпоху. Вот они в неприкосновенном виде¹¹¹:

Красуйся Русь, Отечество святое!
Ты превзошла все древности века!
Там было семь чудес, ты создало осьмое.
И лучше, краше всех! Сильна была рука,
Создавшая нам памятник народный,
Тверда была та воля, как гранит,
Велевшая создать, построить мост подобный...
Он прочен, тверд, как Русь! Века он простоит
Свидетельством могущества и славы
Усердной, преданной царям своим державы,
На удивление потомков и сынов.
И скажет летопись позднейшая веков:
Тогда был Николай — России повелитель,
А граф Клейнмихель — исполнитель!



Николаевский мост. Литография

Редко были образцы подобной — трудно даже найти подходящий эпитет — лести. Конечно, Николаевский мост являлся замечательным сооружением, значение его для Петербурга было громадно, но сравнивать его с семью чудесами света мог только один безалаберный россиянин. И ведь это стихотворение было далеко не единичным, случайным выражением, нет, в нем наиболее ярко отразилось настроение известной части русского общества. Просмотрите литературу того времени, и вы найдете не одно подтверждение нашей мысли. Вот еще один последний пример: «Любимая прогулка теперь — Благовещенский мост, драгоценное ожерелье красавицы Невы, верх искусства во всех отношениях! Мост прельщает в двойном виде. Днем он кажется прозрачным, будто филиграновый, легкий, как волны, а при полночном освещении является громадною массою, спаивающею между собою два города», — здесь надо было бы поставить точку, вышло бы очень интересное и любопытное описание Николаевского моста, но точка не была поставлена, наоборот, было допущено самое необузданное словословие: «если бы кто-либо из иностранцев желал узнать, как и чем сильна Россия, ему надлежало бы присутствовать при открытии моста 21 ноября, когда громовое „ура!“ раздавалось

в воздухе, когда все сердца сильно бились одним русским чувством, а взоры всех выражали, что весь наш народ готов на все: „за царя и за Русь святую“».

Уже в положении о Николаевском мосте было сказано, что на комитет по постройке моста было возложено и устройство Конногвардейского бульвара, взамен существовавшего на этом месте канала. Мы уже говорили выше, что этот канал и образуемый им островок были сделаны по приказанию Петра Великого для особой специальной цели, и эта цель не была выполнена, амбары для угля и пеньки не были выстроены. Не был также приведен и план устройства местности между нынешними Конногвардейским бульваром и Мойкою. При Петре Великом здесь было, так, к сожалению, можно лишь предполагать, но не утверждать, столпотворение строительное. Мы говорим о предположении потому, что плана этой местности не сохранилось или, может быть, пока не найдено. По распоряжению Петра на всем Адмиралтейском острове могли строиться только лица, имеющие то или иное отношение к Адмиралтейству, и в этом закуточке, еще плохо осушенном, с черневшим кое-где на пустырях болотным лесом селились люди попроще и победнее, и, конечно, они селились так, как им Бог на душу положит; застройка шла без плана, появились кривые, косые улицы, переулочки, тупики. Вскоре это было замечено Петром Великим, и он хотел предпринять меры к урегулированию этой местности. Предполагалось, между прочим, избы плотников сломать и соединить их в одно место для «регулярства», как тогда говорилось, думалось и о «красоте площади», наконец, всех разночинцев, поселившихся здесь, самовольно, велено было переселить на Васильевский остров. Но все эти мероприятия так и остались на бумаге, в жизни регулятором явились не бумажные указы, а красный петух. В 1736 году страшный пожар, чуть ли не в буквальном смысле, уничтожил все постройки на нынешних Морских, Почтамтской, Новоисаакиевской улицах — выгорело все это пространство сплошь, остались только кое-где случайные постройки. Тогда принялись за регулярное строение.

Была создана особая комиссия о строении Петербурга, был снят топографический план Петербурга, и стали выдавать

разрешения на постройки. Прежнее запрещение строиться всем, а не только морякам, на эту местность было отменено; наоборот, было стремление привлечь сюда для постройки людей состоятельных, которые могли построить каменные здания — деревянные постройки здесь не разрешались. И тогда-то была устроена и нынешняя Марининская площадь и нынешние улицы, которые должны были носить иные названия — Большая Морская должна была зваться Большой Гостиной, нынешняя Почтамтская — Большой Дворянской, следовательно, на ней должны были селиться дворяне, а Ново-Исаакиевская — Адмиралтейской линией. Из боковых, поперечных улиц дали название только одной, нынешней Благовещенской — ее окрестили Малой Луговой.

Если мы обратим внимание на так называемый перспективный план Петербурга 1754 года, названный перспективным потому, что на нем главные строения — дворцы, церкви, гостиные дворы, магазины и прочие, — были изображены не в плане, а в перспективном, сильно уменьшенном виде, то заметим, что рассматриваемая нами часть плана в большом своем размере не заселена, она разбита на дворовые участки, отмеченные на плане пунктирными линиями, что означает, что участки не застроены. Застройка этих мест, видимо, началась во второй половине 50-х годов XVIII века. В 1755 году была освящена церковь в доме графа Ягужинского¹¹³, в 1756 году в этом же месте Ломоносов получил данную на место¹¹⁴; дом графа Ягужинского — нынешний Почтамт, о нем речь будет ниже, сейчас мы скажем несколько слов о том, где находился и каков был вид дома Ломоносова (Мойка или, вернее, продолжение Большой Морской, дом 61). Дом принадлежал некогда Министерству внутренних дел, и в нем, когда сделался министром, поселился А. А. Макаров, изменив обычной резиденции министров внутренних дел — на Фонтанке у бывшего Цепного моста.

А про этот дом на Мойке № 61, писал вот какие строчки хроникер 1848 года¹¹⁵: «Я поспешил в Большую Морскую в отделение почтовых карет, и в ожидании отправления в дорогу я любовался великолепным изящным зданием, недавно построенным для этого учреждения. Парадные светлые, обширные

сени, общий зал для пассажиров, украшенный роскошными диванами, коврами, зеркалами, прекраснейшею мебелью — все запечатлено вкусом и изяществом, все предвидено и придумано для удобства и спокойствия путешественников. Заботливость о них до того простирается, что даже дворик, на котором они садятся в экипажи, покрыт стеклянным колпаком».

Это отделение почтовых карет, которым так восхищались в 1848 году, звучит довольно непонятно для современного читателя, но надо вспомнить, что в 1848 году Николаевской железной дороги не существовало, сообщение с Москвою велось или с помощью почтовых карет, или особых дилижансов и линеек, или на перекладных, или, наконец, на долгих, т. е. на своих или наемных лошадях с бесконечными остановками и ночевками.

В 1820 году стали ходить из С.-Петербурга в Москву дилижансы, которые отправлялись от Обухова моста, из дома, где помещалась гостиница Серапинская, получившая свое название от фамилии управляющего конторою дилижансов Серапина... Сперва существовала только одна контора дилижансов, носившая название «Первоначальное заведение дилижансов», плата за проезд в Москву была назначена в 100 рублей, дела этого учреждения были «в самом цветущем состоянии»: в 1833 году, например, дивиденд выразился в 300 рублей на акцию. Затем стали появляться еще и еще конторы дилижансов, наконец, спохватилось и само Почтовое ведомство, и были заведены под названием «Отделение почтовых карет» казенные почтовые кареты, для отправления которых и решили построить особое здание. Место выбрали на Мойке: во-первых, потому, что оно считалось центральным, а во-вторых, потому, что в этой местности сосредоточивались постройки и домовые участки Почтового ведомства. На месте № 61 был расположен так называемый «почтовый стан», т. е. здесь помещались конюшни для почтовых лошадей и сараи для экипажей. Постройку поручили известному архитектору Кавосу, который составил проект в стиле эпохи Возрождения из трех зданий: среднее в три этажа и два боковых по два этажа, между зданиями были двое ворот для приезда и выезда

пассажиров. При постройке не жалели средств, достаточно, например, указать, что пол в главном зале был сделан из венецианской мозаики. Когда же надобность в почтовых каретах, за открытием Николаевской дороги, миновала, то дом перешел в ведение Министерства внутренних дел, и в нем были квартиры различных «чинов», пока он не понравился Макарову, и поэтому понадобились большие средства на ремонт квартиры для нового министра.

В 1823 году этот дом значился¹¹⁶ под № 153 и принадлежал генералу от инфантерии Раевскому — фамилия, заставляющая вспомнить блестящие страницы русской истории, и 1812 год, и нашего незабвенного поэта А. С. Пушкина, который был тесно связан с Раевским, одной из дочерей которого он посвятил прочувствованные свои стихи; наконец, один из Раевских был узником Шлиссельбургской крепости, в каземате которой он сошел с ума.

Пойдем дальше. В 1804 году¹¹⁷ нумерация домов в Петербурге была опять-таки другая, и дом № 153 имел № 169 и принадлежал коллежскому советнику Константинову. Этот коллежский советник был библиотекарем царицы Екатерины II и был женат на дочери Михаила Васильевича Ломоносова и унаследовал от него построенный им после 1756 года на полученных местах каменный дом.

Таким образом местоположение дома Ломоносова устанавливается вполне точно — дом гениального русского самородка был сквозной и выходил с одной стороны на Мойку, дом № 61, с другой — на нынешнюю Почтамтскую улицу.

Какой был внешний вид этого дома? До сих пор полагали, что у Ломоносова был маленький, скромненький домик. По крайней мере, Фаддей Булгарин начинал один из своих фельетонов следующим патетическим возгласом¹¹⁸: «И мы, гуляя по великолепной северной столице, с гордостью указывали на старинный одноэтажный домик с мезонином в три окна, в котором жил Ломоносов на Мойке за Синим мостом, у Цепного мостика, ныне он принадлежит Почтамту».

П. И. Бартенев, биограф И. И. Шувалова, добавлял к этому описанию следующее¹¹⁹: «Из роскошных покоев своих во дворце, близ Полицейского моста, Шувалов нередко приезжал

к Ломоносову, в скромный домик его на берегу р. Мойки, ныне принадлежащий Почтамту». И в этой последней выписке подчеркивается, что Ломоносов владел скромным домиком — справка Бартенева как будто подтверждает указание Булгарина.

Но так ли это?

Вот что мы читаем в «С.-Петербургских ведомостях» 1778 года¹²⁰: «В Малой Морской отдается в наем бывший г. Ломоносова каменный дом о трех этажах с погребом, кухнею, конюшнею и сараями».

Таким образом видим, что и уверения Булгарина об одноэтажном доме Ломоносова и подчеркивания Бартенева о скромном домике Ломоносова неправильны — дом Ломоносова был трехэтажным, таких домов, особенно в этой местности, было немного. Далее, конюшни этого дома были тоже не маленькие, в тех же «Петербургских ведомостях» читаем¹²¹: и в Ново-Исаакиевской, в доме Ломоносова, у камер-юнкера графа Алексея Владимировича Салтыкова продается 7 жеребцов вороного цвета и одноместная английская карета» — видим, что конюшни были немаленькие, когда в них могли помещаться семь продажных жеребцов.

Таким образом приходится отказаться от предания, что у Ломоносова был скромный маленький домик, что-то вроде хижины с крыльцом на Мойку, на этом крыльце Ломоносов будто бы часто сживал, погруженный в свои думы. М. В. Ломоносов обладал таким домом, в котором могла найтись подходящая квартира для камер-юнкера графа Алексея Владимировича Салтыкова.

В приведенных нами двух объявлениях о доме Ломоносова есть как будто противоречие: дом значится на двух улицах: Малой Морской и Ново-Исаакиевской. Но тут маленькое недоразумение: Исаакиевская церковь, как мы и указывали выше, первоначально помещалась на Неве, недалеко от нынешнего Сената, тогда Галерная улица звалась Исаакиевской; при Екатерине второй Исаакиевский собор стали строить почти на современном месте, несколько ближе к нынешнему Конногвардейскому манежу, при этой новой постройке переименовали Малую Морскую в Ново-Исаакиевскую, но это

название не удержалось: в своей части от Невского до Исаакиевской площади, Малая Морская, опять до нового своего названия — улица Гоголя — упорно звалась своим старым названием, а ее продолжение за Исаакиевской площадью скоро, после 80-х годов XVIII века, было переименовано в Почтовую.

Но из этих двух объявлений ясно, что дом Ломоносова выходил не на Мойку, а на нынешнюю Почтамтскую улицу, но домовый участок Ломоносова, повторяем опять, был сквозной и на Мойку, где и мог сохраниться одноэтажный домик — но он был не главным домом Ломоносова, а его службами.

Имеются еще два объявления, в которых возобновляется еще подробнее топография бывшего дома Ломоносова. В 1772 году мы читаем такое объявление¹²²: «Женщина, умеющая воспитывать малолетних детей и правильно обучать по-французски, потребна в дом покойного статского советника Ломоносова, в Ново-Исаакиевской, подле Ягужинского трактира», и, наконец, в, 1784 году читаем такое указание: «На Адмиралтейской части близ Мойки, подле дома покойного М. В. Ломоносова, продается Брумбергов каменный дом со всеми принадлежащими к нему службами».

Здесь говорится о соседстве дома Ломоносова с домами Ягужинского и Брумберга — несколько слов об этих домах дополняют характеристику данной местности в XVIII веке¹²³.

Ягужинский дом — это нынешний Почтамт, конечно, до известной степени перестроенный. Надо думать, что в 1755 году граф Ягужинский выстроил здесь один из самых больших домов того времени — в доме было три этажа и 126 покоев с прочими службами, в числе этих служб была домовая церковь, о которой мы упоминали, а также большой обширный домовый театр. В 1766 году граф был объявлен несостоятельным¹²⁴, и из его имущества дом перешел в ведение городского магистрата и стал им эксплуатироваться, в нем, очевидно, в театральной зале уже в 1767 году развлекатель петербуржцев того времени предприимчивый итальянец Локателли устраивал свои первые публичные маскарады в Петербурге¹²⁵, а в 1777 году театр в доме графа Ягужинского ломился от публики — здесь представлялся знаменитый «Тромплинов скачок». Впервые с этим скачком знакомило петербургское общество «приехавшее сюда из Лондона общество эквилибристов¹²⁶,

причем оно делало этот «Тромплинов скачок» различным образом, в первый раз он был сделан 29 октября 1777 года, но описание этого скачка не сохранилось, скачок 7 ноября того же года был описан следующим образом: «в будущий четверок, находящееся здесь аглицкое общество представит тромплинов скачек иным совсем образом. Сперва один агличанин сего общества проскочит сквозь бочку, которую 4 человека на стульях стоящие держат так высоко, как только им возможно. Она же бочка о двух бумажных днах, которой дно пробьет ногами, а другое головой, поворачиваясь в ней так свободно, что оной нимало не коснется»¹²⁷. Но если «англичане» привезли с собою «Тромплинов, или Тромплов, скачок», то приехавшие из Италии эквилибристы, под предводительством Брамбилла и Номора, называли себя, «по справедливости можно сказать, что они первейшие из всех сего роду людей в Европе и могут представить в один раз, чего многие другие порознь показать не могут»¹²⁸. А что они показывали, видно из следующих описаний: «Брамбилла берет в рот рюмку и на край рюмки настраживает длиною в 6 фут. шпагу, а на шпагу ставится головой маленький англичанин. Номора, с своей стороны, берет в рот рюмку, на край которой ставит тоненькую соломинку и с ними ходит по веревке без равновесия шеста, наконец, девица Розалия берет пирамиду с 32 рюмками, ставит оную на лоб и с нею на столе качается и делает другие хитрости, во время качания она проходит сквозь обручи, не теряя равновесия, с пирамидою».

Необходимой принадлежностью цирковых представлений была постановка пантомим. Вот содержание одной из любимых¹²⁹, «*Arlechino nel deposito è resucittato per il podere magico*», т. е. «Арлекин, умерщвленный и волшебною силою оживленный, или Арлекиново седалище». Действующие лица суть: Панталон — Номора, Пират — Заменцато, Арлекин — Брамбилла, Коломбина — Брамбиллова жена, колдун, дьявол, пастухи, пастушки, хозяин, слуга.

«Будут следующие превращения:

1) Театр представлять будет могилу, Арлекин сидеть будет на седалище в саване.

2) Театр превратится в лес, а Арлекин — в живого человека и в другое платье.

3) Арлекин посреди выйдет театра, влезет в метле, и вылезет в женском платье.

4) Арлекин вскочит в бомбу. Пират выпалит из бомбы, и Арлекин вздымется вверх над театром.

5) Арлекин превратится в виселицу, на которой сам будет висеть. Пират, смотря на сие, будет смеяться, а Арлекин между тем с виселицы будет по частям падать на одр и превратится в живого Арлекина вместе с одром.

6) Арлекин и Коломбина превратятся в исполинов.

7) Исполины превратятся в четыре китайские огненные колеса, из которых родится множество огненных лилий».

Фейерверк — точно так же представлял неизбежный номер программы, причем особенным успехом пользовались «Китайский театр фейерверков»¹³⁰ и какая-то мельница, которая описывалась следующим образом¹³¹: «Трони показывать будет на мельнице, принятой здесь с великою похвалою, фейерверк, так что не токмо он сам весь в огне будет, но еще из носа, рта, ушей будут бить разнообразные фонтаны».

Свои бенефисы артисты-итальянцы сопровождали интересными обращениями к публике. Так, девица Розалия¹³² «благодарной публике за приписываемую от нее похвалу приносит свое благодарение и притом просит о многолюднейшем оной публики собрании дабы скопить довольное число денег на булавки и завязки», а Паяччи, так назывался паяц, в свой прощальный бенефис обратился со следующей речью¹³³: «Высокопочтенные господа добродетели! Мы имеем честь показывать вам наши неудивительные действия, и вы, нас похваляя, дарили по возможности, за что мы покорно благодарствуем. По сие время бедный Паяччи не чувствовал болезни, но ныне они становятся чувствительными и бывает тому причиною, что он иногда забавляется вином для прогнания болезни. За ваше здоровье, почтенные господа, выпью еще несколько полных рюмок и при каждой проглотаемой капле буду желать вам всякого благополучия. Я уверен, что и вы, высокопочтенные доброжелатели, будете желать Паяччи всякого добра. В пути, до самой Москвы, буду пить за ваше здоровье. Живите потом благополучно».

Какой наивностью, какой давно забытой стариною пахнет при чтении этих строк!.. Встает небольшая зала бывшего

домашнего театра в доме графа Ягужинского, освещенная салеными свечами да плошками. На арене ломается «бедный Паяча», да красавица Розалия, а на местах в белокурых париках, в вышитых камзолах и кафтанах, опираясь на вызолоченные, осыпанные бриллиантами трости восседают вельможи; рядом с ними в высоких напудренных «корабликом» прическах, в робах, в бесконечных кринолинах разместились красавицы Петербурга, набеленные, нарумяненные, насурмленные... Слышна полурусская, полуфранцузская речь и какой-нибудь петиметр, неестественно искривясь, смотрит в лорнет на пирамиду рюмок, мерно покачивающуюся на головке стройной Розалии, тоже не спускающей глаз с этого петиметра и мечтающей «о подвязках и булавках».

Всепожирающее время оставило от этого далекого прошлого лишь несколько строчек в давно забытых «Санкт-Петербургских ведомостях» да несколько старых афиш...

Различные театральные представления продолжались в театре Ягужинского вплоть до 1780 года¹³⁴, но, кроме них, в этой же зале петербуржцы наслаждались и другими невиданными ими зрелищами: так, в доме Ягужинского демонстрировался первый в Петербурге частный зверинец¹³⁵. «В Ново-Исаакиевской, в доме графа Ягужинского, у живущего в оном иностранца Антония Шиеза можно видеть одного африканского верблюда, 3 обезьян и 2 ежей» — в таком составе появился в Петербурге первый зверинец. В других помещениях этого дома были различные магазины, и с 1768 года¹³⁶ по 1772 год¹³⁷ здесь находился книжный магазин или, как его тогда называли, книжная лавка Московского университета.

В 1782 году¹³⁸ появилось нижеследующее объявление: «Ежели кто желает купить каменный дом генерал-порутчика и кавалера графа Сергея Павловича Ягужинского в малой Морской, то бы явились в С.-Петербурге, в городской магистрат». Более чем вероятно, что это объявление, подобно аналогичным ему, печаталось бы много лет, и покупателя на этот дом так и не находилось бы. Городовому магистрату было гораздо выгоднее эксплуатировать дом самому, показывать в отчетах ежегодный убыток, а действительную прибыль, которая получалась с этого дома, класть себе в карман. Но появилось столь обычное в истории Петербурга



Почтамт. Литография

«но» — дело в том, что напротив дома Ягужинского, по другую сторону переуллка, на той же Малой Морской, еще не переименованной в Почтамтскую улицу, купил себе дворовый участок и стал строить для себя дом граф А. А. Безбородко, который в это время получил в свое ведение и управление почтовую часть в России. Почтамт находился в очень небольшом и неудобном здании по Миллионной улице, его надо было переводить, и, более чем вероятно, по настоянию Безбородко, продающийся дом графа Ягужинского был приобретен в казну для петербургского Почтамта и Почтового управления. «От главных почтовых дел правления сим объявляется, — печаталось с 3 июня 1782 года¹³⁹, — чтобы желающие подрядиться перестроить дом в Новой Исаакиевской улице, принадлежащий прежде графу Ягужинскому, а ныне купленный для почтового правления, а против оного выстроить в 3 этажа каменный по сделанному плану почтовый стан, явились в почтовое правление». Постройка продолжалась с 1782 по 1785 год и производилась под наблюдением архитектора Н. А. Львова¹⁴⁰.

Перестраивать здание — трудная задача и для очень большого архитектора, а таковым вовсе не был Н. А. Львов. Очевидно, эрмитажная арка де-ла Мота заставила Львова

допустить крытый переход через улицу из дома главного Почтового правления в Почтовый стан.

22 сентября 1785 года¹⁴¹ «от с.-петербургского, почтамта сим объявлялось, что по случаю ныне вновь отделанного почтового в Ново-Исаакиевской улице дома здешней почтамт перебраться имеет в оный дом к 22 числу сего месяца, и для того публика извещается, что в том новом почтовом доме с 22 числа отправление почт и прием на почту писем начнется, вход же публика для отдачи писем будет по лестнице, находящейся в переулке к дому обер-полицмейстера». Таким образом с осени 1785 года Почтамт существует в нынешнем своем помещении, но вход был, как видно из приведенного объявления, не с Почтамтской улицы, как ныне, а с переулка¹⁴².

Дом же Безбородки, который дал толчок к покупке дома Ягужинского, устраивался в течение трех лет, с 1781 по 1783 год¹⁴³. Строил его архитектор Кваренги, причем эта постройка не поражает своим внешним видом, фасад более чем прост, красив лишь входной подъезд из четырех гранитных колонн с мраморным балконом. Но зато внутренним своим устройством и убранством дом этот мог поразить самый изысканный вкус. В этом доме впервые был в большом размере употреблен самоцветный камень, например зала с зелеными колоннами, облицовка стен, украшение дверей, подоконников. По обеим сторонам парадной залы стояли две большие мраморные вазы, выписанные из Рима¹⁴⁴, по другим стенам возвышались две высоких этажерки, сверху донизу уставленные фарфором. Мебель и украшения других комнат были вывезены из Франции: великолепная люстра из горного хрусталя принадлежала Филиппу Эгалите, кресла и часть другой мебели некогда стояли в кабинете последней французской королевы Марии-Антуанетты; в голубой бархатной гостиной висел портрет Екатерины II работы Левицкого, представлявший государыню во весь рост около жертвенника, на котором курился фимиам из маковых цветов. Картинная галерея Безбородки поражала своими размерами, числом своих картин; она послужила основанием музея бывшей Академии художеств, куда поступила гораздо позже по завещанию одного из дальних родственников канцлера Кушелева, принявшего вследствие бездетности



Дом А. А. Безбородко. Фото 2008 года

канцлера фамилию и графство — Кушелевы-Безбородко. После смерти графа А. А. Безбородко дом его перешел его брату графу И. А. Безбородко и в 1810 году был приобретен в Почтовое ведомство¹⁴⁵. Наконец, в 1862 году был приобретен для Почтового ведомства еще один дом в той же улице.

Это нынешний Телеграфный дом. 14 октября 1862 года сюда была переведена главная станция телеграфов¹⁴⁶; дом этот в 70-х годах был перестроен архитектором Д. Соколовым¹⁴⁷, закладка дома была торжественно совершена 22 сентября 1874 года¹⁴⁸, самое же открытие главной телеграфной станции было 27 апреля 1875 года¹⁴⁹. Как видим, Почтамтская улица вполне заслужила свое название, она являлась действительно центром почтового дела в Петербурге. Говоря о почте в Петербурге, нельзя забыть 4 даты: 17 января 1833 года, 1 декабря 1845 года, 1 января 1848 года и 1 января 1858 года. Охарактеризуем

эти даты словами современников. «Во вторник 17 января 1833 года воспримет начало здесь в Санк-Петербурге городская почта для разноски писем и билетов по городу»¹⁵⁰, такая заметка означала, что в Петербурге в 48 мелочных лавочках были устроены приемы писем: обыватель приносил в эти мелочные лавочки свои письма, платил за них весовые деньги, и сюда же в лавочку заходили почтальоны, забирали почту и разносили ее по домам. Пожалуй, это назначение мелочной лавочки и натолкнуло Гоголя на его известную фразу о мелочной, вложенную в уста Осипа.

1 декабря 1845 года¹⁵¹ произошло введение штемпельных конвертов. Вот как писали об этом нововведении через два года¹⁵²: «двухлетний опыт убедил, что это нововведение, чрезвычайно распространившее пересылку писем по городской почте, весьма удобно для публики, потому что избавляет корреспондентов от мелочных расчетов, неверности доставки писем в месте приема и т. п. Отправление письма в простом конверте может иногда замедлиться от самой ничтожной причины. У вас не случилось мелкой монеты, чтобы отдать за конверт пять коп. серебром, вы послали разменивать кредитный билет, но пока отыскиваете по лавкам мелкие деньги, в это самое время в приемном месте городской почты вынули корреспонденцию, и ваше часто важное и экстренное письмо, отданное после того через какие-нибудь пять минут, должно дожидаться нового приемщика корреспонденции и дойти до места своего назначения двумя часами позже определенного ему на путь времени».

Наконец, 1 января 1848 года были выставлены на улицах почтовые для писем в штемпельных конвертах ящики, выкрашенные предварительно в зеленый цвет¹⁵³, и с 1 января 1858 года¹⁵⁴ введены «для пересылки частных писем во все города России почтовые марки, вроде существующих за границей *tembre poste*. «Нет сомнения, — читаем мы в современном известию, — что эти марки значительно облегчат корреспонденцию, и мы думаем, что почтовое начальство сделает прием писем с такими марками обязательным для мелочных лавочек, где принимаются письма на городскую почту. Ящик для штемпельных и марочных писем может быть далек от места



Дом Мятлевых. Фото 2010 года

жительства, а мелочных лавок, где принимается корреспонденция, — множество. Весьма желательно, чтобы подобные марки ввелись и для городской почты».

7 сентября 1868 года¹⁵⁵ произошло «уничтожение на мелочных лавках вывесок о приеме писем на городскую почту», и был введен тот порядок, который существует поднесь.

На той же Почтамтской улице имеется еще несколько домов, на которые следует обратить внимание: прежде всего, угловые дома на Исаакиевскую площадь, первый дом (не переходя улицу, если идти от манежа) — дом Китнера — существовал в этом роде более 100 лет, по крайней мере, в 1794 году этим домом владел некий портной Китнер¹⁵⁶, затем в 30-х годах XIX столетия здесь была одна из первых в Петербурге музыкальных школ¹⁵⁷ и, наконец, в 1864 году 11 января здесь торжественно открылась школа для еврейских детей, принявших православие¹⁵⁸. Если дом Китнера интересен своими бытовыми подробностями, то на другом углу Почтамтской улицы, напротив него, помещается один из старинных домов города Петербурга, этот дом известен Петербургу под именем последнего его владельца — Мятлевский¹⁵⁹. Дом этот построен



Гостиная в доме Мятлевых. Акварель А. Ф. Гауша. 1918 год

одним из Нарышкиных в начале царствования Екатерины II, а может быть даже и в конце Елизаветинского времени. Из этого дома Дидеро при своем приезде в Петербург наблюдал за церемонией бракосочетания Павла Петровича¹⁶⁰. Дом этот интересен, как образец одного из старинных домов, особенно любопытны барельефы из греческой жизни на фасаде дома. От Нарышкиных он перешел к Мятлевым, им владел, между прочим, и поэт Мятлев, автор известного путешествия ма-
 dame Курдюковой. Наконец, на противоположном конце Почтамтской улицы с начала 70-х годов XVIII века существовал сперва неболь-

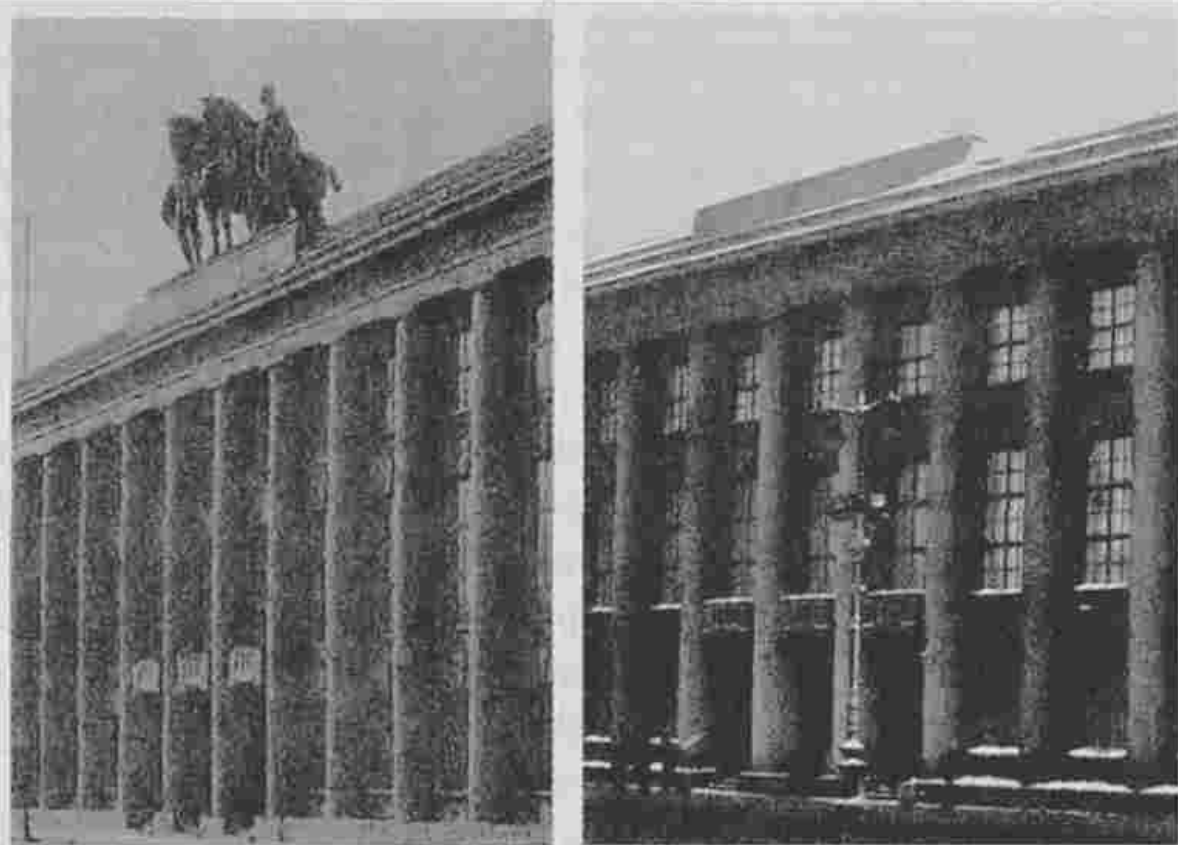


*Лестница в доме Мятлевых.
 Фото А. Ф. Гауша. 1918 год*

шой домик Евангелического братства, т. е. немецких колонистов города Сарепты на Волге. Здесь продавалась «свежая Царицынская целительная вода»¹⁶¹, или «Сарептская минеральная соль»¹⁶², — после посещения Болотовым Сарепты и пользования минеральными сарептскими водами слава о них быстро распространилась, и ими россияне охотно пользовались в последних десятилетиях XVIII века, но, конечно, не соль, не минеральная вода привлекала в сарептский дом довольно большое число и хозяев, и хозяек. Хозяйки шли за сарептской горчицею, которая считалась наилучшей из местных горчиц¹⁶³, а хозяев привлекал сарептский табак¹⁶⁴ — «поелику с некоторого времени цены на листовой табак и на вес к деланию нюхательного табака потребные материалы очень возросли, то г. Аб. Лорет и К° в Сарепте нашлись принужденными повысить цены и на делаемый на их фабриках нюхательный табак, почему и будет оный продаваться в Сарептском доме Раппо № 0 — 1 р. 25 к., № 1 — 90 к., № 2 — 80 к., № 3 — 75 к., № 4 — 70 к. за фунт». Дом этот был впервые перестроен в 1841 году¹⁶⁵, а затем осенью 1891 года возник и четырехэтажный флигель во дворе¹⁶⁶.

Вслед за домом Мятлевых на той же Исаакиевской площади возвышается дом Германского посольства, которого архитектура сперва привлекала к себе внимание и вызвала страстные споры, может ли здание такой архитектуры служить украшением или нет. Затем во время последней войны этот дом послужил проявлением «патриотизма»; с фронтона его были стащены украшавшие его статуи древних германцев и потоплены в недалекой от этого дома Мойке, и, кроме того, собравшаяся толпа камнями вышибла стекла в этом доме.

Мы только что и довольно детально проследили историю образования улицы, своим названием показывающей, что она, эта улица, имела специальное назначение. Из вышеизложенного было ясно, что это специальное назначение улицы — быть местопребыванием Почтамта — появилось вовсе не потому, что эта улица была удобна, выгодна для Почтамта, нет, вовсе нет, положение ее, наоборот, было далеко не удобно для Почтамта, и этот Почтамт возник здесь лишь потому, что глава Почтамта имел на этой улице дом и находил для себя удобным, чтобы



Дом Германского посольства. Фото 1913 и 2010 годов

Почтамт был поближе к его дому, а затем, другой русский барин, разорившись, должен был продать свой дом, который и купили для Почтамта. Отсутствие какого-либо плана в целом и в частностях при устройстве Петербурга резко бросается в глаза, и пример Почтамтской улицы вовсе не единоличен, он повторяется в истории Петербурга многократно, повторится еще раз в той же самой местности, как только мы попробуем восстановить историю выстроенных здесь казарм для бывшего Конного полка.

Конный полк — создание императрицы Анны Иоанновны, для этого полка в конце нынешней Шпалерной улицы была устроена особая слободка Конного полка, в которой и был размещен Конный полк (подробно историю Конной слободки мы восстанавливаем в имеющейся вскоре появиться нашей монографии «Старый Петербург. Литейная слободка») (см. соответствующую главу в книге «Петербург». — *Прим. ред.*). Но императору Павлу Петровичу понадобилось сделать очередную реформу — разорить старое начинание. Приказано было слободку Конного полка продать в частные руки, а Конный полк

сперва разместить в Таврическом дворце, затем перевести в Царское Село, из него в дом Гарновского (потом казармы бывшего Измайловского полка). Каждое из этих помещений было недостаточно для Конного полка, и, в конце концов, при императоре Александре I решено было построить новые казармы, — к сожалению, нельзя выяснить, кто проявил инициативу, — а обратили внимание на бывший Бауеровский дом. Что же представлял из себя этот Бауеровский дом?

Нынешняя Почтамтская улица упирается в Конногвардейский переулок, который отделяет главное здание казарм Конного полка и Конногвардейский плац от соседних частных построек. В 1765 году Конногвардейский переулок назывался несколько иначе, он звался Провиантским, а место, занятое казармами Конного полка, принадлежало купцу Брунбергу¹⁶⁷ — голландскому купцу и пильных мельниц и канатных заводов содержателю¹⁶⁸. На этом огромном месте был выстроен двухэтажный главный дом и два боковые флигеля¹⁶⁹, между ними оставалось большое свободное пространство, где был разбит огород и устроены оранжереи. Этот огород и эти оранжереи функционировали и тогда, когда дом Брунберга давным-давно перешел в казенное ведомство, так, например, в 1790 году¹⁷⁰ «в Морской улице у запасных магазинов в бывшем Бауеровском доме, что ныне вожатый корпус, продаются из оранжереи голландские луковицы разных званий и отменных колеров, также розаны в горшках, левкои, фиолы (фиалка) и махровые гвоздики с цветом». Кроме садовников, в этом доме жили многие иностранцы и предлагали петербуржцам разные диковинки; так, в 1768 году¹⁷¹ «у клавикордного мастера Николая Скога в новом Брунберговом доме (очевидно, раз дом зовется новым, он был построен если не в 1768 году, то около этого года) продаются клавиры, стоячие и лежащие, панталоны и другие инструменты по вольной цене, он делает оные и на заказ и берет к себе починивать и налаживать» — таким образом здесь жил один из первых фортепьянных мастеров того времени, когда фортепьяно носило такое странное и непонятное название, как «панталоны», а произошло это название от имени французского мастера Pantalon... Затем в этом же доме жил какой-то странный капитан Блюм, очевидно, он был

не русской службы военный, а приехавший иностранец, потому что у него¹⁷² «продавалась особливая сделанная умывательная вода от веснушек и угрей», нужно думать, что эти продавцы привлекали в дом Брунберга, или Брумберга по другому написанию, значительную толпу петербуржцев, но если дела постояльцев шли хорошо, то хозяин разорился и умер, оставаясь «казенным должником». Его имение стало продаваться, но точно так же, как дом графа Ягужинского, не находило себе покупателя, а 27 декабря 1773 года генерал Бауер, основатель первоначального русского Генерального штаба, вошел к императрице Екатерине II с нижеследующим докладом, который настолько любопытен, что мы приводим его целиком¹⁷³.

«Учрежденный для армии Вашего Императорского Величества генеральный штаб по Высочайшей Вашего Величества конфирмации, поднесенной в 1771 году февраля 28 дня от Военной коллегии доклада, постановлен уже количеством своим в соответствующее совершенной полезности состояние, но как не имеет он здесь для себя такого дома, где б не только молодые того штаба офицеры в науках, относящихся до военного искусства, упражняться могли, по исполняли бы по крайней мере по службе им поручаемое, то зная недостаток в помянутой к исправлению поручаемого способности, при-
нуждено бывает излишне употреблять ожидание и хотя по самой крайней необходимости и нанимается для чертежной генерального штаба из суммы военной коллегии небольшой дом, но не будучи он ни достаточен, ни удобен с надобностию расположен, тщетно употребляет г. генерал-квартирмейстер старание о должном успехе, с тем меньше еще возможно ему наблюдать за поведением и упражнением в науках своих подчиненных. Сих ради обстоятельств по учиненному мне от реченного генерал-квартирмейстера представления, принимаю я смелость Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше доложить, не соизволите ли Великая Государыня указать купить и устроить для генерального штаба (штаба) продающийся ныне, после покойного Брумберга каменный дом, состоящей по Большой Морской и Ново-Исаакиевской улице и Провиантскому переулку, на покупку же его и на приведение в требуемое состояние и на учреждение пред оным

места для вахт-параду по примерному исчислению потребно 53 тысячи рублей, в числе коих, если бы Ваше Императорское Величество повелеть соизволите, то употреблены будут из имеющихся в военной коллегии оставшихся от жалованья чинов ее 23 тысячи да штрафных 3 тысячи, итого 26 тысяч рублей, а остальные 27 тысяч рублей откуда Ваше Императорское Величество Высочайше указать изволите».

Екатерина II приказала недостающие 27 тысяч рублей выдать из кабинетских сумм, а Брунбергский дом стал генерал-стабским или, как его более привыкли звать, Бауеровским домом. Впоследствии в этом доме был помещен вожатый корпус. Так дело обстояло до первых годов XIX века, когда, как мы уже указали выше, возник вопрос о необходимости озаботиться помещениями для Конного полка. Обратили внимание на Бауеровский дом и в 1806 году спешно стали его готовить для казарм Конного полка, срединный дом перестроил Роско, боковые флигеля обделывал архитектор Ермолаев¹⁷⁴, но этих помещений было далеко недостаточно для полка, и воспользовались тем островком, который был, как мы указали выше, образован Адмиралтейским каналом при Петре Великом, и на котором должны были быть построены, но никогда не строились, амбары для пеньки, угля и других припасов, употребляемых на Канатном дворе.

Прежде всего спрятали ту часть Адмиралтейского канала, которая тянулась от Адмиралтейской крепости, через Адмиралтейскую площадь вплоть до нынешнего здания Синода. 24 июня 1804 года было помещено такое объявление¹⁷⁸: «Желающее устроить над продольным каналом между монументом Петра Великого и церковью святого Исаакия кирпичный свод, длиною 52 сажени и шириною 6 сажень» — следовательно, приступили к уничтожению и той части канала, который шел к бывшей смольне. Кажется, остальная часть канала, шедшая параллельно нынешнему Конногвардейскому бульвару, была просто закопана, а не заключена в трубу. Таким образом оставался только один конец бывшего Адмиралтейского канала, шедший посредине нынешнего Бульвара Профессиональных Союзов.

И вдоль этого канала под наблюдением архитектора Ермолаева и каменных дел мастера Бетмиллера были построены



Казармы Конногвардейского полка. Фото начала XX века

и закончены к 14 ноября 1807 года большие казармы лицом к Почтамту в три этажа. В верхнем помещались офицерские квартиры, в которые вели шесть лестниц со стороны Почтамта, во втором этаже были помещения для солдат, входные лестницы были устроены со стороны канала, в первом нижнем этаже были конюшни. Далее, между этой казармою и нынешней Благовещенскою церковью, вместо существующей теперь и недавно перестроенной казармы были мастерские, кузницы, полковой лазарет, окруженные каменным забором¹⁷⁶. И чтобы спрятать эти казармы, перед ними, как декорация, воздвигли Конногвардейский манеж. Проект манежа составил Кваренги, строил архитектор Гирше, длина манежа 60 сажен, ширина 16 сажен, парадная лестница из сердобольского гранита. Перед манежем стояли 2 конные статуи, которые были копии знаменитых статуй Monte Cavallo, украшающих площадь перед Квиринальским дворцом в Риме. Эти статуи делал



Конногвардейский манеж. Фото 2010 года

иностранец Трискорни¹⁷⁷, им же были вылеплены и барельефы, украшающие сам манеж. Конные статуи впоследствии были перенесены на Конногвардейский плац. Таково было первое переустройство этой местности; памятником этого переустройства, сохранившимся до наших дней, остался Конногвардейский манеж, являющийся, безусловно, одним из лучших образцов подобных зданий. Благодаря своему центральному помещению, манеж служил не только для своей непосредственной цели — 19 сентября 1850 года в этом манеже производили опыты над земледельческими орудиями — в это время пытались приохотить российских помещиков к употреблению земледельческих орудий — жатвенных машин, локомобилей для молотилок. Вольно-экономическое общество воспользовалось манежем для выставки этих орудий, специально выписанных из Англии¹⁷⁸, в 80-х годах в этом манеже устраивал свои концерты увлекательный капельмейстер Штраус¹⁷⁹, а 17 мая 1878 года в этом же манеже было устроено невиданное еще петербуржцами зрелище — травля крыс¹⁸⁰. Приводим современное описание: «посреди конногвардейского манежа был устроен круглый амфитеатр с ареною посредине, места продавались по 2, 3 и 5 рублей и были разобраны без исключения петербургским высшим обществом, состоявшим более чем

на половину из дам. Самая травля началась ровно в 2 часа. На арену, имевшую 20 футов в диаметре, стали выпускать по несколько штук крыс; небольшие крысоловки выказывали ловкость и проворство, бросались на врагов и после некоторой борьбы устлали арену трупами. Наконец, в 4 часа это мало-виданное зрелище кончилось, и в результате оказалось слишком 200 тел крысиных... Признаемся, — с большою горечью добавлял корреспондент того времени, — мы не предполагали, чтоб нашлось такое количество лиц, принадлежащих „к образованному классу общества, которым подобное зрелище могло доставить удовольствие“».

Следующая перемена этой местности произошла в 1842–1845 годах. 10 июня 1842 года в «С.-Петербургских ведомостях» была напечатана такая маленькая заметка¹⁸¹: в «Русском инвалиде» сказано, что небольшой канал, называемый Адмиралтейским и начинающийся вблизи церкви св. Исаакия между домами св. Синода и Конногвардейским манежем, будет покрыт до соединения своего с Крюковым каналом каменным сводом, на котором устроится бульвар. Эта работа будет окончена в следующем году. Работа предполагалась довольно значительная: диаметр трубы должен был быть 12 ф., длина на погоне 336 сажен¹⁸², производителем работ был назначен инженер путей сообщения П. А. Мейнгард¹⁸³. 12 апреля 1845 года государь император, — так сообщалось в официальных известиях¹⁸⁴, — повелеть соизволил вновь устроенный между здешними Правительствующим Сенатом и Конногвардейскими казармами бульвар именовать Конногвардейским бульваром». После такого официального признания можно было высказаться и прессе, и в той же самой «Северной пчеле» читаем¹⁸⁵, «что было за несколько лет перед сим у Поцелуева моста и позади Конногвардейских казарм и что теперь! Этот бульвар от Исаакиевской площади до поворота на постоянный мост через Неву — прелесть, а нет никакого сомнения, что владельцы домов со стороны Галерной улицы воспользуются благоприятными обстоятельствами и выстроят здесь прекрасные дома. В прошлое воскресенье мы встретили множество гуляющих и, к радости нашей, много детей, игравших будто в домашнем саду. Будь в С.-Петербурге климат



Статуя Славы на Конногвардейском бульваре. Фото 2010 года

не такой плакса и небо повеселее, было бы чудо!» В том же 1845 году были присланы из Берлина в подарок от тестя прусского короля те две колонки с статуями Славы¹⁸⁶, которые да поднесь возвышаются на этом бульваре, внося довольно большую дисгармонию своим конфеточным видом в красоту Конногвардейского манежа Кваренги и здания бывшего Синода Росси. Молодой бульвар вскоре должен был потерпеть от сюрприза петербургской погоды — 21 сентября 1846 года¹⁸⁷ неожиданно выпал большой снег, листва на деревьях еще не опала, и снег своею тяжестью залег на ветвях молодых деревьев бульвара и сильно попортил их.

Во время устройства бульвара производились в этой местности другие работы. «Обширные постройки начаты нынешним летом, — читаем мы в 1845 году¹⁸⁸, — на бывшем Конногвардейском плац-параде близ Поцелуева моста. На всей этой площади, на которой уже в прошлом году построили огромный флигель перед спуском с Поцелуева моста, вырастет новый квартал колоссальных зданий, назначенных для

Конной гвардии». Таким образом был окончательно перестроен¹⁸⁹ бывший Бауеровский корпус, и на месте кузниц, полкового лазарета, возвели еще новую казарму.

Вместе с перестройкой казарм строили и новую полковую церковь во имя Благовещения. Церковь строили на том месте, которое некогда было занято, как мы говорили выше, небольшою финской деревушкой, и где, по повелению Петра Великого, должны были устроить Каторжный двор. Устройство Каторжного двора недалеко от Адмиралтейства вызывалось вот каким обстоятельством: во флоте того времени существовал и играл значительную роль так называемый галерный флот, суда которого приводились в движение веслами, гребли на этих веслах каторжные. И весьма понятна забота Петра Великого, чтобы Адмиралтейство было обеспечено этой гребной силой. 22 июля 1706 года один из первоначальных строителей Петербурга, Яковлев, доносит Петербургскому губернатору Меншенкову: «Острог каторжным колодникам заложили»¹⁹⁰. Острог строился довольно долго, по крайней мере, через 6 лет, в 1712 году¹⁹¹, все еще производились строительные работы. В 1719 году¹⁹² были высланы цепи для заковки арестантов, и поправлялись вследствие чрезвычайной ветхости арестантские казармы. Заготовка цепей производилась, особенно первое время, чуть ли не ежегодно¹⁹³. До 1732 года этот каторжный дом находился в ведении Адмиралтейства, когда он был передан, полиции¹⁹⁴, с 1736 по 1742 год шел значительный ремонт этого двора, все еще находившегося на старом месте¹⁹⁵, а затем Каторжный двор был переведен на Васильевский остров. Старое место было обращено в площадь¹⁹⁶, на которой в 1843 году¹⁹⁷ решено было построить Благовещенскую церковь для Конного полка¹⁹⁸.

Официальная закладка этой церкви была произведена 2 июля 1844 года¹⁹⁹. Церковь эта строилась по проекту архитектора К. Тона, который в царствование императора Николая Павловича считался воплощением настоящего русского стиля церквей.

Про Благовещенскую церковь, например, писали следующие строчки²⁰⁰. «Вы стоите перед церковью и, привыкши к известным архитектурам, спрашиваете: какая же это архитектура? Греческая? В самом деле, посмотрите, какой грандиозный



Благовещенская церковь. Литография

фронтон и с каким удивительным карнизом, сочиненным так правильно и изящно, — но не греческий, — ответят знатоки. Римская? — Нет. Ну, так верно византийская? Посмотрите, какие тонкие, красивые колонны, какие стрелки венчают самый тамбур — нет, это не византийская архитектура. Поезжайте в Москву, и там вы увидите тип этой архитектуры. Это — русская, чисто русская архитектура, но не вдавайтесь в ошибку и не подумайте, что тут рабское подражание, это совершенно новое создание, художественное усовершенствование, возведенное в идеал, в перл создания, как говорит Гоголь. Так из грубых, полудиких рапсодий Гомер сочинил Иллиаду».

Трудно объяснить себе, как могла церковь Благовещения работы Тона вызвать такие строчки. В этой церкви особенно резко проявилось непонимание Тоном истинного значения древнерусского церковного зодчества. Здесь перед вами скорее готика, чем древняя русская церковь. Выдуманность, сочиненность слишком ярко бросается в глаза. Барельефы на главном фронтоне работы Рамазанова, образа живописи Бруни, Маркова, Шамшина, Скотти, т. е. почти таких же художников, каким архитектором был К. Тон.

Вместе с постройкою церкви шло регулирование и Благовещенской улицы. Когда прорыли Крюков канал, то, весьма естественно, первое время набережная этого канала не застраивалась, канал был проведен по самому низкому болоту, чтобы осушить его, и набережная канала долгое время была неудобна для застройки. Затем в 1756 году этой набережной воспользовалось правительство, и здесь были построены винные склады²⁰¹ — почему здесь нужно было построить винные склады, ответа мы не найдем, и более чем правдоподобно будет утверждение, что и сами строители не могли бы ответить удовлетворительно на этот вопрос: нужно было для Адмиралтейского острова выстроить винные амбары, где бы хранилась водка и откуда ее можно было бы развозить по кабакам этой части. Место для этих амбаров, само собою понятно, не должно было быть центральным, ну, и выбрали закуток — набережную Крюкова канала.

Затем этими амбарами уже по инерции воспользовались 8 августа 1766 года²⁰², когда Екатерина II основала в Петербурге хлебные запасные магазины — цель их бороться со спекуляцией, когда торговцы поднимали цену на хлеб — хлебные магазины должны были по нормальной и даже пониженной цене снабжать население, и особенно недостаточные низы хлебом — очевидно, что должно произойти понижение цен и на базаре. Но хлебные магазины были полезны только на бумаге, да немалую выгоду извлекали смотрители магазинов и обширный штат служащих — в нужные моменты в магазинах никогда не бывало хлеба — или хлеб «сгорел», или его «съели» мыши, словом, оказать своевременную помощь населению хлебные магазины не могли. Затем положение их на Крюковом канале было совершенно неудобно. Прежде всего, из хлебных магазинов должны были получать помощь необеспеченные низы столицы, но в той местности, где были построены эти амбары, жили не эти низы, а, наоборот, представители обеспеченной среды и те, кто имели право на помощь, должны были приходить в эти амбары издалека, с окраин столицы. Затем также затруднительна была и доставка сюда запасов хлеба — его нужно было или переправлять на барках по Мойке и Крюкову каналу, или везти подводами из-под Александро-Невской лавры

с Калашниковской пристани, куда приставали хлебные баржи. Конечно, эта значительная перевозка хлеба не могла не увеличивать накладные расходы — и неудобность городских хлебных магазинов стала ясна; магазины построили в других местах города, на окраинах, но Крюковские магазины не были уничтожены, и они просуществовали вплоть до 7 апреля 1832 года²⁰³, когда состоялись первые торги на перестройку вчерне 2 корпусов Крюковских магазинов в казармы, затем перестройка продолжилась до конца 1840-х годов, когда появились по Благовещенской улице от церкви Благовещения до Поцелуева моста с правой стороны Морские Крюковские казармы, а с правой стороны — лазарет Конного полка, конюшни и служительские флигеля; Благовещенская улица таким образом вся состоит из построек казенного ведомства.

Таким образом, к началу 1850-х годов; вся описываемая нами местность изменила свой прежний вид — только на углу Благовещенской площади, за покосившимся от времени деревянным забором, виднелся дровяной склад Морского ведомства и рядом с ним неуклюжая двухэтажная казарма, переделанная из Петровского Канатного двора. Эти постройки были признаны не соответствующими местности. Так как частных покупателей не оказывалось, то этот участок от нынешнего Замятина переулка до Благовещенской площади разделили на 2 части — большую по площади отдали в Дворцовое ведомство, а меньшую — в ведомство Министерства финансов.

У императора Николая Павловича подрастал третий сын, великий князь Николай Николаевич. Надо было его женить, нужно было ему приготовить и гнездышко для будущей жизни. Участок бывшего Канатного двора и был предназначен для устройства дворца для великого князя Николая Николаевича. 21 мая 1853 года при соответственной церемонии архитектором Штакеншнейдером был заложен дворец²⁰⁴. Наблюдал за постройкою, был производителем работ архитектор Пл. Ер. Антипов²⁰⁵, но в незадачливую минуту было заложено это новое здание — разразилась Крымская война, все строительные кредиты были закрыты, и работа по устройству дворца прекратилась вплоть до 1859 года, когда в мае месяце был окончен вчерне один из флигелей этого дворца²⁰⁶. Осенью этого

года начали штукатурить фасад дворца, обращенный на Благовещенскую площадь²⁰⁷, и 1 декабря 1861 года произошла церемония освещения дворца²⁰⁸ и переезд великого князя на постоянное жительство, а 24 октября 1863 года освятили устроенную при дворце церковь²⁰⁹

Великий князь Николай Николаевич, ростом чуть ли не в сажень, могучего телосложения, не представлял из себя чего-либо выдающегося даже в отрицательном значении: лихой кавалерист, любитель балета — известна его долговременная связь с балетной танцовщицей Числовой. Официально он занимал должность командующего кавалерийскими силами России, и петербуржцам долгое время были памяты кавалерийские поездки офицеров в окрестности Петербурга — на эту поездку офицеры полным карьером скакали по улицам Петербурга. Затем Николаю Николаевичу принадлежала инициатива тревоги, по которой в 70-х годах на Дворцовую площадь собирался весь гвардейский корпус. Далее Николай Николаевич был почетным членом различных сельскохозяйственных и спортивных обществ, и в манеже его дворца неоднократно устраивались выставки племенного скота, охотничьих собак и т. п. Таковы заслуги великого князя перед Россией, но ведь он был великим князем, следовательно, он должен был проявлять в большой степени и благочестие, и ревность к православной вере и быть и в этом отношении примером для верноподданных. В конце 60-х годов великий князь путешествовал и посетил Палестину, и разгорелось его сердце усердием к православной вере — и 24 декабря 1872 года²¹⁰ произошло освящение устроенной под



*Великий князь
Николай Николаевич*



Николаевский дворец. Литография

церковью дворца Николая Николаевича пещеры-вертепа — точной копии Вифлеемской пещеры. Досушие вестовщики передавали по Петербургу, что князь, приехав из Иерусалима, так проникся желанием иметь копию Вифлеемской пещеры, что собственноручно нарисовал план ее и приказал тотчас устроить часовню! Об этом факте оповестили широко население, дабы оно знало, какие благочестивые пожелания могут увлекать князей лихих кавалеристов-наездников и поощрителей балетных талантов.

Дворец строился по проекту Штакеншнейдера, любимого архитектора Николая Павловича. Ловкий архитектор, умевший хорошо скомпоновать из разных проектов «нечто», что должно производить впечатление или «громкости», или «изящества», смотря, какой сюжет требовался. Штакеншнейдер в своих произведениях является ярким образцом архитектора упадочного времени, а Николаевский дворец, одна из последних его построек, тем более неудачна. Здание выстроено покоем, оно громоздко, неуклюже, приземисто — это совсем не дворец, а грузная, немножко украшенная трехэтажная казарма. Конечно, в нем была мраморная лестница, богатое антре, двухсветная зала с белыми колоннами, носившая название

«белоколонной», были различные «малиновые», «синие» и прочих цветов радуги гостиные, столовые и прочие покои. Живописью украшал дворец тоже небольшой художник Тихо-бразов, исполнивший 17 декоративных картин для парадной лестницы, а также несколько сюдепоров в других залах²¹¹.

По смерти великого князя Николая Николаевича его наследники — из них один из сыновей носил также имя Николая и звался, в отличие от своего отца, Николаем Николаевичем-младшим — не пожелали воспользоваться этим дворцом, и он был приобретен в казну, а 25 июля 1894 года²¹² вместе с 400 т. р. пожалован вновь открываемому Ксениевскому институту. Бывшие Романовы очень любили связывать события из своей личной жизни с актами, имеющими общегосударственное значение. Так, у императора Александра III подросла старшая его дочь Ксения, ей разрешили обвенчаться не с каким-либо иностранным принцем, а с дальним ее родственником, великим князем Александром Михайловичем — и в этом акте видели проявление государственной мудрости императора Александра III, и в ознаменование этого брака и повелено было открыть Ксениевский институт на несколько иных основаниях²¹³, чем обычные институты. Конечно, и этот институт предназначался для детей дворян, но попроще, поскромнее, и дочери этих дворян должны были получать и воспитание попроще: их должны были обучать не только наукам, но и прикладному знанию — бухгалтерии, писать на пишущих машинках, разного рода рукоделиям и т. д., чтобы, как говорилось в программе, окончив курс, институтки не чувствовали себя оторванными от жизни, а, наоборот, могли сразу проявлять свою трудоспособность...

Институт просуществовал вплоть до революции, причем маленькая характерная подробность: при перестройке великокняжеского дворца в институт конюшню перестроили в столовую институток, а манеж в дортуары, в самом дворце главные части были отведены под помещения начальствующих и учащихся...

Революция уничтожила институт, а бывший великокняжеский дворец заняло новое революционное учреждение: Дворец Труда. Здесь центр российского профессионального движения.

Наша задача кончена. Мы проследили историю небольшого уголка Петербурга за 200-летнее существования. И если подсчитать, сколько труда, человеческой энергии, сколько средств было затрачено при устройстве этого уголка Петербурга, то можно утверждать, что помещение здесь Дворца Труда вполне понятно. Да, действительно, слишком много труда затрачено. Фундамент вполне подходит к организации нового времени, к главному фактору новой жизни — всемогучему, всеоживляющему, всесозидающему человеческому *труду*.

Примечания

- ¹ *Немиров*. «Петербургская Биржа при Петре Великом».
- ² Материалы к истории русского флота. Т. III. С. 556.
- ³ Там же.
- ⁴ Описание С.-Петербурга и Кронштадта. С. 30.
- ⁵ Материалы к истории русского флота. Т. III. С. 419.
- ⁶ Архив бывшего Морского министерства. Дело Крюйса. № 8. Лл. 61, 65.
- ⁷ Опись Сенатского архива. Т. I. № 136.
- ⁸ Там же. № 138.
- ⁹ Архив бывшего Морского министерства. Дело Крюйса. № 33. Лл. 97, 138.
- ¹⁰ Материалы для истории Морского флота. Т. IV. С. 412.
- ¹¹ Там же. С. 422.
- ¹² Там же. Т. III. С. 567.
- ¹³ Архив бывшего Морского Министерства. Дело Адмиралтейской коллегии 1719 г. № 4. Лл. 430, 457, 479–481.
- ¹⁴ Дневник Берхгольца. Т. III. С. 45.
- ¹⁵ *Богданов-Рубан*. «Описание столичного города С.-Петербурга». С. 224.
- ¹⁶ Опись Сенатских указов Баранова № 681.
- ¹⁷ Цитируемое уже сочинение Богданова. С. 224.
- ¹⁸ Материалы для истории русского флота. Т. IV. С. 413.
- ¹⁹ Там же. С. 440.
- ²⁰ Опись Сенатских указов Баранова № 66, 77.
- ²¹ Материалы для истории русского флота. Т. IV. С. 617.
- ²² Архив бывшего Морского министерства. Дело Адмиралтейской коллегии 1729 г. № 10. Лл. 405, 406, 1097–1102.
- ²³ Там же. Дело Апраксина. № 253. Л. 88.

- 24 Там же. Указы Адмиралтейской коллегии. № 4 (III).
- 25 Там же. Указы Адмиралтейской коллегии. № 5 (III). Лл. 29, 50.
- 26 «С.-Петербургские ведомости». 1749 г. С. 168.
- 27 Там же. С. 608.
- 28 Там же. 1736 г. С. 335.
- 29 Там же. 1737 г. С. 56.
- 30 Архив бывшего Морского министерства. Дело гр. Чернышева. № 313. Лл. 34, 35, 45, 50, 174.
- 31 «С.-Петербургские Ведомости». 1791 г. С. 442.
- 32 Там же. 1794 г. № 45. С. 1065.
- 33 Там же. 1794 г. С. 1161.
- 34 Там же. 1794 г. № 81. С. 1965.
- 35 Там же. 1795 г. № 16. С. 328.
- 36 Там же. 1795 г. № 65–1442.
- 37 Там же. 1796 г. № 42–911.
- 38 Архив бывшего Морского министерства. Дело Кушелева. № 52, Лл. 120, 121.
- 39 Там же. Высоч. повел. № 65. Л. 288; № 66. Лл. 327, 323; Дело Кушелева. № 10. Лл. 1, 2, 10, 36, 37, 40, 41, 77; Дело Кушелева № 14. Лл. 8–10, 13, 14, 18–22, 62–72, 130–136, 146, 147, 157, 165–167, 181.
- 40 Там же. Дело Кушелева. № 29. Лл. 1, 53, 54, 89, 80.
- 41 «Северная пчела». 1847 г. № 263.
- 42 «Известия Городской думы». 1864 г. С. 965.
- 43 *Богданов-Рубан*. С. 162.
- 44 *Петров*. «История С.-Петербурга». С. 116.
- 45 «Русский Архив». 1875 г. С. 307.
- 46 Архив бывшего Морского министерства. Дела Адмиралтейской конторы № 76. Л. 318.
- 47 Полное собрание законов. № 2955.
- 48 Архив бывшего Морского министерства. Дело Апраксина № 110, Лл. 154–156.
- 49 Опись Сенатских указов Баранова. № 4283.
- 50 Там же. № 5174.
- 51 «С.-Петербургские ведомости». 1781 г. № 1. С. 2.
- 52 Там же. 1820 г. С. 675.
- 53 «Северная пчела». 1840 г. С. 272.
- 54 «Петербургская газета». 1867 г. № 20.
- 55 «С.-Петербургские ведомости». 1747 г. С. 582.
- 56 Там же. 1758 г. № 86.
- 57 Там же. 1774 г. № 85.
- 58 Там же. 1785 г. С. 1742.
- 59 Там же. 1764 г. № 87.

- 60 Там же. 1784 г. С. 90.
- 61 Там же. 1787 г. С. 1237.
- 62 Там же. 1784 г. С. 246.
- 63 Архив бывшего Морского министерства. Указы Адмиралтейской коллегии № 18. I. Лл. 687–696.
- 64 Историко-статистические сведения о петербургской епархии. Т. III. С. 39.
- 65 «С.-Петербургские Ведомости». 1744 г. С. 823.
- 66 Там же. 1747 г. С. 134.
- 67 Там же. 1761 г. № 31.
- 68 Там же. 1761 г. № 41.
- 69 Сенатский Архив. Т. XIII. С. 248.
- 70 Там же. С. 469.
- 71 «Старые годы». 1911 г. № 2. С. 40 и сл.
- 72 «С.-Петербургские Ведомости». 1815 г. Пр. № 74.
- 73 «Русский архив». 1869 г. Т. VII. С. 741.
- 74 «Северная пчела». 1832 г. № 241/242.
- 75 «Русская старина». 1900 г. Т. VI. С. 190.
- 76 «С.-Петербургские ведомости». 1835 г. № 142. С. 573.
- 77 Отчет Академии художеств 1872/73 г. С. 65.
- 78 Воронов. История л.-гв. Павловского полка. С. 275.
- 79 «Исторический вестник» Т. LVIII. С. 48. Воспоминание М. Ф. Каменской.
- 80 Общий архив бывшего Министерства двора. Оп. 352/1343. Д. 34. Л. 94.
- 81 «Русский биографический словарь». Т. «К». С. 40.
- 82 Русские портреты. С. 87.
- 83 «Русский архив».
- 84 «Исторический вестник». Т. LVIII. С. 48.
- 85 Там же. Т. XVIII. С. 667.
- 86 «Русский Архив». 1911 г. № 2. С. 586.
- 87 Там же. С. 588.
- 88 Там же. С. 568.
- 89 Опись Сенатских указов Баранова. № 4687.
- 90 «С.-Петербургские ведомости». 1756 г. № 79.
- 91 Там же. 1762 г. № 57.
- 92 «Северная Пчела». 1842 г. С. 157.
- 93 «С.-Петербургские ведомости». 1790 г. С. 1415.
- 94 Там же. 1790 г. С. 22.
- 95 Записки Порошина. С. 251.
- 96 Опись Сенатских указов Баранова. № 1794. «С.-Петербургские ведомости» 1756 г. № 4, 65; 1757 г. № 44; 1758 г. № 15.

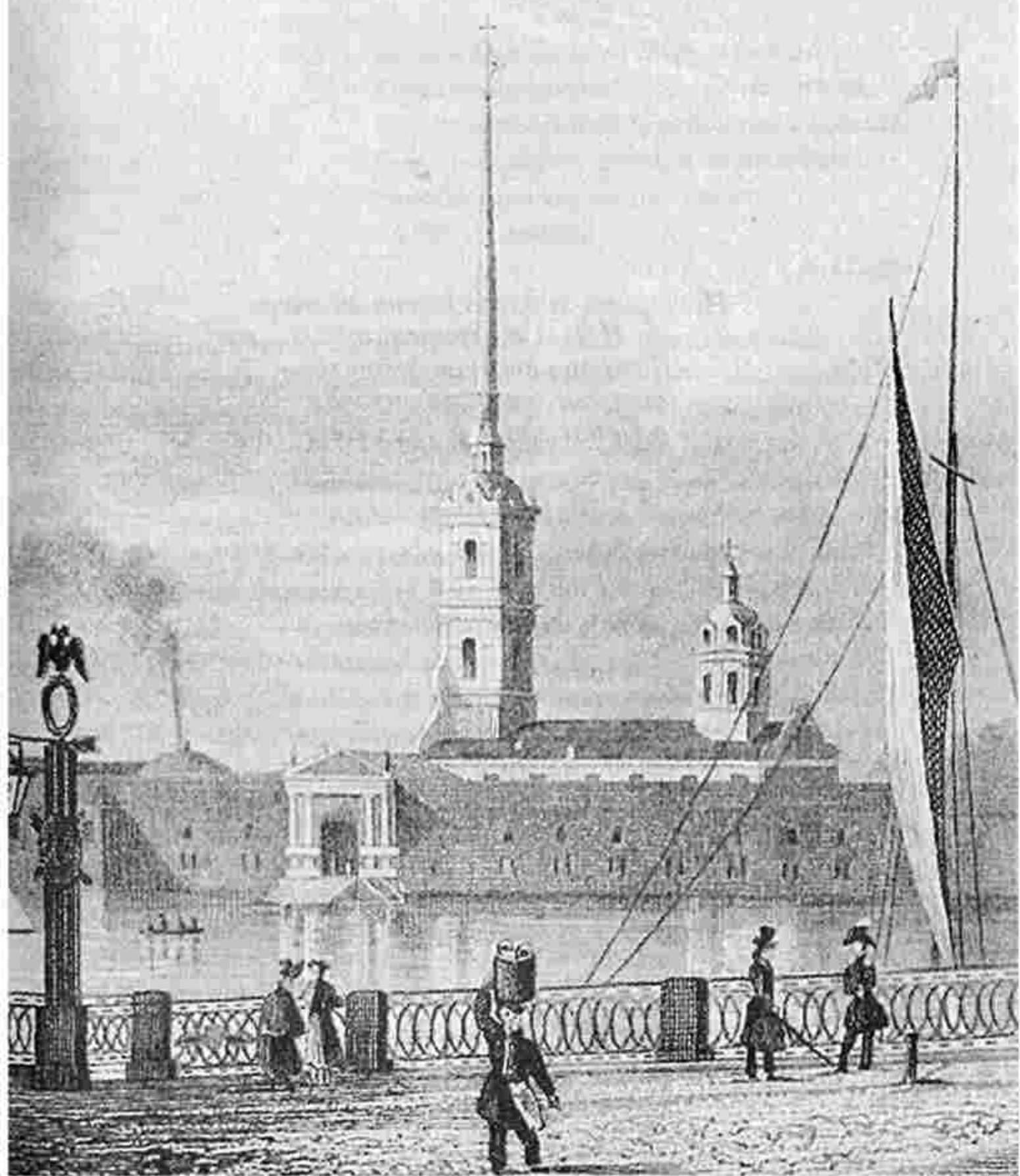
- 97 «С.-Петербургские ведомости». 1832. С. 1182.
- 98 «Северная пчела». 1832 г. № 282.
- 99 Там же. 1847 г. № 262.
- 100 Журнал. 49 с.
- 101 «С.-Петербургские ведомости». 1755 г. № 2.
- 102 Там же. 1821 г. № 53. С. 652.
- 103 Там же. 1819 г. С. 367.
- 104 «Северная пчела». 1852 г. С. 118.
- 105 «С.-Петербургские ведомости». 1852 г. № 72. С. 292.
- 106 «Северная пчела». 1812 г. С. 345.
- 107 Там же. 1842 г. С. 184.
- 108 «С.-Петербургские ведомости». 1845 г. С. 36.
- 109 «Северная пчела». 1842 г. С. 184.
- 110 Там же. 1842 г. С. 1077.
- 111 Там же. 1850 г. № 267.
- 112 Там же. 1850 г. С. 1059.
- 113 Историко-статистические сведения о петербургской епархии. Т. VI. С. 17.
- 114 Билярский. Материалы к биографии Ломоносова. С. 309.
- 115 «Северная пчела». 1848 г.
- 116 Адлер. Указатель С.-Петербурга 1823 г.
- 117 Табель домов, подлежащих $1\frac{1}{2}$ %-ному сбору. Спб. 1804 г.
- 118 «Северная пчела».
- 119 Бартенев П. И. И. Шувалов.
- 120 «С.-Петербургские ведомости». 1778 г. № 27.
- 121 Там же. 1718 г., № 23.
- 122 Там же. 1772 г. № 90.
- 123 Там же. 1784 г. С. 463.
- 124 Архив бывшего Морского министерства. Д. Мордвинова. № 13. Л. 488.
- 125 «С.-Петербургские ведомости». 1767 г., № 89.
- 126 Там же. 1777 г. № 86.
- 127 Там же. 1777 г. № 89.
- 128 Там же. 1773 г. № 85.
- 129 Там же. 1774 г. № 11.
- 130 Там же. 1777 г. № 97.
- 131 Там же. 1773 г. № 45.
- 132 Там же. 1773 г. № 102.
- 133 Там же. 1774 г. № 6.
- 134 Там же. 1780 г. № 6. С. 64.
- 135 Там же. 1769 г. № 67.
- 136 Там же. 1768 г. № 65.

- 137 Там же. 1772 г. № 99.
- 138 Там же. 1782 г. № 5–22.
- 139 Там же. 1782 г. С. 341.
- 140 *Грaбарь*. История архитектуры. Ст. 473, показан неверно 1786 г.
- 141 «С.-Петербургские ведомости». 1785 г. № 74. С. 1402.
- 142 Сведения о доме Ягужинского сравнительно немногочисленны, поэтому считаем возможным привести их здесь. Историко-статистические сведения. Т. VI. С. 17. «С.-Петербургские ведомости» 1758 г. № 82; 1762 г. № 71; 1763 г. № 52, 79; 1766 г. № 30, 71. Дело графа Мордвинова, архив бывшего Морского министерства. Д. № 13. Л. 488. «С.-Петербургские ведомости» 1767 г. № 81, 89, 90; 1768 г. № 27; 1769 г. № 1, 57, 67; 1770 г. № 3, 22, 27; 1772 г. № 51, 101; 1774 г. № 41; 1775 г. № 1, 11; 1776 г. № 9, 22, 47, 89; 1777 г. № 103; 1779 г. С. 1507, 1780; 1780 г. № 6; 1781 г. С. 205, 472, 572, 650; 1782 г. № 5, 44, С. 849 № 1785 г. № 11, 30, 74; 1790 г. бывший архив Министерства Двора. Оп. 312/1343. Д. 32. Л. 107; «С.-Петербургские ведомости» 1793 г. С. 641; 1799 г. С. 252, 1314, 1575.
- 143 «С.-Петербургские ведомости». 1781 г. С. 51; 1783 г. №№ 44, 50.
- 144 *Григорович Н.* Канцлер Безбородко.
- 145 «С.-Петербургские ведомости». 1810 г. С. 732.
- 146 Там же. 1862 г. № 223.
- 147 «Зодчий». 1875 г. № 12; 1876 г. № 10/12.
- 148 «Всемирная иллюстрация». 1874 г. № 300.
- 149 «Правительственный вестник». 1875 г. № 93.
- 150 «Северная пчела». 1843 г. С. 41.
- 151 Там же. 1845 г. № 265.
- 152 Там же. 1848 г. С. 609.
- 153 Там же. 1844 г. С. 1091.
- 154 Иллюстрация 1858 г. № 1. С. 2.
- 155 *Бахмутов*. Приказы.
- 156 «С.-Петербургские ведомости». 1794 г. С. 2210.
- 157 Там же. 1838 г. С. 997.
- 158 Там же. 1864 г. № 24.
- 159 Там же. 1825 г. № 25 и «Северная пчела» 1847 г. № 13.
- 160 *Бильбасов*. 161 с.
- 161 «С.-Петербургские Ведомости». 1782 г. № 42.
- 162 Там же. 1797 г. С. 1766.
- 163 «Северная пчела». 1810 г. № 107; 1812 г. № 12.
- 164 «С.-Петербургские ведомости». 1809 г. С. 344.
- 165 «Северная пчела». 1841 г. С. 958.
- 166 Неделя строителя. 1891 г. 318 с.

- 167 «С.-Петербургские ведомости». 1765 г. № 24.
- 168 Там же. 1769 г. № 73.
- 169 Там же. 1769 г. № 103.
- 170 Там же. 1770 г. С. 1342.
- 171 Там же. 1768 г. № 7.
- 172 Там же. 1769 г. № 68.
- 173 Архив бывшего Министерства Двора. Оп. 352/1343. Д. 36. Л. 21.
- 174 Анненков. «История Конного полка». С. 247.
- 175 «С.-Петербургские ведомости». 1804 г. С. 1531.
- 176 Анненков. С. 247, 248.
- 177 Бывший архив Инженерного управления. Д. № 1 о постановке иностранцем Трискорни к Конногвардейскому манежу конных групп.
- 178 «Северная пчела». 1850 г. № 208.
- 179 «Всемирная иллюстрация». 1886 г. № 930. С. 373.
- 180 Там же. 1878 г. № 494. С. 434.
- 181 «С.-Петербургские ведомости». 1842 г. С. 671.
- 182 Там же. 1842 г. С. 569.
- 183 Житков. «Биография инженеров». Т 1. С. 51.
- 184 «Северная пчела». 1845 г. № 83. С. 329.
- 185 Там же. 1845 г. № 249. С. 993.
- 186 Иллюстрация. 1845 г. № 31. С. 489.
- 187 «Северная пчела». 1846 г. № 216.
- 188 Там же. 1845 г. № 157.
- 189 Бывший архив Инженерного управления 1843 г. Дело об устройстве помещения для лейб-гвардии конного полка. 10 частей № 136.
- 190 Материалы для истории русского флота. Т. III. С. 558.
- 191 Архив бывшего Морского министерства. Дело гр. Апраксина. № 25. Лл. 100, 209, 406, 480.
- 192 Там же. Дело гр. Апраксина. № 178. Лл. 139, 140.
- 193 Там же. Дела Адмиралтейской коллегии 1720 г. № 39. Лл. 255–264. Там же. 1721 г. № 9.
- 194 Там же. Указы Адмиралтейств коллегии. № 2. Лл. 179, 199, 293; 548, 549.
- 195 Там же. Экспедиция над верфью. № 50.
- 196 Бывший архив Министерства Двора, портфель 1/1419. Д. № 127.
- 197 21 мая 1843 года появились первые подряд на постройку церкви.
- 198 Архив бывшего Инженерного управления, дело о постройке церкви. 1893 г. № 20 на 490 листах.
- 199 «Ведомости С.-Петербургской полиции». 1847 г. № 173.
- 200 «С.-Петербургские ведомости» 1847 г. № 132. Л. 607.

- ²⁰¹ Там же. 1756 г. № 54.
- ²⁰² Статистические сведения о С.-Петербурге. 1836 г. С. 282.
- ²⁰³ «С.-Петербургские ведомости». 1832 г. С. 886.
- ²⁰⁴ Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии. Т. VIII. С. 57.
- ²⁰⁵ Русский биографический словарь. Т. «А». С. 209.
- ²⁰⁶ «Северная пчела». 1859 г. С. 456.
- ²⁰⁷ Там же. С. 668.
- ²⁰⁸ Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии. Т. VIII. С. 56.
- ²⁰⁹ *Петров Л.* Путеводитель по церквам. С. 67.
- ²¹⁰ Историко-статистические сведения. Т. VIII. С. 59.
- ²¹¹ Энциклопедический лексикон. Т. 65. С. 288.
- ²¹² «Правительственный Вестник». 1897 г. № 94.
- ²¹³ «Всемирная иллюстрация». 1896 г. № 1525. С. 395.

Петропавловская крепость



Историко-художественный очерк
П. Н. Столянского
«Петропаловская крепость»
впервые был опубликован
в Петрограде в 1923 году



Петропавловская крепость



Когда я был отроком тихим и нежным,
Когда я был юношей страстно-мятежным,
И в возрасте зрелом, со старостью смежным,
Всю жизнь мою — снова, и снова, и снова —
Звучало одно неизменное слово:
Свобода! Свобода!

Н. Огарев

Почему среди Петербурга возникла Петропавловская крепость? — Кого должна она защищать? — Историческая справка. — Поражение Петра под Нарвой. — Передышка. — Поход Петра в Ингерманландию. — Осада Нотебурга. — Переименование его в Шлиссельбург. — Ниеншанц, нынешняя Охта. — Осада его. Рекогносцировка, произведенная Петром Великим. — Остров Енисари. Фарватер Невы. — Осада Ниеншанца. — Легенда о заложении Петербурга. — Пушкин и его стихи о Петербурге в поэме «Медный всадник». — Подделка под летописное сказание. — Иллюстрация этого сказания художником. Архивные данные. — Стратегические соображения. — Кронштадт.

Как производились работы Петропавловской крепости. Лустгольм, переименованный в Тейфельсгольм. — Страшная смертность среди рабочих. — Постройка земляных валов. — Описание крепости Берхгольцом. — Периоды постройки крепости. — Каменные бастионы. — План крепости, его описание. — Проект Ганнибала. — Обложение стен крепости гранитом. — Петровские ворота. — Другие входы в крепость. — Крепостной канал. — Петропавловский собор. —

Игра на курантах, находящихся на колокольне. — Пушка в адмиралтейский час. — Проект академика Делиля. — Шпиц и ангел Петропавловского собора. Постепенные переделки шпица. — Подвиг кровельщика Телушкина. — Петропавловский собор — царская усыпальница. — Официальные торжества в Петропавловском соборе.

Домик для петровского ботика. — Историческая справка о последнем.

Обер-комендантский дом. — История его постройки. — Следственная комиссия по поводу декабристов. — Зал в обер-комендантском домике, место суда над декабристами, петрашевцами, Каракозовым и некоторыми другими. — Воспоминания Якушкина.

Другие постройки крепости. Мельницы на валах. — Склады для вина, соли и провианта в крепости. — Воровство в крепости. — Монетное дело. — Тайная канцелярия.

Кронверк. — Проекты его расширения. — Переход в ведение Министерства финансов. — Училище торгового мореплавания. — Сенокос по валам Кронверка. — Склад артиллерийского имущества. — Артиллерийский музей.

Гласис крепости. — Казнь декабристов. — Устройство Александровского парка. — Ресторан Кремера. — Заведение искусственных минеральных вод. — Зоологический сад. — Попечительство о народной трезвости. — Ива Александровского парка.

Петропавловская крепость по словам Берхгольца. — Российская Бастилия. — Первые узники Петропавловской крепости: цесаревич Алексей Петрович, гетман Полуботок, русский писатель Посошков. — Примечания к очеркам Пругавина о Петропавловской крепости и справка о времени постройки Трубецкой тюрьмы. — Вельможные узники Петропавловской крепости елизаветинской эпохи. — Княжна Тараканова. — Радищев. — Семеновские солдаты. — Декабристы. — Петрашевцы.

Строительные работы в крепости. — Высочайшая милость о стульях с цепями. — Петербургские студенты в крепости — Михайлов, Чернышевский, Писарев, Шелгунов. — «Что делать?» Чернышевского и лучшие статьи Писарева.

Трубецкой бастион. — Его внешний вид. — Камеры Трубецкого бастиона. — Что представлял из себя Алексеевский рavelин. — Как переводили в него политических преступников. — Камеры. — Обстановка. — Сырость. — Одежда и белье. — Пища. — Прогулки. — Ирод Соколов.

Привоз в крепость. — Обращение на «ты». — «Надо раздеться». — «Надо подстричься». — Волчок. — Правила для содержания в крепости. — «Ты не один». — Стук. — Психология. — Главный лейт-мотив. — Детали. — Желание нирваны. — Цинга. — Ужас болезни и смерти. — Сумасшествие. — Самоубийства. — Садик Алексеевского рavelина.

Примечания.

Смело, дерзновенно, словно брошен вверх к бесстрастным небесам, изящный, тонкий, ярко блестящий шпиг Петропавловского собора — он весь порыв, сплошное стремление... и тем таинственнее, мрачнее кажутся выросшие из воды гранитные стены Петропавловской крепости... Зачем появилась среди города эта крепость, кого должны защищать ее твердые стены?... В самом деле, какое стратегическое значение имеет Петропавловская крепость — этот вопрос невольно должен зародиться в уме каждого петербуржца, когда он проходит по гранитным набережным Невы напротив крепости, или, взойдя на середину Троицкого моста, на мгновение остановится, очарованный дивной перспективой, раскрывшейся перед ним: стрелка Васильевского острова с ее Петровскою кунсткамерой (ныне библиотека Академии наук), с биржей Тома де Томона и двумя роcтральными колоннами, в центре — Петропавловская крепость, затем Петербургская сторона с прихотливым сочетанием Тамерлановой мечети, маленького, утонувшего в зелени сада домика Петра Великого и с величественной, массивной постройкой со шпилем, во вкусе былых голландских домов,

зданием нескольких городских школ, и, наконец, как заключение этой картины, протянувшийся на громадное расстояние, примитивный фасад бесконечно длинного здания бывшего сухопутного госпиталя постройки Трезини на Выборгской стороне... Стоишь и чувствуешь всю верность незабываемых пушкинских стихов:

...Люблю твой строгий, стройный вид...

Но для того, чтобы ответить на вышезаданный вопрос — почему и для чего появилась Петропавловская крепость — нужно покинуть современный Петроград и унести мыслью далеко-далеко, в седую даль времен, от нынешнего двадцатого века перейти к только что народившемуся восемнадцатому...

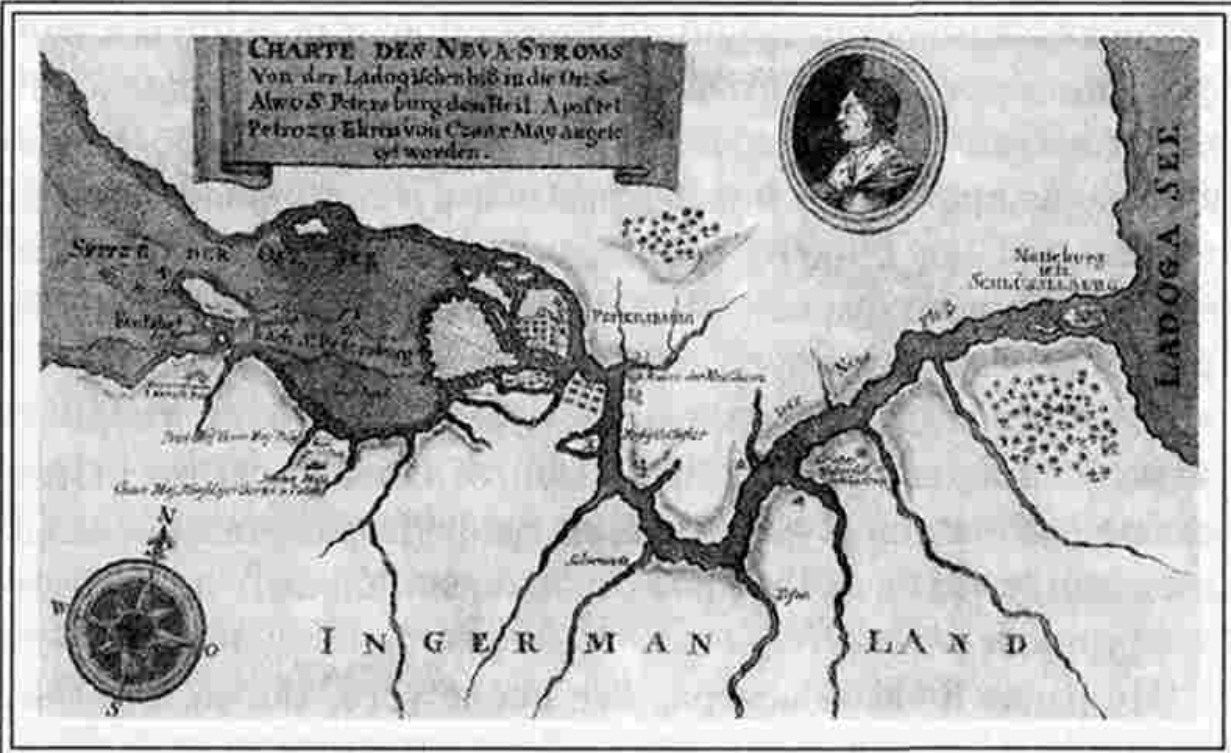
19 ноября 1700 года молодой, едва вышедший из юношеского возраста шведский король Карл XII разбил под Нарвой одного из членов составившейся против него коалиции России, Польши и Дании... Разбит был царь Московский Петр Алексеевич, его армия была чуть ли не поголовно уничтожена, значительная часть легла под стенами Нарвы, громадно количество было взято в плен, уничтожена артиллерия, воинские припасы. Поражение было, видимо, настолько громадно, что Карл XII пришел к выводу — роль Руси кончена, этот член коалиции должен считаться выбывшим из строя, на него не стоит более обращать внимания и надо сокрушать других врагов и, главным образом, Саксонию и Польшу — король польский Август II был в то же время и саксонским курфюрстом... И Карл XII, оставив для защиты прибалтийских провинций двух своих генералов Шлиппенбаха и Крониорта с 15-тысячным войском, дал Петру передышку — и юный монарх нарождающейся юной России воспользовался этой передышкой: создано было новое войско. Не было меди для пушек, но много было колоколов в старой Москве с ее сорока сороками церквей, в громадных монастырях христоробивой России, и колокола были превращены в пушки, они должны были по-иному заговорить. И с новосозданными силами, с новой армией Петр Великий решил на удар Карла XII ответить своим таковым же ударом и перенести борьбу в шведские

пределы, в Ингерманландию, которая, положим, всего только 200 лет в силу Столбовского мира, перешла во владение шведов и переименовала прошлое русское название — Ижорская земля — данное ей еще Великим Новгородом, на шведское Ингерманландия... И 26 сентября 1702 года войска Петра Великого обложили шведскую крепость Нотебург, древний новгородский Орешек, построенный в 1323 году на островке, лежащим при истечении реки Невы из Ладожского озера и густо заросшим орешником, отчего и крепость, основанная на нем, получила свое название — Орешек. Когда же крепость перешла к шведам, они перевели русское название на свой язык, и появился Нотебург, т. е. город ореха... «Правда, что зело жесток сей орех был, — писал сам Петр Великий об осаде Нотебурга, — однако ж, слава Богу, счастливо разгрызен...» С 10 по 15 октября крепость, тщательно блокированная русскими (особый отряд был переправлен на другой берег и прервал, таким образом, сношения крепости с Ниеншанцом, Выборгом и Кексгольмом, целая флотилия судов и лодок окружала Нотебург и по Неве и по Ладожскому озеру), подвергалась бомбардированию; 11 октября был «жестокий штурм», гарнизон понес громадные потери и сдался на капитуляцию. При сдаче комендант крепости, по обычаям того времени, поднес Петру ключ от ворот крепости, и Петр Великий велел прибить этот ключ над входом в западную башню, прозванную впоследствии Государева. Это прибытие ключа и дало повод не возобновить старое, уже утратившее свое значение название «Орешек», а дать крепости новое — Шлиссельбург — т. е. город-ключа... Взятием Нотебурга было только положено начало: истоки Невы опять оказались в русских руках; продолжение последовало весною следующего 1703 года. При завладении Ижорской землей шведы в 1632 году при впадении реки Охты в Неву выстроили крепость Ниеншанц, которая, таким образом, построенная почти в устье Невы, защищала конец этой реки. 23 апреля 1703 года генерал-фельдмаршал граф Шереметев с 20 000 войска выступил из Шлиссельбурга по дороге, правым берегом Невы; с Шереметевым были два полка гвардии — Преображенский и Семеновский, в числе 7 батальонов, под командою генерал-майора Чамберса, десять полков 2 батальонных

генерала Репнина, 10 батальонов генерала Брюсса, два полка драгунские и новгородские дворяне с окольным Петром Апраксиным. На другой день, не доходя 15 верст до Ниеншанца, Шереметев выслал водою на судах отряд в 2000 человек пехоты под начальством полковника Нейтгарда и Преображенского полка капитана Глебовского для производства рекогносцировки. В ночь на 25-е число отряд, прибыв к городу, напал на шведский пост в 150 человек, бывший у самого входа в крепость, и обратил его в бегство, захватив двух пленных. Некоторые люди из отряда взобрались даже на вал, но, не имея ни лестниц, ни ручных гранат, принуждены были отступить. Рано утром 25 апреля к крепости прибыл и сам фельдмаршал и расположился лагерем вокруг Ниеншанца. 26 числа была доставлена на судах осадная артиллерия в числе 16 мортир и 48 пушек, вслед за артиллерией прибыл и сам Петр, с ним адмирал Ф. А. Головин, постельничий Головкин, кравчий Нарышкин, думный дворянин Зотов, известный ливонский дворянин фон-Паткуль и генерал-адъютант польского короля полковник Ариштет. Сейчас же начались осадные работы: возводились окопы, устраивались батареи. Они продолжались 27, 28 и 29 апреля — штурм Ниеншанца был назначен на 30 апреля.

В это же время Петр «яко капитан бомбардирский» взял с собой на 60 лодках 4 роты Преображенского и 3 роты Семеновского полка, спустился вниз по Неве, к ее устью, на рекогносцировку.

Около нынешнего Смольного монастыря река Нева — как это ясно видно из прилагаемой карты дельты Невы — делает последнюю большую луку и затем, перед впадением в Финский залив, разделяется на три рукава: Невку, большую и малую Неву. Когда Петр Великий со своей флотилией выплыл на «простор большой реки» — а самое широкое здесь место около 1 версты, то, весьма естественно, перед ним возник вопрос: где же идет фарватер реки? Все ли эти три рукава судоходны, или фарватер идет по одному из них, а если так, то по которому? Нужно было, следовательно, прежде всего, разыскать этот фарватер, но делать это всей флотилией в 60 довольно больших лодок, конечно, неудобно. Нужно послать



Неизвестный автор. Карта Невы с обозначением крепостей Нотебурга, Шлотбурга (Ниеншанца) и Санкт-Петербурга. Первая четверть XVIII века

одну, две лодки, а остальным пристать куда-нибудь и подождать результатов, но куда пристать? И посреди Невы находился маленький островок (на котором сейчас построена Петропавловская крепость), оторванный каким-то неизвестным для нас геологическим переворотом от большого острова, в то время называемого Фомин остров, сейчас это Петербургская сторона.

Маленький островок носил у местных жителей название Енисари, что означало Заячий островок. И более чем вероятно, что Петр Великий со своею флотилией пристал к Енисари ожидать результатов промерки фарватеров.

А фарватер в Неве оказывается, шел довольно любопытно: судоходна была только большая Нева, при чем фарватер шел вдоль берега Васильевского острова до нынешней стрелки и здесь круто переходил на противоположный берег к современной Адмиралтейской стороне. Таким образом, если на островке Енисари поставить батарею или, что еще лучше, устроить крепость, то ни один из кораблей находящегося в Финском заливе шведского флота не сможет проникнуть в Неву, он попадет под обстрел этой батареи или этой крепости на острове Енисари.

И, следовательно, шведский флот не сможет попытаться вернуть Нотебург, уже взятый русскими, и, наконец, шведский флот тогда не сможет проникнуть в Ладожское озеро, где во многих местах строился зарождаемый русский флот. Это обстоятельство, удобное расположение острова Енисари относительно Невского фарватера, и было учтено Петром Великим при его рекогносцировке вечером 28 апреля 1703 года.

Около полудня 30 апреля на русских батареях, воздвигнутых у Ниеншанца, все было приготовлено для открытия бомбардирования. Фельдмаршал граф Шереметев послал к коменданту трубача Готфрита с увещательным письмом о сдаче города.

Не ранее 6 часов вечера, уже после того, как за ним был послан барабанщик, вернулся трубач с письмом от коменданта, который объявил, что будет защищать город, врученный ему королем для обороны. Около 7 часов вечера наши батареи открыли пальбу залпами из 20 пушек 24-фунтовых и из 12 мортир; бомбардирование продолжалось непрерывно до 5 часов утра 1 мая, когда в крепости дали сигнал о сдаче — «стали бить тамад». После того стрельба прекратилась, для открытия переговоров из крепости высланы в наш лагерь «аманатами» капитан и поручик, а от нас отправлены заложниками от Семеновского полка капитан, а от Преображенского — сержант. Переговоры затянулись. Из крепости выслан майор с просьбой отложить сдачу до 10 утра следующего дня, но Шереметев отвечал сурово, требуя дать ответ немедленно. Против предложенных пунктов капитуляции Петр сделал собственноручно свои замечания. В окончательном договоре решено было: сдать русским Ниеншанц в то же день 1 мая, гарнизону «с 4 железными пушками и всяких чинов шведским людям отступить к Нарве с распущенными знаменами, с драгунским знаком, с барабанным боем, с верхним и нижним ружьем и с пулями во рту». Вечером в 10 часу Преображенский полк введен в крепость. На другой день, в воскресенье 2 мая, в лагере был отслужен благодарственный молебен при троекратной пальбе из пушек и ружей.¹

Однако, несмотря на заключенный договор, гарнизон Ниеншанца не был отпущен 1 мая, его освободили только 9 мая,

и причем отпустили не в Нарву, а в Выборг. Неделя замедления объяснялась довольно просто: в устье Невы взошли шведские суда. Петр Великий решил ими завладеть. Весьма понятно, что в тот политически важный момент нельзя было выпускать вражеский отряд. 10 мая 1703 года праздновали только что одержанную морскую викторию и после этого решили приступить к заложению Петербурга. Здесь мы встречаемся с легендами. Бороться с легендами — дело безнадежное, легенда в массе сильнее самых строгих, логических доказательств, и опровержение обыкновенно усиливает власть легенды. Вполне сознавая данное обстоятельство, мы все-таки считаем нужным доказать неправильность той легенды, которой окружен факт основания Петербурга.

Легенда эта воплотилась и в дивных стихах великого русского поэта, и в подделке под летопись, в описании заложения, наконец, и в произведениях кисти художников.

Поэт с такой поразительной силой нарисовал нам картину создания Петербурга. Помните,

На берегу пустынных вол
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел...

....

И думал он: отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу,
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно!

Таким образом, Петр Великий задумал Петербург как окно в Европу, для этой цели он стремился на устье Невы, для этой цели он и начал войну со шведами. Этот поэтический образ гипнотически действовал и на других исследователей, повторявших то, что сказал поэт. И в рассказе о самом заложении Петропавловского собора повествовалось нижеследующее: «Осматривая остров Енисари, Петр I взял у солдата башнет, вырезал 2 дерна и, положив их крестообразно, сказал: «Здесь быть городу», затем взял заступ, и первый начал копать ров; в это

время в воздухе появился орел и стал парить над царем. Когда ров был выкопан около двух аршин, в него 16 мая 1703 года, в день Святой Троицы, поставили ящик, высеченный из камня; духовенство окропило этот ящик святой водой, государь поставил в него золотой ковчег с частью мощей святого апостола Андрея Первозванного; после того царь прикрыл ящик каменной доской, на которой была вырезана следующая надпись: «От воплощения Иисуса Христа 1703 года мая 16 основан царствующий град Санкт-Петербург великим государем царем и великим князем Петром Алексеевичем, самодержцем всероссийским». Как видим, восстанавливаются самые мелкие подробности: тут и ящик с мощами Андрея Первозванного, тут и каменная плита с соответственной надписью, такие, хотя мелкие, но настолько характерные подробности, что невольно верится рассказу, рассказ принимает характер безусловной правды. Этот рассказ в 1903 году, в год двухсотлетия со дня основания Петербурга, послужил темой для художника, и в очень распространенном в то время журнале «Нива» появился рисунок, который, таким образом, укреплял в массах вышеуказанную легенду об основании Петербурга. Правда, уже при первом взгляде на рисунок появляются некоторые недоумения, особенно относительно орла. С одной стороны, в Петербурге редко бывают орлы. Эта птица только случайно прилетает сюда, предоставляя право господствования здесь воронам да галкам, а, с другой стороны, при виде орла, парящего над полководцем, невольно вспоминаются слова Наполеона, что всякий умный полководец должен возить с собой в клетках двух-трех ручных орлов, которые и должны быть выпускаемы в надлежащие моменты.

Если от стихов поэта, от бытописания летописцев, от картин художников обратимся к архивным данным, то увидим, что 16 мая 1703 года, в день основания Петербурга, Петра Великого не было на островке Енисари. Будущая Петропавловская крепость была заложена Меншиковым без Петра Великого, следовательно, не было и той церемонии закладки, которая с такими очевидными подробностями описана в первоначальной летописи Петропавловского собора. Петр Великий в это время ездил по Ладожскому озеру, осматривая новостроящиеся корабли, а крепость, значение которой описывалось выше,

поручил заложить своему любимцу Меншикову. Закладывалась — еще и еще раз подчеркиваем — крепость, которая должна была защитить вход в Неву, в Ладожское озеро, но вовсе не будущая столица, вовсе не окно в Европу. Спустя много времени, после Полтавской победы, Петр Великий пишет Апраксину: «Ныне уже совершенно камень в основание Санкт-Питер-бурха положен с помощью Божией». Проходит немного времени, удачное сражение при Переволоцке позволяет Петру I обрадовать своего кесаря, своего заместителя в управлении государством вследствие частых отлучек, князя Ф. Ю. Ромодановского следующей весточкой: «Ныне уже без сумления желание вашего высочества еже резиденцию вам иметь в Питер-бурхе совершилось через сей упадок конечной неприятеля» — как видим, речь идет уже о резиденции страны, т. е. о столице. Но только после взятия Выборга, подушки для Петербурга, по образному выражению Петра, положение Петербурга стало вполне устойчивым, и он с 1712 года становится постоянной резиденцией не только царя, но и его семейства, которое с этого года переселяется сюда на постоянное пребывание, и если нам хочется отыскать юбилейную дату для Петербурга, как столицы бывшей Российской империи, то таковой, безусловно, должен считаться 1712 год, а в 1703 году 16 мая появилась лишь крепость, ограда от шведского флота. Поздно осенью того же 1703 года, после того как шведский флот ушел на зимнюю стоянку, Петр Великий стал производить промер в Финском заливе около острова Котлин, иначе прозываемого Retti-saari, что значит Крысиный остров. Промер этот показал Петру Великому, что если на Котлине и прилегающих мелях заложить крепость, то вход из Финского залива в Неву будет окончательно закрыт — и зимой 1704 года воздвигается форт Кроншлот и первые укрепления острова Котлин, и шведскому флоту делается необходимая преграда. И та роль, которую по первоначальному проекту должна была играть Петропавловская крепость, перешла всецело к заложенному Кронштадту. Существование Петропавловской крепости как крепости стало очевидно ненужным, тем более, что и на суше шведы, будучи оттесняемы все дальше и дальше вглубь Финляндии, не могли беспокоить Петербург.

Но Петропавловская крепость, лишенная стратегического значения, понравилась Петру Великому, как декорация, как украшение новосоздаваемой столицы. И вместо того, чтобы скрыть валы, уничтожить крепостные верки, Петр Великий стал их укреплять, стал заботиться об их прочности и красоте. А вскоре Петропавловская крепость понадобилась Петру как государственная тюрьма, и эту последнюю роль она исполняла в течение двух веков с 1718 по 1917 год, по год Великой русской революции.

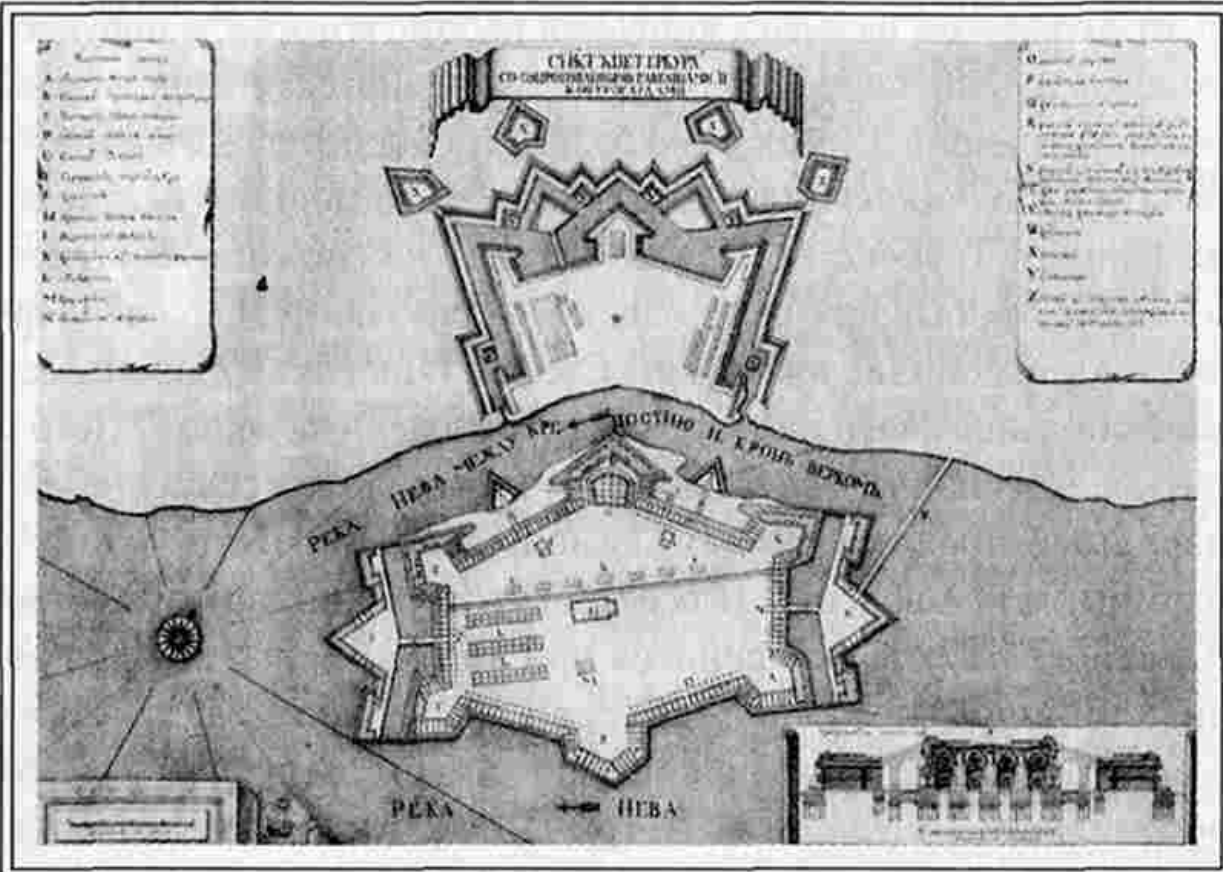
Вот те соображения, которыми нужно руководствоваться петербуржцу, когда он проходит мимо Петропавловской твердыни, историю которой мы и думаем развернуть перед читателем на предлагаемых вниманию страницах...

16 мая 1703 года все же показали первые признаки жизни на островке Енисари, которому народная молва приписывала еще два названия. Этот островок, когда дельта Невы перешла во владение шведов, был пожалован одному из шведских магнатов. Последний решил устроить здесь для себя летнее развлечение. Поселил несколько семей крестьян из своей наследственной деревни, приказал устроить для себя мызу, развести увеселительный сад и дал этому островку название «Лустгольм», т. е. увеселительный остров. Но подошла осень, и нахлынувшее наводнение залило увеселительный остров и смыло и мызу шведского магната (предание называет графа Стенбока²), устроенный им увеселительный сад и деревню крестьян. Рассердился шведский магнат и переименовал свой Лустгольм в Тейфельегольм, т. е. чертов остров. Итак, на Енисари (или Лустгольме, или Тейфельегольме) 16 мая 1703 года началась работа. Первое достоверное известие об этой крепости мы имеем от 4 октября 1703 года. В «С.-Петербургских ведомостях» на это число помещено такое известие³: «Из Риги от 24 августа: Его Царское величество по взятии Шлотбурга (т. е. Ниеншанца, нынешней Охты. — П. С.) в одной миле оттуда ближе к восточному морю, на острове новую и зело удобную крепость построить велел, в ней есть 6 бастионов, где работали 12 000 человек подкопщиков и тое крепость на свое государское именование прозванием Петербургом обновить указал». С этим современным известием нужно сравнить

другое такое же, но несколько более позднее, находящееся в «Описании С.-Петербурга и Кроншлота в 1710 и 1711 годах». Это описание вышло в 1713 г. в Лейпциге и принадлежало перу барона Гюйсена, петровского дипломата, главной обязанностью которого было, выражаясь по современному, информировать Европу того времени с начинаниями Петра, причем, конечно, требовалось представлять эти начинания как можно в более привлекательном виде. Весьма понятно, что и это второе по времени известие не содержит тех неприятных сообщений, с которыми мы встречаемся в записках Берхгольца. Берхголец, камер-юнкер, приехавший с герцогом Голштинским, которому Петр Великий обещал выдать в жены одну из своих дочерей, но какую именно, царь долгое время не говорил, и бедный герцог влюбился в Елизавету, а получил себе в жены Анну. Так вот, Берхголец, бывший в свите этого герцога, как аккуратный и совестливый немец, вел во все время пребывания своего в Петербурге точный и тщательный дневник, куда записывал все, что случалось с герцогом и с ним лично. Так как Берхголец не думал дать своему дневнику какое-либо практическое применение, то он записывал в дневнике довольно откровенно, не стесняясь. И под 7 августа 1721 года³ он написал следующее: «Крепость С.-Петербург, где находится колокольня, построена у самой Невы и имеет несколько толстых и высоких каменных бастионов, уставленных большим числом пушек. Говорят, что сооружение ее, которым очень спешили, стоило множества народа, что, при тогдашней необыкновенной дороговизне съестных припасов и недостатков в одежде, люди как мухи умирали от голода и холода и там же хоронились. Со стороны твердой земли она не так красива и далеко не так укреплена, как со стороны реки, потому что обнесена только валом и рвом. Однако ж защищаться может довольно долго».

Таким образом, Берхголец впервые подчеркнул то обстоятельство, что при постройке крепости «люди мерли как мухи». И не мудрено: работать приходилось чуть ли не по пояс в воде, производя большую часть земляных работ вместо лопат руками, а за неимением землевозных тачек, мешков и подвод, переносить вырытую землю в подолах своих рубах. Сохранился,

между прочим, следующий современный документ, заметка графа Апраксина на одном из рапортов: «Зело ужасает меня включенная роспись об умерших и больных солдатах, и отчего такой упадок учинился, не может рассудить»⁵. Уж если современники, которые, конечно, отличались бóльшим хладнокровием, чем достаточно сентиментальный немец Берхгольц, «зело ужасались», то мы можем себе представить, насколько действительно была велика смертность. Для построения крепости были назначены войска генерала Репнина, новгородцы, олончане, ингерманландцы и карелы, которые, по требованию 6 февраля 1703 года⁶, были предназначены для Шлиссельбурга. К ним присоединено было потом значительное число казаков, татар, калмыков и пленных шведов. Указом от 1 марта 1704 года в Петербург должны быть высланы 40 тысяч рабочих из 85 мест России, причем эти рабочие делились на три смены: первая — с Благовещения до 25 мая, вторая — с 25 мая по 25 июля, третья — с 25 июля по 25 сентября. Постройка Петербургской крепости, а затем и самого Петербурга стала новым налогом, новой повинностью для всего российского населения. Этот порядок практиковался до 21 декабря 1715 года⁷, когда появился указ «О раскладке работ по Петропавловской крепости на все губернии по долям, за исключением Санкт-Петербургской». Здесь был проведен некоторый принцип более равномерного распределения, причем Петербургская губерния, бывшая долгое время ареной военных действий, выносящая на себе все тяготы тогдашнего способа ведения войны, была выделена и избавлена от необходимости поставлять рабочую силу. Порядок принудительной присылки рабочих практиковался почти до самой смерти Петра Великого, хотя в последние годы параллельно с ним был и наем рабочих, и сдача работ подрядом. Вообще же постройку крепости можно разделить на 5 периодов. Первый, самый короткий и интенсивный, с 16 мая 1703 года по 4 октября того же года, или, вернее, по 4 апреля 1704 года; второй — с 1706 года по год смерти Петра; третий — с 25 сентября 1727 года, когда появился указ об окончании в течение следующего лета постройки болварков⁸, по 1733–1734 года, когда произошло окончание постройки Алексеевского и Иоанновского рavelинов⁹; четвертый — с 1753



Б.-Х. фон Миних. Санкт-Петербург с опробованными рavelинами и контргардами. Проектный чертеж. 1730 год

по 1756 года, и наконец, пятый, падающий на царствование императрицы Екатерины II и десятилетие с 1777 по 1787 год.

В первый период строились земляные валы по проекту Ламбера, французского уроженца, который с 1701 года вступил на русскую службу, был при осаде Нотебурга и распоряжался осадными рабочими при взятии Ниеншанца. Крепости, как мы видели выше, приписывали большое значение и с работою не торопились: есть указание, что валы были закончены 4 октября того же года, но в то же время подчеркивалось, что 4 апреля 1704 года¹⁰ «на государевом раскате, в великий четверг, зажегся маячный фонарь» — таким образом, это последнее число можно считать за полное окончание всех работ, т. е. были возведены не только валы, но поставлены пушки, крепость была окончательно вооружена и могла служить в то же время и маяком для тех судов, которые с начала навигации ждались из Западной Европы. В таком первоначальном виде крепость просуществовала до 3 мая 1706 года¹¹, когда заложили в Питербурхе болварк князя Александра Меншикова камнем, и был того дня банкет в доме Его Величества.

С этого времени началась каменная работа, которая, в противоположность поспешности устройства земляных валов, велась очень медленно. 13 мая 1708 года¹², т. е. через два года после начала работ произошло заложение 2-го каменного бастиона, названного Трубецким. Первый камень в основание бастиона положил прибывший сюда с царем местоблюститель патриаршества митрополит рязанский Стефан (Яворский), произнеся замечательное слово на текст «Глас Господень на водах». Петр в письме к Меншикову отозвался, что митрополит сказал: «Зело изрядный предик». Второй камень заложил Петр, 3 и 4 — царицы, затем царевны и все присутствующие на торжестве. Каменные работы, начавшиеся при Петре, далеко не окончились при нем. 15 июня 1725 года¹³ Екатерина I закладывает каменный бастион Нарышкина, а от имени следующего главы российского государства Петра II, как мы и видели выше, издается распоряжение, чтобы каменные работы были закончены в течение 1727 года, но это распоряжение, видимо, не достигло своей цели, так как его пришлось вскоре повторить в несколько иной форме. 7 февраля 1728 года¹⁴ появился указ об окончательной отделке Санкт-Петербургской крепости. С такими понудительными мерами удалось закончить постройку каменных стен только к 1733–1734 годам, и то только вследствие большой энергии нового строителя — графа Миниха.

Из плана крепости видно, что она имела вид неправильного шестиугольника, состоящего из шести бастионов. При постройке земляных валов Петр распорядился, чтобы постройкою каждого из бастионов заведывал под личной ответственностью один из его приближенных. Этой мерой Петр Великий думал достигнуть успешности в постройке крепости. Бастионы и в каменной крепости сохранили имена наблюдателей за постройкой земляных валов. Царский был на Неву, направо от моста с Троицкой площади, по левую сторону этого моста бастион носил сперва название Меншиков, но когда последний был свергнут, лишился своей власти и отправился в ссылку, то это бастион был переименован в бастион Петра¹⁵. Бастион в середине, к Неве, где при Екатерине II была устроена пристань, носил имя строителя Кирилла

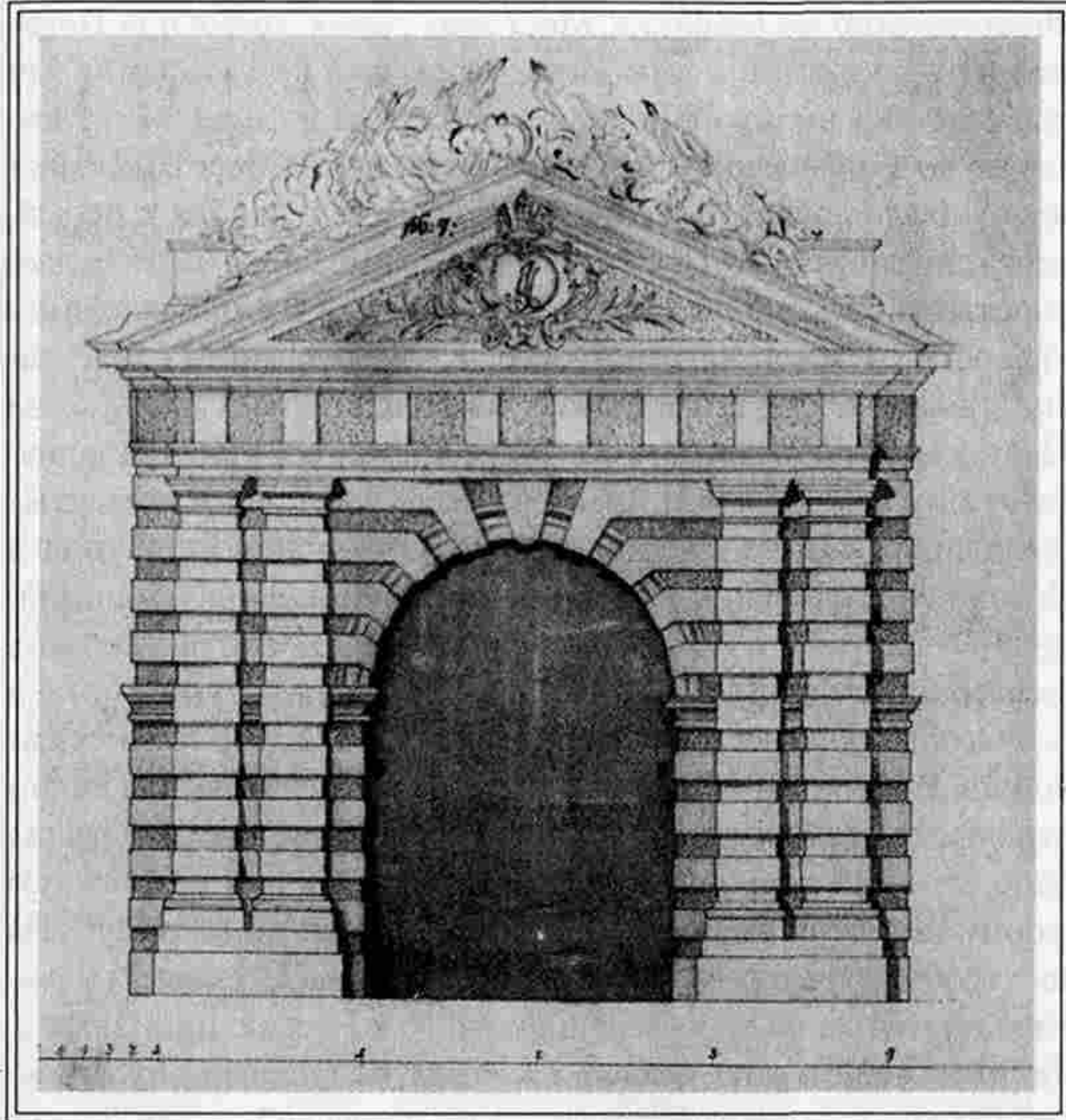
Алексеевича Нарышкина; противоположный ему, обращенный к Кронверку, бастион Головкина; к нынешнему Зимнему дворцу был обращен на Неву бастион Трубецкого, а к Мытному двору — Никиты Моисеевича Зотова¹⁶. Уже Минихом для большего укрепления крепости были устроены два рavelина. Первый носил имя Иоанновского рavelина, 20 июня 1731 года была завершена его закладка¹⁷. Вторым назывался Алесеевским, он был начат постройкой 20 июня 1733 года, т. е. через два года после Иоанновского¹⁸. Название второго рavelина обычно связывают с именем Алексея, сына Петра I, но это неправильно, этому рavelину было дано название в память деда императрицы Анны Иоанновны, Алексея Михайловича, так как первый рavelин получил свое прозвище в честь отца царицы, брата Петра, Иоанна Алексеевича. Добавим, что 3 мая 1706 года для большей силы крепости было приступлено к устройству на Петербургской стороне земляного укрепления Кронверк.

Казалось, что к 30-м годам XVIII столетия строительные работы в крепости окончились, земляные валы превратились в кирпичные, рavelины и Кронверк дополнили тот пробел, который был допущен первоначальным планом устройства крепости. Но работы не прекратились. Лица, постепенно сменявшие прежних главарей, считали своим обязательным долгом проявить свои способности в работе над Петропавловской крепостью. В 1750–1756 годах произошла перестройка крепостных верков по проекту Ганнибала¹⁹. От этой перестройки сохранились некоторые характерные подробности, привести которые мы считаем вполне уместным. 25 января 1751 года требовалось доставить в крепость 1 132 000 кирпичей с платою менее 2 р. 59 к. за тысячу²⁰, в следующем же году понадобились бревна длиною 3 сажени, толщиной 6–7 вершков в количестве 10 634 штук, по цене 25 р. 50 к. за сто²¹. И, наконец, в 1753 году должны были подвезти 43 919 $\frac{1}{2}$ бочек извести боровицкой; 651 $\frac{1}{2}$ бочки свиноецкой и 14 499 саяской²² — по этим данным видно, что постройка велась в больших размерах. Перестроенные таким образом стены крепости просуществовали до Екатерины II. Время делало свое

дело: от ветра, непогоды кирпичные стены стали выветриваться и мало-помалу приняли очень непрезентабельный вид. В 1777 году в штабе генерал-фельцейхмейстера началось новое дело — «Об обложении Санкт-Петербургской крепости камнем»²³, а 5 февраля 1778 года было ассигновано из кабинета 100 000 рублей на исправление здешней крепости²⁴. Очень любопытно сравнить количество рабочих, употреблявшихся при этой переделке, с первоначальным количеством. Как помнит читатель, в первый год существования крепости над нею работали 12 000 человек, затем это число было увеличено до 40 000 человек, в 1779 году²⁵ требовалось при одевании Санкт-Петербургской крепости каменотесцов первой и второй руки 100 человек, валовых работников 160 человек и кузнецов 7 человек, с платой в месяц первым по 8 рублей, вторым по 6, третьим по 12 рублей. Весьма понятно, что работа затянулась почти на 10 лет, оказалось недостаточно и ассигнованной суммы, и 2 декабря 1785 года²⁶ «на окончание одежды с.-петербургской крепости в течение двух лет пожаловано из кабинета 117 875 р. 66 к.», таким образом, общий расход выразился в 217 875 р. 66 к.

Это была последняя значительная перестройка Петропавловской крепости. С того времени стены крепости требовали только незначительного ремонта. Император Павел, вступив на престол, поручил «полковнику Герарду осмотреть крепостное строение и недостаточное исправить»²⁷. Но дело ограничилось одним осмотром. Затем осматривали и приводили крепость в оборонительное положение перед нашими большими войнами — с Наполеоном и во время Крымской кампании²⁸, но эти начинания касались главным образом вооружения крепости, его увеличивали, привозили новые орудия, стены же оставались без изменения.

На постройке этих стен до известной степени рельефно выразились те способы, которые практиковались и относительно всего Петербурга. Построили крепость как будто временно, земляной — устроили Петербург сперва временно, на Петербургской стороне. Затем начинается период, если так можно выразиться, реформ. Всякий, кому не лень и кто имеет, по своему положению, возможность, начинает выказывать свои знания над Петропавловской крепостью, начинаются



Б.-Х. фон Миних. Иоанновские ворота. Наружный фасад. 1740 год

ее бесконечные перестройки, тратится масса энергии, масса человеческих сил, масса средств. Но зачем эти перестройки, каков их реальный смысл? Почему Екатерина II одевает стены крепости гранитом? Чтобы дать этой крепости красивый вид. Чтобы усилить декорацию, но вовсе не из-за истинных необходимых потребностей этой крепости. Так точно было и в общей истории Петербурга: цельного продуманного плана для его построения не было, и через несколько лет уничтожалось и разорялось то, на что были потрачены громадные средства.

Крепость находилась, как мы знаем на островке, и этот островок соединялся с материком, с Петербургской стороной, с помощью моста, который шел к Иоанновским воротам

Иоанновского же равелина. Мост этот первое время при Петре Великом, как и все мосты Петербурга, был подъемным. Судя по представленному нами плану²⁹, мост этот не вполне соответствует по направлению сейчас существующему. Через этот мост можно было попасть в Иоанновский равелин, пройдя который, через другой новый мост, через так называемые Петровские ворота, попадали в самую крепость. Первоначально входом в крепость служило четверо ворот. Кроме указанных Петровских ворот, были так называемые Невские, выходившие на Неву, к ним подъезжали на лодках, третьи ворота вели к знаменитому впоследствии Алексеевскому равелину, и четвертые были прорезаны в куртине между бастионами Головкина и Зотова и назывались Никольскими, специальное их назначение — устройство вылазок в случае нападения на крепость с северной стороны.

Особый интерес должны, конечно, возбуждать Петровские ворота. Рассматривая панораму Зубова «Петербург», мы видим эти ворота приблизительно того же очертания; таким образом, ясно, что они сохранили свою первоначальную петровскую форму, несмотря на то, что были перестроены в 1749 году³⁰. На них особенно интересен рельеф работы Карла Осснера, скульптора и резчика на дереве, выписанного в Россию при Петре I. Таким образом, этот рельеф является, безусловно, одним из многих сохранившихся памятников петровской эпохи. Другие ворота, Невские, было приказано выстроить указом 13 марта 1731 года³¹ «О постройке ворот с архитектурными украшениями посреди куртины С.-Петербургской крепости к водяной стороне». Этот уголок Петропавловской крепости у Невских ворот является памятником строительных работ трех императриц: Екатерины I, Анны Иоанновны и Екатерины II. Екатерина I собственноручно заложила 15 июня 1725 года каменный бастион Нарышкина, который впоследствии этого недолго носил ее название, сохранившееся, положим, в наименовании куртины, она и теперь зовется Екатерининскою. На валганге этого бастиона была устроена беседка, откуда Екатерина часто любовалась панорамой строящегося Петербурга. Затем, Анне Иоанновне принадлежит мысль устройства здесь ворот, к которым была сделана плохонькая деревянная пристань.



Первоначальная С.Петербургская крепость

Н. Челнаков. Деревянная церковь Ап. Петра и Павла. 1779 год

Эта последняя и была перестроена при Екатерине II в 1774 году. 11 апреля этого года вызывались желающие «за постройку при С.-Петербургской крепости у Невских ворот каменной пристани из казенных материалов своими рабочими взято ниже 8 т. р.»³²

Крепость должна была служить прибежищем, если шведы нападут на Петербург, и для обеспечения крепости во время осады еще в то время, когда строились земляные валы, был проведен через всю крепость канал. С помощью этого канала осажденные в крепости, при осаде, не должны были испытывать недостатка в воде. Канал этот Петр Великий сохранил и впоследствии, когда он потерял свое практическое значение. «12 декабря 1717 г. вице-адмирал изволил отдать чертеж полковнику Норову о строении в крепости канала.»³³ Когда был закопан этот канал, мы, к сожалению, не могли установить, нужно думать, что в царствование Екатерины II — на плане 1753 года, копию которого мы воспроизводим, канал еще показан существующим.

В журнале Петра Великого³⁴ под 1 апреля 1704 года записано: «В сей день, то есть в неделю входа в Иерусалим, было в санктпетербурге освящение новопостроенной церкви во имя апостола Петра, на котором освящении были Новгородский митрополит Иов и архимандриты при нем будучи той новгородской епархии». Таким образом, почти одновременно с окончанием земляных валов и вооружением крепости был закончен первый собор и первая церковь Петербурга, заложенная 29 июня 1703 года³⁵.

Неказист и некрасив был этот деревянный храм, первенец нарождавшейся столицы, таким он оставался до 8 июня 1712 года³⁶, когда на том же месте был заложен новый каменный собор. Этот собор должен был быть однопрестольным, иметь форму «корабля», т. е. представлять в плане удлиненный четырехугольник, в начале которого возвышается высокая колокольня, соответствующая мачте этого храма-корабля. Безусловно, в этом плане была заключена следующая идея Петра Великого: к 1712 году положение Петербурга определилось, это уже не временный бивуак, это не только крепость, запирающая вход в Неву, но это столица будущей Российской

империи, это тот город, который должен служить связью между Европой и зарождающейся Россией, это, высказываясь иносказательно, тот корабль, который выведет Россию на простор политической жизни. Символом этого и должен был служить главный собор города, собор, носящий имя патрона Петра Великого, поэтому-то он строится по плану корабля, поэтому-то он должен иметь высочайшую колокольню. И сама постройка этого собора должна была производиться так, что невольно вызывала недоумение. В письме к князю А. М. Черкесскому, который заведывал постройками, Петр Великий пишет³⁷: «На колокольне, которая в городе (т. е. в крепости. — П. С.), как можно скорее отделать в будущем 1716 году, возможно на оной часы поставить, а церковь делать исподволь», т. е. работы делились на две очереди: постройка колокольни и постройка самой церкви. Последняя может идти не торопясь, но колокольню нужно закончить как можно скорее, чтобы Петр Великий мог взойти на нее и полюбоваться открывающимся с нее видом. И, действительно, 20 августа 1720 года Петр со своими приближенными мог взойти на верх Петропавловской колокольни, которую почти в то же время, 7 августа 1721 года³⁸, следующим образом описал уже указываемый нами Берхгольц: «В 12 ч. утра, все мы, оставшиеся дома, целым обществом всходили на колокольню в крепости, чтобы послушать игру курантов, положенную в это время, и посмотреть на панораму Петербурга. Колокольня эта самая высокая в городе. Чрезвычайно любопытно поглядеть там на игру музыканта, особенно тому, кто не видывал ничего подобного. Я, впрочем, не избрал бы себе его ремесла, потому что для него нужны твердые и сильные телодвижения. Не успел он исполнить одной пьесы, как уже пот градом катился с его лица. Он заставлял также играть двух русских учеников, занимающихся у него не более нескольких месяцев, но играющих уже сносно. Большие часы играют сами собою каждые четверть и полчаса». В этом описании, между прочим, любопытно указание на то, что при Петре Великом в 12 часов дня, «в адмиралтейский час», не ударяла пушка, которая и в настоящее время обозначает для петербуржцев наступление полдня, а производилась игра на курантах. Обычай пушки

со стен Петропавловской крепости появился много позднее. В самом конце 1735 года³⁹, 22 декабря, бывший при Академии наук академик Делиль вошел в конференцию Академии с «полезным проектом, чтобы дать каждому санктпетербургскому обывателю способ, как исправно заводить по солнцу стенные и карманные часы». В этом проекте Делиль писал следующее: «Понеже находятся исправные меридианы в обсерватории, чрез которые всегда можно знать на всякий день прямой час, когда солнце придет на полдень, также и через посредство верных часов, которые в обсерватории, можно всегда ведать прямой же час, хотя бы не видно было солнца целый месяц, того ради надлежало бы однажды выстреливать из пушки точно в самый полдень, и для того надобно бы было приказать тем, которые бы имели стрелять с адмиралтейского бастиона, что против обсерватории, чтоб они на каждый день были готовы немного прежде полудня к выстрелу, в самую ту минуту, как с обсерватории дастся им сигнал, каков определен быть имеет. Можно объявить о сем и в ведомостях, что выстрел сей чинится на всякий день токмо для вышеобъявленные причины».

Как видим, приезжий иностранец соболезновал о бедных петербуржцах, которые не имели случая проверять свои часы, и по проекту Делиля выстрел должен был производиться не с Петропавловской, а с Адмиралтейской крепости (не забудем, что первоначальное Адмиралтейство, до перестройки его Захаровым при императоре Александре I, было крепостью, т. е. окружено рвами и валами, на последних стояли пушки, и в торжественные дни стрельбы была не только с Петропавловской, но и с Адмиралтейской крепости). Проект Делиля «академии наук главный командир», т. е. президент, действительный камергер барон фон Корф отправил с докладом в кабинет ее императорского величества. На этот доклад последовала подписанная Андреем Остерманом, Павлом Ягужинским и князем Алексеем Черкесским следующая резолюция: «По сему представлению употребить вместо пушечного выстрела один нарочитой величины колокол, который в уроченный час аккуратно знак подавать, по чему прочие городские часы следовать имеют».

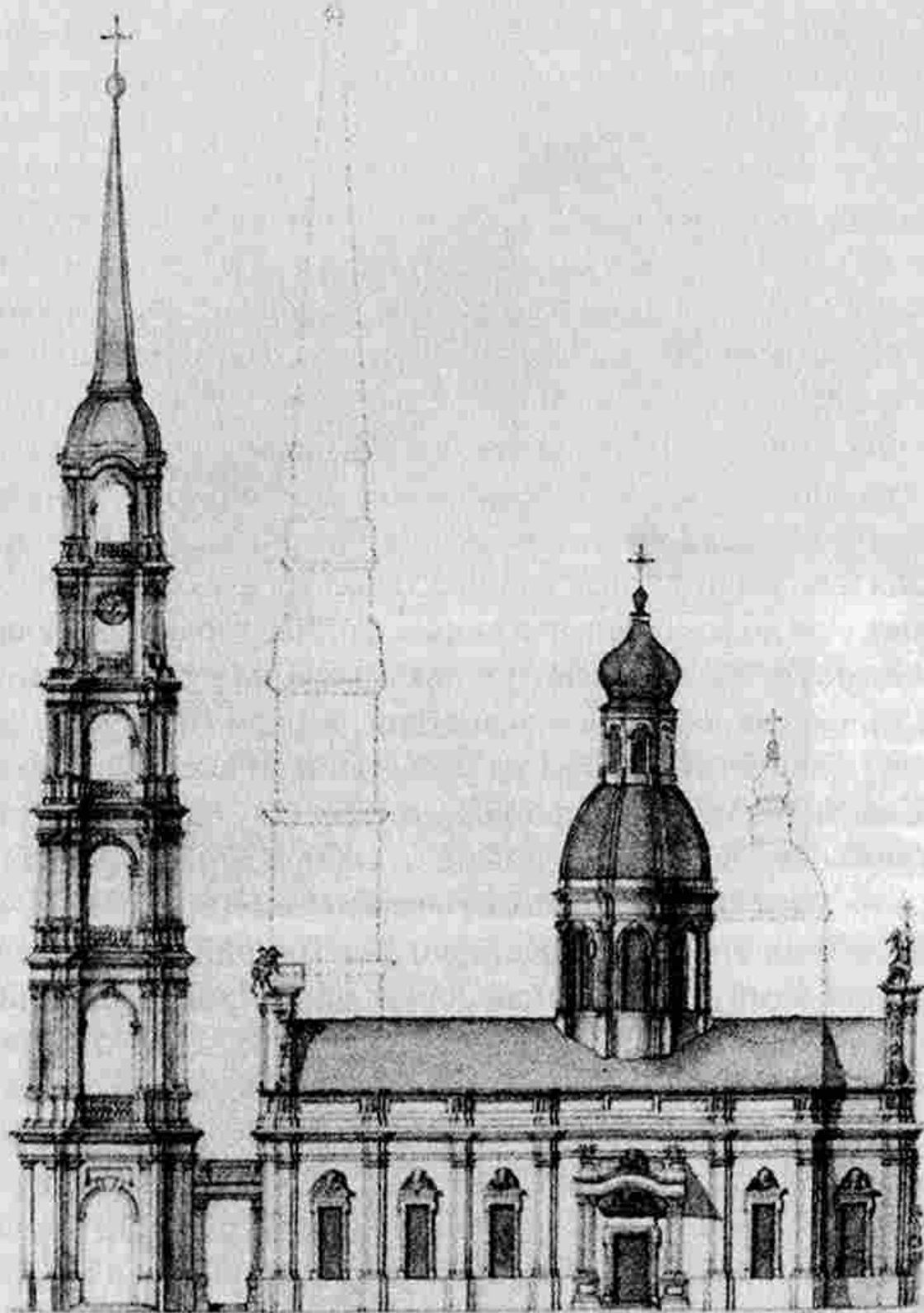
Таким образом, кабинет хотел заменить пушку колокольным звоном, но тотчас было указано, что колокольный звон, или набат, у нас действует во время пожарной тревоги, и, главным образом, во время пожара, и если в 12 часов дня употреблять этот звон, то обыватель не будет знать, что означает этот звон — пожар или 12 часов. Затем было указано, что выстрел пушки на бастионе Адмиралтейской крепости не так звучен, как если стрелять из Петропавловской крепости. С этими предложениями, в конце концов, согласились, и с 1736 года началась та знаменитая пушка в адмиралтейский час, которую легенда приурочивает к петровскому времени.

Продолжим далее цитировать записки Берхгольца, так как из них выясняются любопытные подробности постройки колокольни собора. Под 6 июня 1723 года Берхголец записал: «Ветром совершенно согнуло крест на Петровской крепости»; а под 30 сентября того же года: «В истекшем сентябре месяце здесь начали прекрасный большой шпиг на Петропавловской крепости покрывать сильно вызолоченными в огне медными листами; но перед тем еще наверху его поставили летящего, вызолоченного ангела (величиной более, чем в человеческий рост), в руке которого по ветру поворачивается знамя»⁴⁰ — последняя фраза Берхгольца может вызвать некоторое недоумение: едва ли ангел имел в руках знамя, а не крест, постановку такой фигуры на шпиге православной церкви едва ли разрешило духовенство, и нужно думать, что Берхголец ошибся. Теперешний ангел не Петровский, а более позднего, как увидит читатель из дальнейшего изложения, времени. Сохранились еще некоторые данные о колокольне Петропавловского собора петровского времени: «По крепости шло в 1719 году золочение 198 футового шпица соборной башни от подошвы, имевшей вышины 345 футов. Шпиг обит медными листами весом в 744 пуда 26 футов».⁴¹

Петровское повеление «о поспешении» в постройке башни городской, или Петропавловской, колокольни было выполнено, самая же церковь строилась, действительно, не спеша. В год смерти Петра Великого стены еще не были возведены до сводов, и гроб Петра Великого принесли в недоконченный собор и поставили над землей; в этом положении гроб находился до

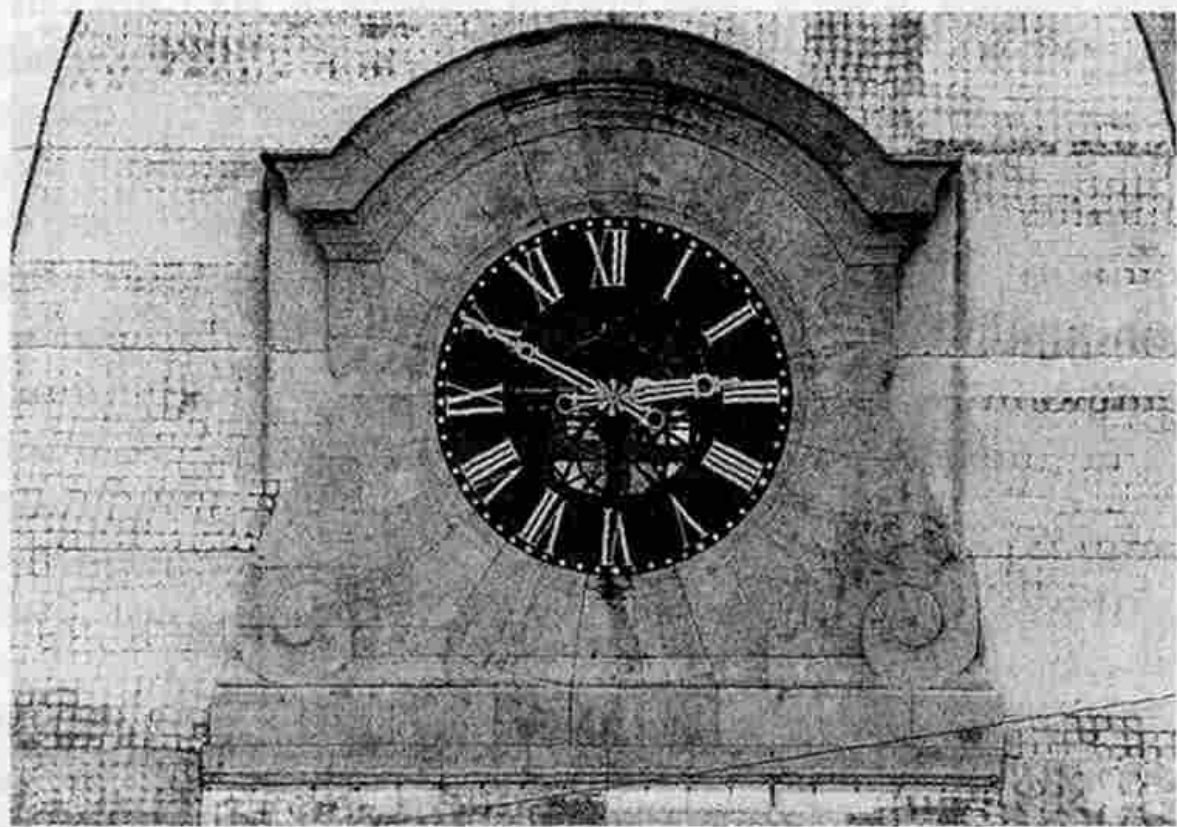
31 мая 1731 года⁴², когда его, наконец, предали земле; самое же освящение Петропавловского собора совершилось 29 июня 1733 года. Оно не сопровождалось особенно пышной церемонией, так как императрица Анна Иоанновна носила глубокий траур по умершей своей сестре цесаревне Екатерине Ивановне, похороненной 26 июня в Александро-Невском монастыре. Особенно бросилось петербуржцам в глаза при церемонии освящения церкви, что все кавалеры ордена Андрея Первозванного были в траурных мантиях.⁴³

Петропавловский собор строился по проекту петровского зодчего Джузеппе Трезини, первого из архитекторов, прибывшего из-за границы в Россию. Джузеппе Трезини — его русские люди переделали в Андрея Якимовича Дрезина (каким образом Джузеппе Трезини стал Андреем Якимовичем, конечно, объяснить невозможно, но эту подпись, это обращение мы встречаем в официальных бумагах даже такого учреждения, как Академия наук, которая, казалось, могла бы не перековеркивать иностранные имена) был, собственно говоря, инженер, а не архитектор, но в следствие условий русской действительности ему приходилось быть и архитектором, и сочинять проекты чуть ли не всех наиболее главных построек Петербурга Петра Великого. И если бы сохранились только подписанные проекты Трезини, тогда мы могли бы составить мнение не только о творчестве Трезини, но и о физиономии Петербурга петровского времени, о тех постройках первоначального стиля примитива, которые, несомненно, были в Петербурге, но и проекты эти, как и самые постройки, не сохранились, и тщетно мы пытаемся их восстановить, мы имеем лишь даты утверждения того или иного трезиновского проекта, даты закладки здания и только. А этого, конечно, очень недостаточно. И когда мы смотрим на Петропавловскую колокольню, то никаким образом мы не можем утверждать, что перед нами петровское здание, что перед нами результаты творчества Трезини. Поясним это наше положение, которое противоречит общераспространенным взглядам и может вызвать, на первый взгляд, недоумение. Дело вот в чем. Петропавловская колокольня была наивысшей точкой в Петербурге (громоотводов тогда еще не знали) и, естественно, что эта колокольня



С. Чевакинский (?). Фасад Петропавловской соборной церкви с поправлениями. Конкурсный проект восстановления собора после пожара 1756 года (не реализован). На чертеже пунктирной линией обозначен силуэт колокольни и надальтарного купола собора до пожара

притягивала к себе грозовые удары. 19 июля 1748 года молния пробила свод колокольни собора⁴⁴, но пожара не произошло, а 30 апреля 1756 года⁴⁵ по той же самой причине возник пожар, колокольня была разрушена, и 22 мая 1756 года⁴⁶ состоялось «Высочайшее повеление о немедленном возобновлении погоревшей в С.-Петербурге соборной церкви Петра и Павла» с поручением надзора за означенной постройкою генерал-аншефу Фермору, составление проекта возобновления было поручено двум выдающимся зодчим того времени — Растрелли и Чевакинскому. Граф Растрелли — создатель российского барокко, творец Зимнего дворца, Смольного монастыря. Чевакинский, хотя и ученик его, но ушедший дальше своего учителя, остановившийся на полдороге между барокко и ампиром. И вот эти два выдающихся архитектора должны возобновлять творение Трезини, милый, симпатичный для нас образец примитива. Но для них, воспитанных на иных образцах искусства и не выросших еще до сознания, что старые формы, характеризующие ту или иную эпоху, имеют полное право на существование, этот примитив кажется варварством, верхом безвкусицы, они не могут допустить, чтобы в просвещенный век «императрицы Елисавет», столь щедро покровительствующей искусству и художеству, колокольня главного собора Петербурга могла сохранить архитектуру прежнего варварского времени. И, конечно, все то, что было характерно для Трезини, что являлось пусть робкими, но оригинальными попытками художника уловить в линию и форму идею красоты, все то, что не подходило к их понятию красоты, уничтожалось, переделывалось и принимало общую форму главенствующего стиля. Особенности творчества Трезини, конечно, не могли сохраниться, сохранялось лишь то, что приближалось к барокко. Это вполне понятно, вполне объяснимо, но, понятно, не поправляет дела, и, смотря на Петровский собор, мы должны помнить, что от Петровского времени осталась только одна идея — церковь-корабль с мачтой-колокольней. Перестройка или, вернее, поправка полусгоревшего собора шла очень быстро. 23 июня 1757 года⁴⁷ произошло уже освещение самого собора, но колокольня была совершенно не готова, за ремонт ее, может быть, даже и не принимались, и этим ремонтом занимались



Часы на колокольне Петропавловского собора. Современная фотография

чуть ли не всю первую половину царствования Екатерины II: в 1769 году 21 апреля⁴⁸ делался вызов на позолоту шпица. В объявлении читаем следующее: «Медных листов сколько их пойдет с позолотою оных запарным червонным золотом, полагая того золота на каждый квадратный фут не менее полновесного червонца, взять ниже 4 р. 84 к. за каждый лист». В 1771 году⁴⁹ вызывались часовые мастера, чтобы поставить на колокольню часы с курантами. История этих часов тоже в достаточной степени поучительна для характеристики столь отдаленного времени. 7 июля 1757 года⁵⁰ был заключен в Голландии контракт на устройство часов для Петропавловской колокольни. Через два года, 11 декабря 1759 года⁵¹, нашелся подрядчик по доставке в С.-Петербург этих часов, 22 апреля 1760 года часы были освидетельствованы особой комиссией и приняты, но почему-то только через год, 22 июля 1761 года, их отсылают из Голландии в Петербург. Путешествие это было сравнительно недолговременное, часы благополучно прибыли в С.-Петербург 28 августа 1761 года, но оказалось, что колокольня Петропавловского собора еще не отремонтирована

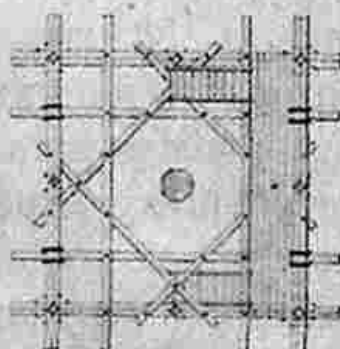
после пожара, и часы пока некуда помещать. Их сложили в амбар, где они и пролежали до 1773 года, когда 10 мая⁵² стали вызывать «для починки и приведения в совершенство прежде сделанных в Голландии на Петропавловскую колокольню и состоящих ныне в Санкт-Петербургской крепости в башне часов с курантами желающих для мастерской построить в той же крепости деревянной с печами и очагами по плану дом явиться в контору у строения той крепости» — за 12 лет хранения часы пришли в такое состояние, что для их поправки потребовалось устройство особой мастерской, по всей вероятности, ремонт часов стоил не дешевле заплаченной за них в Голландии суммы. И только в начале 80-х годов XVIII столетия часы были помещены на колокольню.

Буря с наводнением 10 сентября 1777 года отозвалась и на шпиге Петропавловского собора. В 1778 году пришлось ангела со шпига снять, перелить и вновь вызолотить. К 80-м годам XVIII столетия колокольня Петропавловского собора, наконец, тоже приняла законченный вид и простояла до конца 40-х годов XIX столетия, когда было замечено, что крест снова перегнулся и грозил падением. Вдобавок и сама позолота шпига, почти уже сгладившаяся, требовала возобновления: решено было построить леса вокруг всей колокольни. Проект военного инженер-капитана Паукера оказался превосходящим прочие во всех отношениях и был принят в 1854 году. Воздушная четырехугольная клетка лесов была смело повешена на самой колокольне. По снятии креста с ангелом, яблока и позолоченной обшивки нашли, что шпиг по ветхости не может быть оставлен в таком виде, как он был. Решено было деревянные стропила заменить металлическими, и 14 февраля 1860 года на Воткинском заводе стали изготавливаться металлические стропила; работа была закончена 1 мая того же года⁵³, и осенью этого же года металлические стропила были воздвигнуты на Петропавловскую колокольню, причем внутри шпига устроена винтовая лестница, которая доведена почти до самого яблока. При верхнем конце лестницы, для образования воздушного перехода на яблоко, сделаны на гранях шпига вертикальные люки, в которые в случае надобности можно крестообразно просунуть брусья и на концах последних, выдающихся

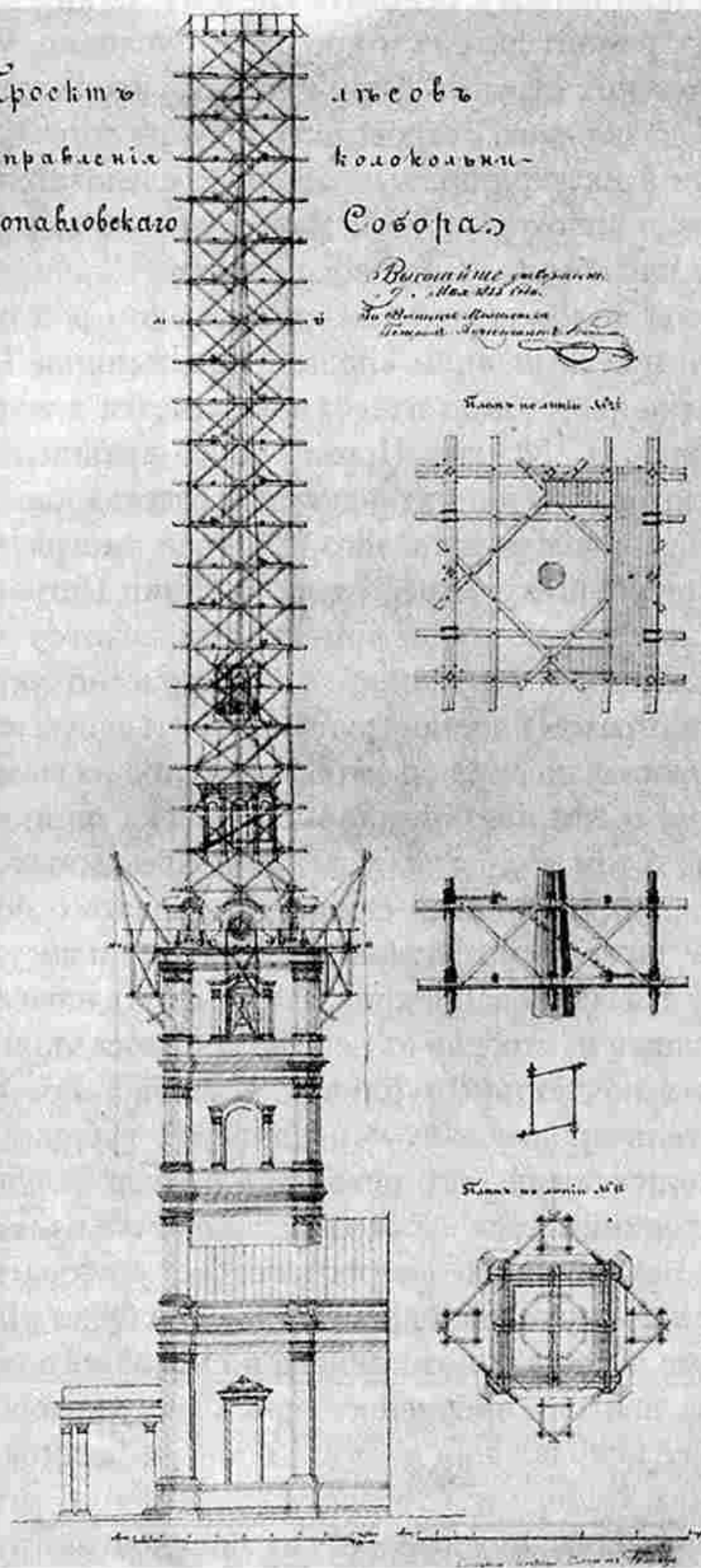
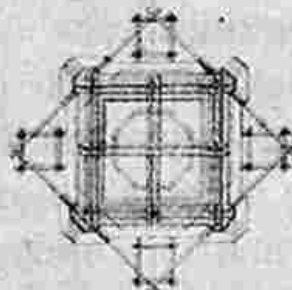
Проектъ
для исправленія
Петропавловскаго
колокольнаго
Собора

Высокой и т.д. и т.д.
и т.д. и т.д. и т.д.
и т.д. и т.д. и т.д.

Планъ на шпиле №1



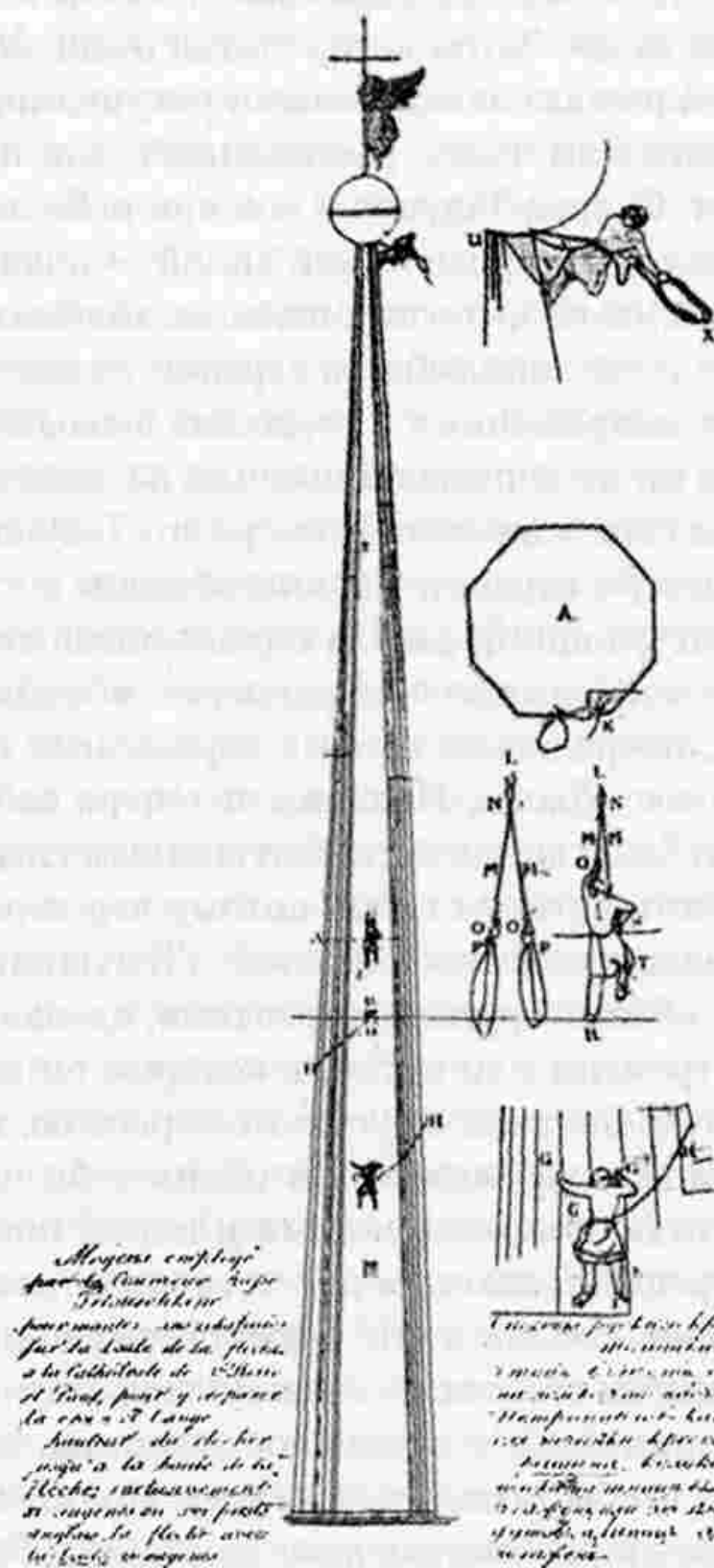
Планъ на шпиле №2



Г. Паукер. Проект устройства лесов на шпиле колокольной Петропавловского собора. 1855 год

значительно наружу, основать систему легких лесов и производить ремонт ангела и креста. Безусловно, устройством металлических стропил форма шпиля уклонилась не только от первоначального петровского, но и от того, который был выстроен в Екатерининскую эпоху, и, следовательно, Петропавловская колокольня ни в ком случае не может быть указываема как образец Петровской эпохи.

С этой колокольней связан еще один ремонт, который известен под названием «подвиг крестьянина Телушкина». Об этом подвиге была напечатана заметка в журнале «Сын Отечества» за 1831 год. Прежде всего любопытен подход к теме — автор заметки начинает свой рассказ таким образом⁵¹: «В октябре и ноябре прошлого 1830 года, смотря из моих окон на С.-Петербургскую крепость и на шпиг Петропавловского собора, как я, так и мои домашние и некоторые из наших знакомых всякий почти день любовались (но с крайним опасением и страхом) неимоверною смелостью русского кровельщика. Ожидая до сих пор, чтобы кто-либо из гг. журналистов упомянул о сем чрезвычайном происшествии, и не находя ни слова о том в с.-петербургских повременных изданиях, я решился, как очевидный свидетель, воздать с моей стороны должное, по всей справедливости, смелому и досужему ремесленнику. На сей конец я приказал отыскать нашего богатыря-кровельщика и, отобрав от него род вопроса, долгом почитаю сообщить почтенной публике». Сделав такое вступление, сочинитель продолжал: «Ярославской губернии казенной крестьянин кровельного цеха мастер Петр Телушкин, узнав, что предпринимается необходимая починка в кресте и ангеле на колокольном шпиге Петропавловского собора, и сообразив, сколько тысяч рублей и времени должно будет употребить на устройство лесов для безопасного и спокойного производства сего дела, явился с письменною просьбою, в которой объяснял, что он все исправления в кресте и ангеле берется произвести без всяких лесов, с тем только условием, чтоб ему заплачены были материалы, нужные для сих починок, за трубы же свои он ничего не назначал, предоставляя высшему начальству награждать его по благоусмотрению. Выгодные сии предложения были приняты, и Телушкин, как бедный мастеровой, не имев



Ремонт Петропавловского шпица Телушкиным.
Иллюстрация к книге П. Столянского
«Петропавловская крепость». 1923 год

залогов, заложил, так сказать, жизнь свою в обеспечение принятого им на себя дела». Затем автор статьи очень подробно, иллюстрируя свой рассказ любопытными рисунками, снимок с которых мы приводим здесь, рассказывает, как произвел Телушкин ремонт. Сперва Телушкин (он при небольшом росте отличался громадной физической силой — поднимал до 13 пудов) поднимался на цыпочках пальцев, хватаясь ими за фальцы обшивки и укрепив себя на веревке, привязанной к поясу. Говорят, от напряжения у Телушкина выходила кровь из-под ногтей, но он не обращал внимания на жесточайшую боль и продолжал свое поднятие. По мере его Телушкин стягивал обхватывающую веревку, и таким образом постепенно утончающаяся фигура шпица давала ему возможность висеть на ней. Далее он воспользовался крючками, вбитыми в обшивку шпица, и, посредством особых веревочных стремян, поднялся под самое яблоко. Надлежало теперь взобраться на последнее. Это было достигнуто Телушкиным следующим образом. Даем место автору статьи, потому что пересказ не сохранит всех колоритных особенностей: «Телушкин, захватив шпиц около яблока другими веревками, сделал себе из них два новых стремени или петли, в которые он просунул ступни своих ног до подъема, другою же веревкою, также за оконечность шпица захваченною, он обвил себя накрепко около пояса, и тогда, опираясь ногами в шпиц, повис всем телом на этой веревке. В таковом почти горизонтальном положении Телушкин, собрав в обе руки, свернув бухтою имевшуюся за поясом его шестисаженную веревку, которой один конец был привязан к оконечности шпица, взбросил другой на яблоко, чтобы захватить им крест. Пользуясь сильным ветром, который раскачивал даже сам шпиц, Телушкин так ловко и удачно окинул свою веревку около креста, что свободный ее конец, с помощью ветра, попал мигом ему в руки. Тогда, сделав петлю на самом этом конце, он начал веревку передергивать около креста так, чтобы она вдвойне за оный захватывала и чтобы тем концом можно было затянуть ее за крест. Таким образом, Телушкин, передернув веревку около креста, начал делать петли на свободном ее конце, чтоб из оных составить себе род лесенки, которая бы одним

концом была прикреплена к кресту, а другим к оконечности шпица. По этой уже лесенке Телушкин, взобравшись на шар, спокойно принялся за свою работу. Нередко мы его видели то поднимающим ангела, имеющего 5 аршин вышины, то сидящим на его крыле и починивающим оное, то на самой перекладине креста, имеющего 9 аршин вышины, спокойно прикрепляющим оторванные от него листы. Все это мы видели самым ясным образом посредством подзорной трубы. На третий день сих воздушных походов Телушкин, приготовляя веревочную лесенку или тропку в 26 сажень длины, втащил один ее конец на яблоко и привязал его за крест, а другой — к деревянным слуховым окнам. Сим средством он стал свободно уже ходить на работу, отстоящую от поверхности земли по имеющимся чертежам Петропавловского собора и его шпица на 57 сажень без креста, а по измерению Телушкина посредством веревки с крестом на 65 сажень. По сей-то лестнице Телушкин, влезая на шар, в течение 6 недель починил на кресте оторванные ветром листья, крыло у ангела и поднял его по кресту на 8 вершков, не могши возвысить на $\frac{3}{4}$ аршина, потому что крест от движения ангела по ветру слишком в этом месте обтерся».

Далее автор прибавил от себя следующие строчки: «Вот все подвиги кровельщика Телушкина на шпице Петропавловского собора. Предоставляю благосклонным читателям сей статьи оценить бесстрашие, присутствие духа и усердие кровельщика Телушкина! Может быть, иной скажет: „Все это прекрасно, да надобно еще посмотреть, хорошо ли Телушкин исправил все повреждения?“ — Дело, для чего нет! — Он всегда готов свою работу показать тому, кто согласится влезть на яблоко у шпица по веревочной его лесенке, за неимением другого удобнейшего хода!» Такой остротой автор статьи закончил свой безусловно интересный рассказ.

Во внутренности собора особенное внимание заслуживает иконостас, к сожалению, попорченный реставрацией, произведенной в 1832 году⁵⁵. Иконостас является одним из замечательных произведений барокко. Он сделан по проекту московского зодчего Зарудного московскими мастерами Трифоном Ивановым и Иваном Телегою⁵⁶.



*Л. Бенуа. Собор Апт. Петра и Павла
и Великокняжеская усыпальница. 1901 год*

5 января 1716 года Петр выбрал в крепости в недостроенном еще соборе место для погребения царицы Марфы Матвеевны⁵⁷, через два года, в июне 1718 года, тут же в соборе был похоронен задушенный царевич Алексей Петрович, а 12 марта 1723 года с торжественной церемонией погребена сестра Петра царевна Мария Алексеевна, которая, положим, не была задушена, но только заключена в Шлиссельбург за участие в бегстве царевича Алексея. Этими случаями Петр подчеркивал назначение Петропавловского собора — он должен стать новой усыпальницей царского рода. Причем характерны похороны сына и сестры Петра Великого. Они считались преступниками: сына своего Петр судил особым судилищем, но после их смерти все же они должны быть похоронены так, как особы царского рода. Это несоответствие не бросалось в глаза, не вызывало вопросов. Похороны особ царского рода сопровождались особыми торжественными церемониями, стоили громадных денег, и в 1887 году пришлось пристроить к Петропавловскому собору особую усыпальницу для великих князей. Она строилась по проекту архитектора Д. И. Гримма⁵⁸.



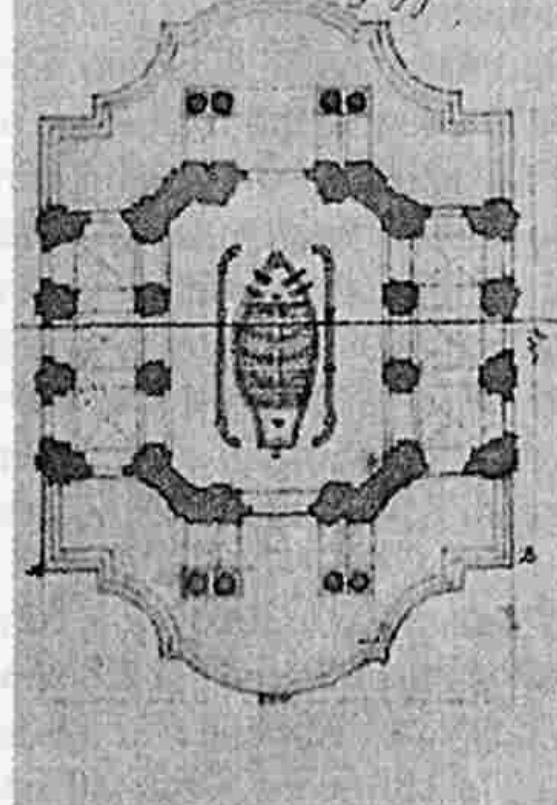
*В. Сабанеев. Вид иконостаса в северном нефе
Петропавловского собора.
Фотография 1894 года*

Затем этот Петропавловский собор служил и для других официальных торжеств, и в этом отношении пример был показан Петром Великим. 23 июня 1710 года в Петропавловском соборе поставлены 38 шведских знамен, взятых у Выборга⁵⁹, и Екатерина II, любившая подражать Петру I, 29 августа 1772 года положила на гроб Петра Великого турецкий флаг⁶⁰. В соборе совершались и акты присяги: 26 ноября 1741 года присягали Елизавете Петровне⁶¹, 19 ноября 1742 года в Петропавловском соборе праздновалось объявление Петра III наследником российского престола⁶² и т. д. и т. д. В этих официальных торжествах принимала участие и сама крепость. «Сего сентября 4-го дня 1831 года пополудни в седьмом часу с.-петербургский военный генерал-губернатор генерал-от-инфантерии Эссен имел счастье получить высочайшее его императорского величества повеление: возвестить верноподданным жителям столицы 201 с крепости выстрелом о покорении города Варшавы»⁶³. Со стен крепости звучали пушечные выстрелы по различным случаям: этими выстрелами извещалось и прибавление царской семьи, и победа над врагом, и торжественное заключение мира, и... существует предание, что сумасшедший император Павел Петрович велел раз сделать салют с Петропавловской крепости в тот момент, когда он должен был остаться наедине с какой-то пленившей его красавицей... На другой день иностранные дипломаты посетили Иностранных дел коллегия, допытываясь узнать причину этих необычайных поздней ночью произведенных салютов. Как выпутались из этого конфуза русские дипломаты, к сожалению, неизвестно...

Почти сейчас же рядом с собором возвышается небольшой одноэтажный домик с фигурой на крыше. Наши знатоки искусства утверждают, что «это одна из лучших построек Аннинской эпохи», и что это домик строил первый русский зодчий А. Земцов.⁶⁴

В этом домике до сих пор хранится «дедушка русского флота», знаменитый Петровский ботик. Но наши знатоки искусства и в этом случае, как и во многих других, когда речь идет об архивном исследовании, жестоко ошибаются. Действительно, в крепости был построен Земцовым домик для хранения

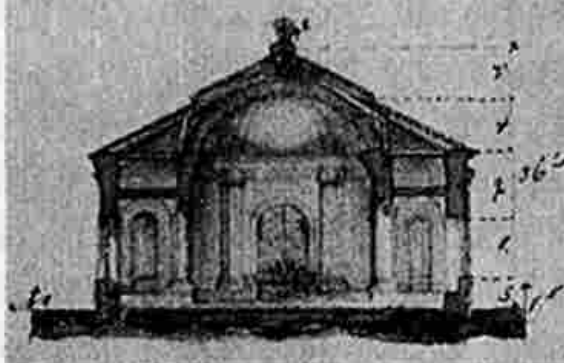
Можь Овчиннику
в Петербургской Ин-
фра-Адме, 1810 года
анъ Ботному зданіи



Фасад по линии АБ.



Профисъ по линии АБ.



Инженер-полковник Дурон (?). Ботный дом. План, фасад и разрез.
Фиксационный чертеж. 1843 год

ботика, но с течением времени домик пришел в ветхость и был перестроен в 1761 году, перестроен, начиная с фундамента и вплоть до крыши, и, следовательно, быть образцом, да еще и одним из самых лучших, Аннинской эпохи он ни в каком случае не может, так как он появился в последний год жизни Елизаветы Петровны⁶⁵.

В амбарах своего деда в одном из подмосковных поместий Петр I, будучи еще ребенком, отыскал как-то незнакомую для него лодку. На вопрос, что это такое, ему ответили, что это английский бот, который может под парусами ходить по ветру и против ветра. Эта диковинка иноземная заинтересовала Петра; в Немецкой слободе отыскивали английского матроса, который смог поправить ботик и спустить его на воду и научить Петра управлять ботиком. Этот ботик и был тем импульсом, который развил в Петре Великом страсть к мореходству и послужил основанием

к будущему созданию русского флота. «Дедушка русского флота»⁶⁶ величиной не превосходит небольшую шлюпку и весит менее 80 пудов, длина его 19 футов 9 дюймов, ширина 6 ф. 5 д., высота от киля до верха 2 ф. 8 д., высота мачты 21 ф. и флагштока 8 ф. 9 д.; бот выкрашен красной краской, и по борту его идет полоса, состоящая из треугольников белого, красного и зеленого цветов. Над этой полосой в кормовой половине, на несколько возвышенной части борта, по черному полю нарисована желтой краской гирлянда. На корме с наружной стороны представлен старец с посохом в белой одежде и красной шляпе с крестом, с левой стороны старца — дом, а с правой — судно, идущее под парусами. Все это резное из дерева, так же, как и две головы вроде львиных. С внутренней стороны кормы на белом щите нарисован русский герб. Артиллерия ботика состояла из 4 маленьких пушечек.

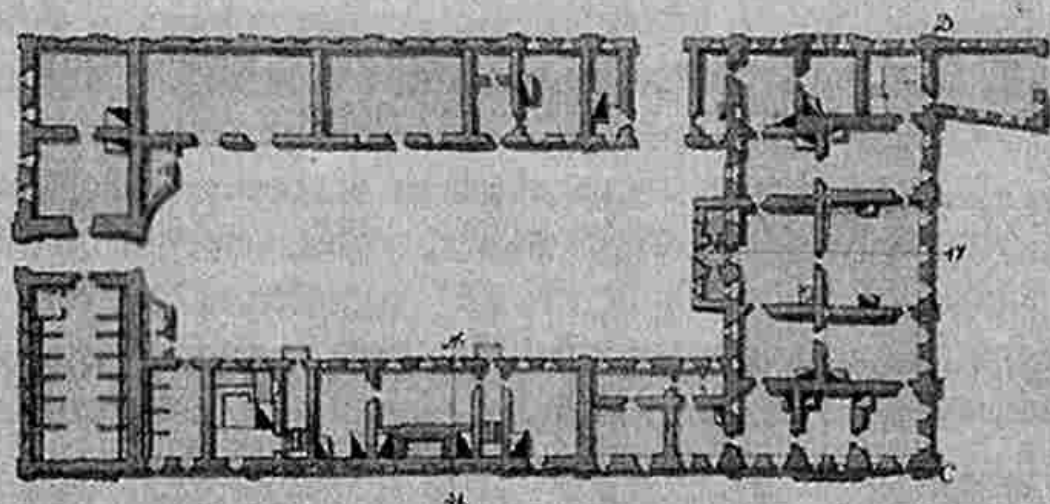
Утвердившись в Петербурге, создав Кронштадт как базу для русского флота, Петр Великий вспомнил про свой ботик, и 29 января 1722 года гвардии сержант Коренев получил указ о доставке ботика из Москвы в Шлиссельбург; 30 мая 1723 года ботик был привезен в Петербург и временно поставлен в Адмиралтействе, а 7 августа того же года в журнале Петра Великого имеется следующая лаконичная запись⁶⁷: «Буерной флот и с ботом старинным пришел к Котлину острову и учинено учреждение о встрече бота флотом». Это событие более подробно описано очевидцем его, не раз нами упоминаемым Берхгольцом⁶⁸: «С рассветом показалась шедшая из С.-Петербурга флотилия, которую составляли более ста буеров и торшихаунтов, и так как было известно, что с нею придет знаменитый бот (который еще при отце императора приведен был из Англии в Архангельск, а оттуда перевезен в Москву, и на котором Его Величество в молодости впервые разъезжал и приохотился к мореплаванию) и весь флот получил приказание, когда он будет проходить мимо, не только салютовать ему пушечною пальбою со всех кораблей, но и поднятием всех корабельных флагов: то все приготовились к этой встрече. Часов в десять все находившиеся здесь 9 флагманов проехали на своих шлюпках по порядку мимо нашего корабля, а именно: сперва великий адмирал, в середине между Сиверсом

и Гордоном, наконец контр-адмирал Зандер, в середине между Синявиным и Дюффусом. Великий адмирал имел императорский флаг. Император — красный адмиральский, Крюйс — голубой, Гордон — красный вице-адмиральский, князь — белый, Сиверс — голубой, Зандер — белый, Синявин — голубой, Дюффус — красный контр-адмиральский».

Была установлена, таким образом, встреча ботика, «дедушки русского флота», с созданным флотом, умевшим победить уже шведский флот. 30 августа 1723 года ботик был поставлен в Петропавловской крепости. Но первое время ботик стоял открытым, и 11 февраля 1724 года было приказано сделать от конторы адмиралтейский навес из старых парусов и на оный ботик положить брезент без всякого медления⁶⁹, а затем уже, когда на престол вступила Елизавета Петровна, для ботика был выстроен домик, перестроенный, как мы уже указывали, в 1761–1762 гг. Изредка ботик выносился из этого домика для участия в торжествах. Так, в праздновании первого столетия Петербурга⁷⁰ «дедушка русского флота» находился на палубе стоявшего на Неве 110-пушечного корабля «Гавриил», почетными стражами были 4 столетних моряка петровского времени. Затем 3 июля 1836 года произошло торжественное шествие ботика Петра Великого мимо Балтийского флота⁷¹ — Николай I пожелал вспомнить петровскую церемонию, а один раз — 28 мая 1872 года — ботик даже покинул Петербург, и хотя ненадолго, но посетил свое старое пепелище — Москву. Ботик был перевезен на открывшуюся в Москве Всероссийскую выставку⁷², и, наконец, 30 мая 1888 года праздновалось торжественно 200-летие «дедушки русского флота».⁷³

Почти наискосок от собора, через небольшой бульвар, возвышается самой обыкновенной архитектуры, почти без каких-либо украшений, двухэтажный длинный белый дом. Этот дом — местожительство комендантов Петербургской крепости, известный под названием Обер-комендантский дом. Где и когда был построен первоначальный дом для жилья комендантов, мы не знаем, но по некоторым данным можно предполагать, что этот первоначальный дом был деревянный, и к 1735 году пришел в дряхлость. В инженерной или, как тогда звали, фортификационной конторе было заведено дело о постройке

План Комендантского дома в С.-Петербурге



Срез Комендантского дома
по линии А-Б

Профиль здания
по линии В-Г

Профиль здания
по линии Д-Е



Неизвестный автор. Комендантский дом.

План, восточный фасад и разрезы.

Фиксационный чертеж. 1797 год (?)

нового дома. Перепитии этого дела очень любопытны, так как они вполне характеризуют строительное дело первой половины XVIII века в С.-Петербурге. Таким образом, 15 июля 1735 года начато дело о построении Обер-комендантского дома⁷⁴, в первой бумаге описывается в очень ярких красках состояние существовавшего дома: и потолки рушатся, и полы проваливаются, и стены еле-еле держатся, словом, Обер-комендантский дом совершенно для жилья непригоден; но, несмотря на эту картину, только через 4 года, 8 мая 1739 года⁷⁵ появляется извещение в такой редакции: «В здешней крепости надлежит, не упуская нынешнего ко строению способного времени, построить обер-комендантский каменный двор по учиненному в фортификационной конторе чертежу

и в назначенном от оной месте, чего ради желающие построить могут явиться в оную контору». Таким образом, потребовалось четыре года, чтобы составить план, смету постройки, выбрать для постройки место, и обер-комендант, несмотря на невозможное, судя по вышеприведенному рапорту, состояние старого дома, прожил в нем и эти четыре года. В этом извещении особенно характерны набранные курсивом слова: «не упуская нынешнего ко строению способного времени», из дальнейшего изложения вполне ясно, как понималось в то отдаленное от нас время это выражение. 9 декабря 1740 года, т. е. еще спустя год, «в здешней крепости определено построить Обер-комендантский каменный дом, по чертежу будущим летом»⁷⁶, т. е. в 1711 году, но 30 сентября 1742 года⁷⁷ все еще продолжают вызовы подрядчиков на постройку Обер-комендантского дома, и только в 1747 году⁷⁸, т. е. через 12 лет после начатия дела о постройке, этот дом был построен и без особых внешних перемен просуществовал до нашего времени.

Обер-комендантский дом может и должен нас интересовать по очень многим грустным, тяжелым воспоминаниям. Вот первое из них⁷⁹. «После ужина я, — писал декабрист И. Д. Якушкин, — долго не мог уснуть и только что начал дремать, дверь с шумом растворилась, и Трусов (плац-адъютант) вошел ко мне с обыкновенной свитой. Мне принесли платье и шубу, сняли с меня железа (т. е. кандалы. — П. С.) и когда я оделся, то надели их опять. Трусов взял у офицера 4 ключа от моих замков. По его совету я сделал из носового платка подвязку, посредством которой держал ножные железа. Трусов накинул мне на голову свой носовой платок и повез меня в дом к коменданту. Тут из рук его кто-то принял меня и посадил за ширмы, несмотря на которые и на платок, я мог видеть прислугу, носившую блюда в соседнюю комнату. Около полуночи меня взяли за руку и повели в те комнаты, в которых перед этим ужинали. В первой из этих комнат я ничего не мог видеть сквозь платок, кроме множества свечей и столов, за которыми сидели люди и писали. Из этой комнаты меня привели в довольно большую залу, также очень ярко освещенную. Руку мою опустили, я остановился, и с меня сняли платок. Я стоял посреди комнаты, шагах в 10 от меня стоял стол, покрытый

красным сукном. На крайнем конце его сидел председатель следственной комиссии Татищев, рядом с ним — великий князь Михаил Павлович, сбоку от Татищева сидели князь А. И. Голицын и Дибич, 3-й стул был порожний (Левашева) и 4-е место занимал Чернышев. По другую сторону стола около великого князя сидел Голенищев-Кутузов, потом Бенкендорф, Потапов и полковник флигель-адъютант Адлерберг, который не будучи членом комиссии, записывал все сколько-нибудь важное, чтобы тотчас доставлять императору сведения о ходе дела. Когда сняли с меня платок, с минуту по всей комнате продолжалось молчание. Наконец, Чернышев махнул мне пальцем и весьма торжественным голосом сказал: «Приблизьтесь». Подходя к столу, я нарушил моими цепями тишину в комнате. Начался формальный допрос».

В тех же записках мы читаем и другое описание⁸⁰: «В начале июня (1826 г.) меня повели в дом коменданта и привели в небольшую комнату, где за столом на председательском месте сидел бывший министр внутренних дел князь Ал. Бор. Куракин, направо и налево от него сидели еще человек 6, членов суда. Бенкендорф присутствовал как депутат от комитета. Сенатор Баранов очень вежливо предложил пересмотреть лежащие перед ним бумаги и спросил, мои ли это показания. Прочесть все эти бумаги было невозможно в короткое время, да и к тому же я очень понимал, что меня не затем призвали, потому что 121 подсудимых должны были в одни или не более как в двое суток поверить все свои показания и бумаги. Я перелистывал кое-как бумаги, которых Баранов даже не выпускал во все время из рук...»

И, наконец, третий отрывок оттуда же⁸¹. «Трусов провел через ряд пустых комнат, и мы прошли в верховный уголовный суд. Митрополиты, архиереи, члены Государственного совета и генералы сидели за красным столом, за ними стоял Сенат. Все были обращены лицами к подсудимым. Нас шестерых выстроили гуськом. Министр юстиции князь Лобанов очень хлопотал, чтобы все происходило надлежащим образом.

Обер-секретарь, пресмешной наружности, первоначально сделал нам перекличку, и когда Кюхельбекер не скоро откликнулся на свое имя, то Лобанов закричал повелительным

голосом: «Да отвечайте же, да отвечайте же!» Потом началось чтение приговора. Когда прочли мое имя в числе приговоренных к смертной казни, мне показалось это только смешным фарсом — и в самом деле, нам всем шестерым смертная казнь была заменена ссылкой в каторжные работы на 20 лет. После этого меня отвели опять в 1-й номер рavelина».

Вышеописанные сцены происходили в 1826 году, ими было положено начало, и Обер-комендантский дом не раз затем служил тем же местом, тем же страшным судилищем, каким он был для декабристов. Процесс петрашевцев, дело Чернышевского, Писарева, заседания по каракозовскому делу, и, кажется, последний раз профанация суда — ведь нельзя же выше приведенные судебные процессы называть судом — над Александром Соловьевым, покушавшимся на жизнь Александра II, происходили в этом не особенно большом двухэтажном доме... Все эти факты заставляют нас отнестись далеко не равнодушно к так называемому Обер-комендантскому дому в Петропавловской крепости.

* * *

Петропавловская крепость, как мы уже указали выше, чуть ли не с первого дня своего существования лишилась своего стратегического значения, и этой крепостью пользовались для совершенно неподходящих для крепости целей. Земляные валы крепости довольно значительно возвышались над низменной поверхностью Петербурга, и этим возвышением решил воспользоваться комендант крепости Бахметов. 20 сентября 1723 года⁸² по его требованию Адмиралтейская коллегия постановила: «К строению в с.-петербургской крепости на бульварках ветряных мельниц на валах дубовый лес отпустить из того, который собран на Ладожском озере».

Таким образом, на валах Петропавловской крепости стали строиться ветряные мельницы, и вследствие возвышения валов, крылья этих мельниц оказались более доступны дуящим ветрам, и мельницы усердно замахали крыльями, меля муку для Петербургского гарнизона. Первая из этих мельниц была устроена на Трубецком бастионе⁸³, т. е. там же, где впоследствии была устроена государственная тюрьма. Почему-то на Трубецкой бастион вообще обращали часто внимание и

им пользовались для различных целей, как мы увидим впоследствии. Но необычайное зрелище — крепостные стены с махающими на них крыльями ветряных мельниц, конечно, не могло не возбудить всеобщей насмешки, и мельницы довольно скоро исчезли с крепостных стен, их перенесли на взморье, туда, где впоследствии выросло Новое Адмиралтейство. Чуть ли не одновременно с мельницами в крепости стали устраивать и другие хозяйственные учреждения: построили соляные амбары; из этих амбаров соль развозилась по другим частям города, амбары эти еще функционировали в 1782 году⁸⁴, более чем вероятно, что они были уничтожены, когда на Фонтанке на месте ныне существующих училища барона Штиглица и Сельскохозяйственного музея возникли специально устроенные амбары для соли — бывший Соляной городок. В 1756 году в крепости еще существовали винные магазины⁸⁵, т. е. вино привозилось в крепость, и оттуда уже развозилось по кабакам. Но нахождение вина, как и соли, было признано не вполне подходящим для крепости, и для вина устроили особый Винный городок на Васильевском острове, на Чекушах. Были в крепости и провиантские магазины, причем провиант хранился вовсе не для гарнизона крепости, а чуть ли не для всего Петербурга; в 1740 году количество этих магазинов доходило до 8 каменных⁸⁶, и их сломали только в 1748 год⁸⁷.

Видимо, устраивались эти склады в крепости потому, что последняя считалась более надежным местом, где сохранять было безопасно, но обыденная действительность доказала неправильность этих взглядов, по крайней мере, в 1740 году публично признавалась — «понеже ныне не токмо в других где местах являться стали воровства, но и в самой Петропавловской крепости воры часового убили и несколько сот рублей казны нашей покрали»⁸⁸. Воры сделали похищение из учреждения, хотя имеющего малое отношение к крепости, но существовавшее в ней с 1721 года. В этот год 28 февраля появился высочайший указ о делании золотой монеты в Санкт-Петербургской крепости⁸⁹, этот указ заставил приступить в том же 1721 году к постройке близ Трубецкого бастиона Монетного двора⁹⁰. Первоначально постройки Монетного департамента были и незначительные по размерам, и малочисленные,

был даже момент — 1742 год — когда хотели монетное дело снова перевести в Москву⁹¹, а император Павел нашел, что Монетному департаменту не место помещаться в Петропавловской крепости, и с 1799 по 1805 год Монетный двор был устроен при Государственном банке. Но с течением времени монетное дело развивалось и развивалось, увеличивалось число построек и самый их размер, в 1755 году, например,⁹² был поднят вопрос об отдаче в Монетное ведомство еще двух казарм в крепости, в 1760 году понадобилась еще одна казарма⁹³, в 1765 году стали устраивать в крепости близ Монетного двора особую лабораторию⁹⁴, в 1773 году строилась особая деревянная светлица «для щету (счету. — П. С.) денежной казны⁹⁵» и, в конце концов, Монетный двор в Петропавловской крепости стал самым большим во всем свете, и на этом Монетном дворе за промежуток времени с 1762 по 1895 год было выбито 1 922 431 000 р. золотой монетой. Работавшие на с.-петербургском Монетном дворе двенадцать пар валков, через которые подвергаются плющению отлитые полосы металла, приводились в действие двумя паровыми машинами по 100 лошадиных сил, для двух самых больших в свете печатных станков требовалось две 25-сильные паровые машины⁹⁶.

Недолгое время — в течение около двух лет — Петропавловская крепость дала в своих стенах приют одному из самых отвратительных учреждений русской жизни. 26 февраля 1747 года началось дело о построении в Санкт-Петербургской крепости палат для Тайной канцелярии⁹⁷ — но почему-то уже в 1749 году последовало новое распоряжение: о сломке деревянных строений Тайной канцелярии⁹⁸.

3 мая 1706 года для усиления Петропавловской крепости, на Петербургской стороне было заложено довольно значительное земляное укрепление — Кронверк — в виде неправильного многоугольника с довольно широкими водяными рвами. Но если Петропавловская крепость скоро потеряла всякое стратегическое значение, то, конечно, Кронверк никогда его и не имел, и так как Кронверк не мог иметь и декоративного значения, то на него долгое время не обращали никакого внимания. В 1757 году был утвержден проект графа П. И. Шувалова о построении Кронверка в виде контр-гардного укрепления,

но за неимением средств работы не начинались, да и более чем вероятно, что, когда граф П. И. Шувалов составлял свой проект Кронверка, он менее всего думал о воплощении его в жизнь. Составить этот проект заставило графа П. И. Шувалова чувство соревнования — как же генерал Ганнибал перестраивает верки крепости, а он, Шувалов, знаток артиллерии, изобретатель «единорога», особой пушки, которая должна была выказывать чудеса на поле сражения, не сможет проявить своей деятельности и своего знания в крепостном искусстве, и 26 января 1757 года императрице Елизавете Петровне был поднесен составленный графом Шуваловым план Кронверка, план этот был «апробирован», т. е., как тогда выражались, утвержден лишь для того, чтобы сохраниться в архиве соответствующего учреждения⁹⁹. Затем на Кронверк не обращали внимания вплоть до 1805 года, когда 30 января 1805 года весь Кронверк был уступлен Министерству финансов взамен бывшей городской верфи, местность которой — теперь Новый Арсенал — отошла в Военное ведомство¹⁰⁰: 8 мая 1808 года министерство завело в Кронверке Училище торгового мореплавания¹⁰¹, а валы и рвы Кронверка стали эксплуатировать довольно оригинальным способом: каждое лето валы и рвы обрастали сочной высокой травой и Министерство финансов помещало в «С.-Петербургских ведомостях» извещение о сдаче сенокоса по бастионам Кронверка¹⁰². Так дело продолжалось до 1841 года, когда решено было поместить в Кронверке Артиллерийское имущество¹⁰³, но для этого артиллерийского имущества надо было построить здания; к их постройке приступили в 1851 году¹⁰⁴ — появились существующие по сие время громадные двухэтажные кронверкские здания. Дальнейшая с ними метаморфоза, как это ни покажется странным на первый взгляд, связана с судебной реформой в России, с введением Гласного суда в Петербурге. Для этого Гласного суда понадобилось здание, и Министерству юстиции приглянулось здание Военного ведомства — Старый арсенал, помещавшийся по Литейному проспекту между Захарьевской и Шпалерной улицами. По преданию, не обоснованному ни на каких документальных данных, этот Старый арсенал, освященный в присутствии великой Семирамиды Севера (как называли

Екатерину II) 5 июня 1769 года, был построен Баженовым по распоряжению Г. Г. Орлова, генерала-фельдцейхмейстера Российской армии. Орлову за это здание было заплачено из государственных средств, на какие же деньги оно строилось — на личные средства Григория Григорьевича Орлова или на выдаваемые по особым записочкам императрицы Екатерины II к Адаму Васильевичу Олсуфьеву из кабинетских средств — мы не знаем, но более склоняемся ко второму способу. В этом здании в скором времени образовался Артиллерийский музей; музей, судя по «Достопамятностям Петербурга» И. П. Свиньина, и любопытный, и очень богатый. Тут были и завоеванные русским оружием победоносные трофеи; тут стояли и турецкие, и прусские, взятые в Семилетнюю войну, пушки, на стенах были развешаны знамена, а в верхнем этаже, на особых столах были расставлены модели крепостей и многих зданий Петербурга.

Сюда пускались посетители, которые выказывали патристическую радость при виде русских трофеев; хроника жизни этого музея, конечно, сохранила столь свойственный русской действительности факт — факт воровства, причем скрывшим попустителя был будущий всесильный граф Аракчеев.

И спокойно стояло старое здание, мирно покоились завоеванные трофеи, но подошла эпоха великих реформ, в России должен был открыться «суд скорый и милостивый», и Артиллерийское ведомство с большой готовностью уступило свой Старый арсенал. Чуть не в мгновение ока были вывезены в Кронверк¹⁰⁵ победоносные трофеи, а модели крепостей и здания были — этот факт подтверждается документальными данными — за ненадобностью изрублены на дрова. Часть тех зданий, которые предназначались для артиллерийского имущества, были уступлены под вышеуказанные экспонаты, и образовался существовавший до последнего времени Артиллерийский музей.

Местность, ныне занимаемая Александровским парком, звалась гласисом Петропавловской крепости, а по крепостным законам нельзя было возводить постройки ближе 30 сажен от края гласиса¹⁰⁶, таким образом, образовался громадный пустырь, который напоминал петербуржцу 20–30-х годов XIX века африканскую Сахару.

Впервые обратили внимание на этот громадный пустырь, кажется, в 1810 году¹⁰⁷, когда приступили к выравниванию эспланады перед здешней крепостью и Кронверком. Выровнять, конечно, выравнивали и не только замостили, но вокруг всей эспланады устроили надолбы и перила, которые и были выкрашены в соответственные цвета¹⁰⁸. Но так как об ежегодных ремонтах не заботились, то скоро от планировки осталось одно воспоминание, и безобразный, запущенный пустырь; обустроенный по краю маленькими деревянными домиками, совсем не подходил к великолепной столице, творению Петра I.

На той части эспланады, которая находится между спуском с Петровского крепостного моста и Кронверком, произошел эпилог печальной декабрьской истории. Предоставим слово одному из участников-декабристов¹⁰⁹: «Ужин подали немного ранее обыкновенного, и я тотчас же крепко заснул. В полночь меня разбудили, принесли платье, одели меня и вывели на мост, который идет от рavelина к крепости. Здесь я встретил опять Никиту Муравьева и еще нескольких знакомых. Всех нас повели в крепость; изо всех сторон, изо всех казематов вели приговоренных. Когда все собрались — нас повели под конвоем отряда Павловского полка через крепость в Петровские ворота. Вышедши из крепости, мы увидели влево что-то странное, и в эту минуту никому не показавшееся похожим на виселицу. Это был помост, над которым возвышалось два столба, на столбах лежала перекладина, а на ней висели веревки. На Кронверке стояло несколько десятков лиц — большею частью это были лица, принадлежащие к иностранным посольствам; они были, говорят, удивлены, что люди, которые через полчаса будут лишены всего, чем обыкновенно так дорожат в жизни, шли без малейшего раздумья, с торжеством и весело говоря между собой. Перед воротами всех нас (кроме носивших гвардейские и флотские мундиры) выстроили покоем, спиной к крепости, прочли общую сентенцию; военным велели снять мундиры и поставили нас на колена. Я стоял на правом фланге, и с меня началась экзекуция. Шпага, которую должны были переломить надо мной, была плохо подпилена, фурлейт ударил меня ею со всего маху по голове, но она не разломалась, я упал. «Ежели ты повторишь еще раз такой

удар, — сказал я фурлейту, — так ты убьешь меня до смерти». В эту минуту я взглянул на Кутузова, который был на лошади, в нескольких шагах от меня, и видел, как он смеялся.

Все военные мундиры и ордена были отнесены шагов на сто вперед и сброшены в разведенные для этого костры.

Экзекуция кончилась так рано, что ее никто не видал; вообще перед крепостью не было народа. После экзекуции нас отвели опять в крепость и меня опять в 1-й номер равелина. Ефрейтор, который принес мне обедать, был необыкновенно бледен и шепнул мне, что за крепостью совершился ужас, и что пятерых из наших уже повесили. Я улыбнулся, несколько ему не веря, но ожидал Мысловского (духовника декабристов. — П. С.) с нетерпением. Наконец, вечером он взошел ко мне с сосудом в руках. Я бросился к нему с вопросом, правда ли, что была смертная казнь? Он хотел было отвечать мне шуткой, но я сказал, что теперь не время шутить. Тогда он сел на стул, судорожно сжал сосуд зубами и зарыдал. Он рассказал мне все печальное происшествие.

После приговора Пестель, Сергей Муравьев, Рылеев, Михайло Бестужев-Рюмин и Каховский были отведены в особые казематы. Сестра Сергея Муравьева Екатерина Ивановна Бибикова, узнавши, что брат ее приговорен к смертной казни, поскакала в Царское Село и просила через Дибича о дозволении иметь свидание с братом. Ей дозволено было увидеться с ним на один час. Свидание происходило в доме коменданта Сукина и в его присутствии. Сергей Муравьев был очень покоен и просил сестру не оставлять попечением их брата Матвея. Разлука их навсегда, по словам самого Сукина, была ужасна. Когда Сергей Муравьев возвратился в каземат, к нему вошел с печальным видом плац-майор Подушкин. Сергей Муравьев предупредил его: «Вы, конечно, пришли одеть на меня око-вы». Подушкин позвал людей, на ноги ему одели железо. То же было сделано и с 4-мя товарищами Сергея Муравьева. Все смотрели совершенно покойно на приготовления казни, кроме Михайло Бестужева-Рюмина, он был очень молод, и ему не хотелось умирать. Ночью пришел к ним священник Мысловский с дарами. Кроме Пестеля, который был лютеранин, все они причастились. Когда после экзекуции нас ввели в казематы, их

вывели перед собор. Был 2-й час ночи. Бестужев насилу мог идти, и священник Мысловский вел его под руку. Сергей Муравьев, увидя его, просил у него прощения в том, что погубил его. Когда его привели к виселице, Сергей Муравьев просил позволения помолиться: он стал на колени и громко произнес: „Боже, спаси Россию и царя“. Для многих такая молитва казалась непонятною, но Сергей Муравьев был с глубокими христианскими убеждениями и молил за царя, как молил Иисус на кресте за врагов своих. Потом священник подошел к каждому из них с крестом. Пестель сказал вслух: „Я хоть не православный, но прошу вас благословить меня в дальний путь“. Прощаясь в последний раз, они все пожали друг другу руки. На них надели белые рубашки, колпаки на лицо и завязали им руки. Сергей Муравьев и Пестель нашли и после этого возможность еще раз пожать друг другу руки. Наконец, их поставили на помост и каждому накинули петлю. В это время священник, сошедши по ступеням с помоста, обернулся и с ужасом увидел висевших Бестужева и Пестеля и троих, которые оборвались и упали на помост. Сергей Муравьев жестоко разбился: он переломил ногу и мог только выговорить: „Бедная Россия! И повесить-то порядочно у нас не умеют!“ Каховский выругался по-русски. Рылеев не сказал ни слова. Неудача казни произошла оттого, что за полчаса перед этим шел небольшой дождь, веревки намокли, палач не притянул довольно петлю, и когда он опустил доску, на которой стояли осужденные, то веревки соскользнули с их шеи. Генерал Чернышев, бывший распорядителем казни, не потерял голову: он велел тотчас же поднять трех упавших и вновь их повесить. Казненные оставались недолго на виселице; их сняли и отнесли в какой-то погреб, куда едва пропустили Мысловского; он непременно хотел прочесть над ними молитвы...»

Дополняем этот рассказ еще некоторыми подробностями со слов одного из официальных участников казни¹¹⁰. «В полночь, это, начали съезжаться в крепость начальствующие лица: Павел Васильевич Кутузов — тогда он был генерал-губернатором, жандармский шеф (sic! Жандармский шеф появился гораздо позже. — П. С.), полицеймейстеры. Много приехало. Пошла такая суета, что ужас. Знаешь, приготовления все эти. Надобно

тебе сказать, что и прежде все с виселицей бились, никак не могли найти, кто бы взялся строить ее. Как ты будешь строить, когда весь век не видал. Взялся за это Посников полицеймейстер, да при нем архитектор Герней. Виселину строили где-то в тюрьме, потом разобрали и ночью должны были привезти в крепость. Только, братец ты мой, долго не везут. Такая пошла суматоха. Генерал-губернатор Кутузов из себя выходит просто. В это время из царской фамилии в Петербурге никого не было. Всем этим распоряжался Кутузов. Наконец, привезли виселицу, начали ставить. Не так ли что было сделано или забыли что, не знаю, говорили потом, что будто перекладина пропала, а кто их знает, вряд ли правда. Как ей пропасть. Что-нибудь там, может, повредилось, это другое дело, только надо было починку произвести. Копались с виселицей долго. Как ни понукали, братец ты мой, как не спешили, а все уже дело подходило ко дню. В четыре часа еще виселицу ставили. Нас привели в коридор казематов в Алексеевском рavelине. Затворили двери казематов и позвали преступников. Крикнули: „Пожалуйте, господа!“ Они уже были готовы и вышли в коридор, руки и ноги их были связаны так, что руки были опущены вдоль туловища, а ногами они могли делать самые маленькие шаги. Они протянули друг другу руки и крепко пожали. Некоторые поцеловались. Мы пошли в таком порядке: впереди шел офицер Павловского полка, командир взвода, поручик Пильмен, потом мы пятеро в ряд (представители полиции) с обнаженными шпагами. Мы были бледнее преступников и более дрожали, так что можно было сказать скорее, что будут казнить нас, а не их. За нами шли в ряд же преступники. Позади их двенадцать павловских солдат и два палача. Мы двигались вперед медленно, едва переступая, потому что преступники со связанными ногами не могли почти идти. Таким порядком мы вышли на Кронверк. Парка этого тогда не было в заводе. На месте его был голый пустырь, и на нем кое-где валялись нечистоты и всякая дрянь. Кронверк состоял из земляных валов и отделялся от поля и крепости водяными рвами. Дорогою преступники говорили между собой, но что они говорили, нельзя было слышать. Когда мы перешли мост на Кронверк, то увидели там солдат с ружьями, толпу

преступников и два эшафота. На одном была устроена виселица. Сперва исполняли приговор над остальными: снимали с них платье на эшафоте, надевали на них арестантское, ломали над головами шпаги... Того, над кем уже исполнен был приговор, сейчас же уводили в крепость и сажали в каземат; оттуда уже отправляли в ссылку. В ссылку, братец ты мой, возили их тоже по ночам, эдак, знаешь, перед утром, когда на улице нет народа... Когда пришла очередь вешать, к ним опять подошел Мысловский, говорил с ними, напутствовал их еще раз к отходу и дал приложиться к кресту. Потом на них надели этикие мешки, которыми они были закрыты от головы до пояса. На шею им на веревках надели аспидные доски с именами и виною их. Мы опять выстроились в порядок для шествия на эшафот под самую виселицу. Под самой перекладиной был сделан возвышенный помост, на него надобно было всходить по деревянному, очень пологому откосу. Они были совершенно спокойны, но только очень серьезные, точно как обдумывали какое-нибудь важное дело. Мешки им очень не нравились, они были недовольны, и Рылеев сказал, когда ему стали одевать мешок на голову: „Господи, к чему это!“ Палачи стянули им руки покрепче. Один конец ремня шел спереди тела, другой сзади, так, что они рук поднять не могли. На палачей смотрели с негодованием. Видно, что им крайне неприятно, когда до них дотрагивались палачи. На шею преступников надели петли и помост, на котором они стояли, опустили из-под ног. Так это было уже устроено. Они повисли и забились, замесались. Тут трое средних и сорвались. Веревки лопнули, они и упали вниз. Как упали, так и разбились в кровь, упали-то с размаха. Кутузов сперва прислал адъютанта, а потом и сам лезет, кричит, ругается. „Вешать их, вешать скорее!“ — кричит Кутузов. И, Боже ты мой, стал тут кричать и ругаться. Подняли опять на помост и вновь накинули петли. Их повесили опять. А говорят, вешать в другой раз не следовало. Это тоже Кутузова вина. За рвом было немного народу. Рано было, и никто ничего не знал, оттого и не собрались. Народ тоже это зашумел что-то. Кутузов на них закричал, а музыка еще громче играть. Простые марши играли и разные штуки. Прошло этак с полчаса, доктор говорит, что они давно померли. Велели их

снимать. Сняли, братец ты мой. У всех вылезли предлинные языки, а лица были синие, почти черные. Их сложили на телегу, сдали полицеймейстеру полковнику Дертау; он был назначен хоронить их. На день тела поставили в сарай на Кронверке же. Виселицу живо разобрали.»

Быть может, этот рассказ не рассказ очевидца, даже вполне вероятно, что он более позднейшего сочинения, особенно подозрительно то место, где очевидец казни декабристов рассказывает о парке, который появился спустя двадцать лет, но во всяком случае этот рассказ передает верно психологию момента и многие подробности, дополняющие вышеприведенный рассказ Якушкина. Считаю уместным в заключение привести всеподданейший рапорт исполнителя казни Кутузова. Этот рапорт настолько характерен, что дополнять к нему ничего не приходится.

«Экзекуция кончилась с должною тишиною и порядком, как со стороны бывших в строю войск, так со стороны зрителей, которых было немного. По неопытности наших палачей и неумению устраивать виселицы, при первом разе трое, а именно Рылеев, Каховский и Муравьев, сорвались, но вскоре опять были повешены и получили заслуженную смерть. О чем Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше доношу.»

Через тот пустырь, через тот гласис крепости, на котором разыгрался эпилог декабрьской трагедии, лежала обычная дорога на острова. На Каменном острове любил проводить лето император Александр I, а император Николай I сделал своей летней резиденцией Елагин остров.

И надо думать, что в один из своих проездов через петербургскую Сахару император Николай I обратил на нее внимание, результатом чего и появилось высочайшее распоряжение об устройстве на эспланаде против Петропавловской крепости парка. Это распоряжение было датировано 11 марта 1844 года¹¹¹.

В Николаевское время высочайшие распоряжения исполнялись с быстротой чуть ли не молнии, и через год — 30 августа 1845 года — было устроено первое гуляние в новоразведенном Александровском парке. «Подобно тому, как Петербург встречает лето в Екатерингофе, — писалось в газетах того времени¹¹², — так он привыкнет прощаться с летом на этом новом гульбище».

Первое время эти гуляния были довольно оживленными, на них считала своим долгом являться и петербургская аристократия, прокатиться по шоссированным аллеям, послушать музыку военных оркестров и посмотреть на толпы обывателей Петербургской стороны, живописными группами располагавшимися прямо на зеленеющих куртинах парка. Так, в 1847 году по парку разъезжал «какой-то денди в кабриолете или, вернее, в чичи голубого цвета с красными фонарями, на денди была венгерка синего бархата с черными тесьмами, а на голове — белая фуражка»¹¹³ — соединение цветов радуги.

В конце 40-х годов в парке возник кафе-ресторан Е. Крамера, который хотел заманивать к себе посетителей с помощью музыки, пригласив к себе в ресторан особый оркестр и назначив плату за вход 20 копеек.

«Музыка играет на террасе, выходящей на проезжую дорогу, — так повествовал хроникер 40-х годов¹¹⁴, — слушатели собираются толпами по сю сторону дороги, усаживаются на скамейки или становятся группами, расходятся и нимало не воображают, что доставляемое им удовольствие стоит содержанию денег. В самый же ресторан никому не нужно идти, чтобы слушать музыку.»

Весьма понятно, что ресторан скоро прогорел и закрылся, а с течением времени перестали обращать внимание на самый Александровский парк, не ухаживали за деревьями, не сажали цветов — предоставили парку полную свободу. Парк и разрастался, и дичал, и в начале 70-х годов XIX столетия писали¹¹⁵, что «воздух в Александровском парке также почти свеж и чист, как на некоторых дачах в окрестностях Петербурга, цветов, правда, нет, но деревьев довольно по нашей бедной природе, а травки-муравки на лужках хоть сено коси... Сотни молодых людей обоего пола бегали в горелки, сотни пожилых и старых, сидя и стоя, смотрели на них». Хроникер 70-х годов по цензурным соображениям того времени, как это не покажется странным, не мог указать, что в парке не только играли в горелки, но и, главным образом, распивали водку. Указать это хроникер не мог вот почему: за распитием водки должна была наблюдать полиция — если водку пьют, значит полиция не исполняет своих обязанностей, но в 70-х годах указывать

полиции на исполнения обязанностей значило быть «нецензурным»... Александровский парк стал местом народного гуляния, порядочная публика его не посещала.

С течением времени стало происходить уменьшение территории парка. И это обстоятельство очень характерно для истории вообще Петербурга, с ним мы можем столкнуться и в других местах города. Таких примеров, свидетельствующих об отсутствии общего плана и об устройстве, как Бог на душу положит, или как подскажут привходящие обстоятельства в Петербурге можно найти массу.

Сначала в парке было только одно С.-Петербургское заведение искусственных минеральных вод¹¹⁶, которому высочайше было отведено 1000 кв. сажен, в 1913 году¹¹⁷ территория этого учреждения достигла 2900 кв. сажен, следовательно, почти 2000 сажен были заняты самовольно у города — ведь гласис крепости, принадлежавший как гласис Инженерному ведомству, впоследствии перешел в ведение города. После заведения минеральных вод временно отвели кусочек, правда, маленький, под ресторан. Далее часть парка занял Зоологический сад. Конечно, Зоологический сад имеет очень отдаленное, только территориальное, так сказать, отношение к крепости, но возникновение этого учреждения настолько характерно, так обрисовывает былое время, что мы считаем уместным привести небольшую справку о нем, тем более, что, как увидит читатель ниже, этот Зоологический сад фигурирует в воспоминаниях одного из подневольных жителей крепости...

В тусклый туманный октябрьский день 1845 года¹¹⁸ к нынешнему Екатерининскому, а тогда Александровскому, скверу на Невском проспекте, против Александринского театра, подъехала маленькая избушка на колесах, и из нее выскочила не старая-престарая баба-яга, а хорошенькая голландка в национальном костюме. На избушке, которая остановилась посреди сквера, было написано большими буквами «Голландские вафли», и молоденькая голландка начала печь эти вафли в своей подвижной избушке. Петербуржцам понравилась эта затея, пришлось по вкусу и вафли, а кажется, еще больше хорошенькая голландка, которая звалась «София Тер-Реген, уроженка городка Гроннинген в Голландии», по крайней мере,

единственная в то время газета «Северная пчела» уверяла, что «с утра до вечера перед фургоном стоят экипажи, а в домик пробраться трудно».

Со сквера Александринского театра София Тер-Реген перебралась в Пассаж, тогда только что выстроенный, и стала прельщать петербуржцев и выписными великанами «Голиафами»¹¹⁹, и «кабинетом восковых фигур», и «египетскими мумиями», и другими разными разностями.

А вскоре София Тер-Реген стала госпожей Гебгарт. Она вышла замуж за немецкого доктора зоологии Юлиуса Гебгарта. Знакомство произошло где-то в глубине России: София Тер-Реген была очень практичной женщиной: в Петербурге она пекла вафли, показывала голиафов и другую диковину, а летом, когда в Северной Пальмире наступал мертвый сезон, отправлялась путешествовать по России с небольшим зверинцем. Во время одной из таких поездок София Тер-Реген свела знакомство с доктором зоологии Гебгартом, который и прельстился, быть может, зверинцем, а, быть может, все еще хорошенькой, неувядающей хозяйкой. Превратившись в госпожу Гебгарт, голландка не переставала забавлять петербуржцев; пожиная хорошую жатву, она стала в больших капиталах и, очевидно, под влиянием своего мужа решилась открыть в Петербурге нечто невиданное: Зоологический сад.

Петербург чуть ли не с первых дней своего существования познакомился с различными зверинцами, и первый Зверовой двор был учрежден Петром Великим в 1711 году¹²⁰. Этот зверовой двор — попросту обыкновенная изба — стоял недалеко от почтового «дома», приблизительно напротив бывших казарм лейб-гвардии Павловского полка. В 1718 году¹²¹ он был перенесен на Фонтанку, туда, где теперь находится Моховая улица, а в то время Хамовая, на перекрестке Симеоновской. Здесь огородили большое пространство, выстроили две избы для львов и помещение для слона¹²². Первый слон прибыл в Петербург из Персии в 1714 году. Он от Астрахани путешествовал по России пешком, для него были сделаны особые кожаные сапоги (факт!), и крестьяне большинства деревень, через которые следовал слон, считали его чуть ли не каким-то божеством и воздавали ему громадные почести: становились

перед ним на колени и т. п. Так, по крайней мере, рассказывает очевидец, голландский министр-резидент Вебер¹²³. Зверовой двор недолго оставался на выбранном Петром Великим месте, при Анне Иоанновне слоны были переведены поближе к Летнему дворцу: для них и диких быков — аурокосов — был построен двор приблизительно там, где был цирк Чинизелли¹²⁴; отсюда, уже в царствование Елизаветы Петровны слоновый двор перевели на площадь за нынешней церковью Знамения — вот почему бывший Суворовский проспект долгое время звался Слоновой улицей. Наконец, при Екатерине II нашли неудобным содержать царские зверинцы в самом Петербурге, их перенесли в окрестности: в Царское Село, Петергоф¹²⁵...

Но взамен царских зверинцев стали появляться зверинцы предприимчивых иностранцев. Они приезжали в Северную Пальмиру сперва с одним или несколькими зверями. Так, в 1769 году у иностранца Антонио Шо́зе можно было видеть «одного африканского верблюда, трех обезьян и двух ежей»¹²⁶, в 1778 году на Невской перспективе, на дворе карточной фабрики, против вольной аптеки, показывается молодой и хорошо обученный слон¹²⁷. С начала 90-х годов XVIII столетия в Петербург стали приезжать уже целые зверинцы, из них в 20-х годах XIX века славился зверинец Лемана¹²⁸, в 30–50 годах конкурировали два зверинца — Зама и Турнера¹²⁹, в последнем петербуржцы в 1838 году впервые увидели носорога¹³⁰. Эти зверинцы помещались в особо устроенных ротондах, одна из них была на углу Мойки и Кирпичного переуллка, другая помещалась у Почтового мостика на месте современной Реформаторской церкви. Тут именно в 1851 году петербуржцы увидели привезенных в первый раз в Петербург живых жирафов¹³¹.

Все вышеуказанные предприниматели не могли пожаловаться на недостаток посетителей, наоборот, посетителей было так много, что владельцы зверинцев возвращались в свой «фатерланд» вполне довольными.

Очевидно, это обстоятельство и подтолкнуло чету Гебгардтов на устройство в Петербурге уже не зверинца, а настоящего Зоологического сада. У г-жи Гебгардт были высокие покровители в лице одного из великих князей, и 25 февраля 1865 года¹³²

состоялось высочайшее повеление о бесплатной отдаче на 20 лет участка земли в Александровском парке для устройства Зоологического сада. Участок был отрезан не маленький, а 3 десятины 43,65 кв. сажен. Получив землю, Гебгардты принялись деятельно за работу — участок был обнесен забором, большая часть была отведена под зверинец, а в меньшей, прилегавшей к Неве, устроен особый садик с террасой и с рестораном — кое-какие звери были у Гебгардтов, кое-что было выписано, от Александра II был получен в подарок слон, и 1 августа 1865 года¹³³ открылся Зоологический сад. Открытие это приветствовалось прессой того времени: «В Александровском парке открыт Зоологический сад. Он еще не богат, но мы искренно порадовались тому, что публика посещает его довольно усердно. Это не мешает, однако, учредителям потерпеть большой убыток, если они не успеют сбыть своего сада какому-нибудь правительственному учреждению. Существование у нас такого сада единственно с поддержкой публики невозможно».

Из этих строк видно, что г-жа Гебгардт хотела получить при самом открытии сада правительственную субсидию, но, несмотря и на благосклонность великого князя, субсидии не было дано. Саду дарили высокие лица редких зверей: кроме двух слонов от императора Александра II¹³⁴ сад получил от великого князя Александра Михайловича леопарда и двух корейских пони, от принца Александра Ольденбургского — гигантского мандрила, в 1867 году Академия наук подарила скелет кита, но денег так и не давали, чета Гебгардтов должна была выворачиваться сама. И надо отдать им справедливость, они умели поставить дело так, что сад не давал убытка. В 1866 году был выпущен первый путеводитель по Зоологическому саду, в нем указывался путь осмотра находящихся зверей, давалась краткая их характеристика. Заканчивался путеводитель следующей характерной фразой: «Последнее помещение вмещает буфет с небольшим отдельным садиком, где все готово к услугам желающих подкрепить свои силы после кругового обхода сада». Таким образом, с самого основания Зоологический сад был связан с рестораном, причем вначале ресторан занимал незначительную часть территории сада, а под конец своего существования ресторан и увеселительные

заведения заняли главную часть сада, оставив для зверей очень немного места. Правда, очень часто в Городской думе, еще чаще в печати делались заявления о необходимости обратить серьезное внимание на Зоологический сад, сделать его действительно Зоологическим садом, но эти разговоры так и оставались разговорами, а на территории бывшей части Александровского парка процветала «зоология, кафе-шантан, самого откровенного пошиба...»

И вся эта история с отводом места, с устройством quasi-научного учреждения напоминает собой одну из тех феерий, которые очень любили ставить на открытой сцене зоологии... Какая-то голландка, торгующая вафлями, любовница великого князя, получает право на открытие научного учреждения большого значения. Это научное учреждение числится на бумагах, в отчетах как таковое, являясь на самом деле местом пьянства и разврата, и все это считается вполне нормальным, обычным явлением...

Вслед за зоологией на Александровский сад обратило свое благосклонное внимание и другое, столь характерное для умершего режима учреждение — Попечительство о народной трезвости. В 1900 году Попечительству о народной трезвости отвели (Александровский парк перешел уже в ведение города) участок, чтобы устроить театр, открытую сцену, сад, где народ за небольшую плату мог бы получать разумное развлечение, отвлекающее его от водки, пьянства, от грязной харчевни и кабака. Попечительству отвели 21,110 кв. сажен, и оно, увеличивая свои начинания, устраивая новый громадный театр, опираясь на то, что оно официальное учреждение, совершило в 1913 году небезвыгодную для себя операцию — заложило непринадлежащую ему городскую землю, уступленную только во временное пользование...

Незадолго до революции из Александровского парка исчезла срубленная за старостью лет ива, росшая в части, ближайшей к Кронверку, и изображенная на прилагаемом при сем рисунке. (К сожалению, рисунок привести невозможно из-за плохого качества изображения. — *Прим. ред.*)

По преданию, эта ива была старше Петербурга. Под ней в первые годы существования Невской столицы какой-то пришедший

старец, босой, с раскрытой грудью, с громадной седой бородой, всклокоченными волосами, проповедовал первым аборигенам Петербурга, что Господь разгневается и потопит столицу антихриста.

«Разверзнутся хляби небесные, пойдет дождь с неба, вспять побежит Нева, и подымутся волны морские, — вдохновенно прибавлял старец, — выше этой старой ивы».

И старец назначил день и час грядущего наводнения.

Про эти речи узнал Петр. По его приказанию старца приковали на железной цепи к той самой иве, под которой он проповедовал и которую, по его словам должно было залить наводнение.

Наступил день, предсказанный старцем. Наводнения не было. А на другой день жестоко били батогами под той же ивой неудачливого пророка.

И долго еще жила ива, пока, наконец, в наши дни ее не признали высохшей, грозящей падением, а потому и срубили...

В своих, цитированных нами уже несколько раз, записках камер-юнкер голштинского герцога Берхгольца под 1721 годом писал¹³⁵: «Она, т. е. Петропавловская крепость, есть в то же время род Парижской Бастилии. В ней содержатся все государственные преступники, и нередко исполняются телесные пытки. Многие пленные шведские офицеры содержались там в казематах, находящихся по валам. Покойный царевич, впавший в немилость у государя и судебным порядком приговоренный к смерти, под конец был также заключен в эту крепость и в ней умер».

Таким же образом, уже в 1721 году было ясно другое значение, которое имела Петропавловская крепость. Потеряв чуть ли не с первого дня своего существования стратегическое значение, она стала иной крепостью, иным оплотом — она была оплотом все сильнее и сильнее развивающемуся у нас деспотизму. С 1718 года Петропавловская крепость несла свою мрачную ненавистную службу «самой большой государственной тюрьмы в России, в которой рано или поздно бывают заключены все важнейшие и опаснейшие политические преступники», — так писал известный исследователь русских тюрем Джордж Кеннан. «Всякий, бывавший в Петербурге,

конечно, видел, — продолжает Кеннан, — высокий позолоченный шпиц, возвышающийся на 400 футов над низменным берегом Невы против Зимнего дворца. Это шпиц на колокольне Петропавловского собора, в котором покоятся останки русских царей, а вокруг которого почти на такой же глубине томятся враги самодержавия».

Первым, попавшим в Петропавловскую тюрьму как политический преступник, был цесаревич Алексей Петрович, сын Петра Великого. Сидел он, по всей вероятности, или в каком-нибудь помещении, устроенном в Трубецком бастионе, или же в прилежащей к этому бастиону куртине. Общераспространено предание, что цесаревич Алексей содержался в Алексеевском рavelине. В очерке А. Пругавина «Петропавловская крепость. Очерк первый. Декабристы»¹³⁶ мы читаем: «Самой старинной тюрьмой в Петропавловской крепости является, без сомнения, знаменитый Алексеевский рavelин, названный так по имени цесаревича Алексея, который содержался в одной из его казематов». Как видел читатель из предшествующего очерка, цесаревич не мог быть заключен в Алексеевский рavelин, так как этот рavelин стали строить только в 1733 году. Это обстоятельство в то же время служит опровержением и другому, высказанному Пругавиным, взгляду, что этот рavelин является «самой страшной тюрьмой»¹³⁷. Отделение тюрьмы в Петропавловской крепости произошло сравнительно поздно, а именно в 1870–1871 годах. В это время, как можно заключить по тем отрывочным данным, которыми мы могли пользоваться, появилась тюрьма Трубецкого бастиона. По крайней мере, в середине 1870 года во всей петербургской прессе появилась такая коротенькая заметка: «В настоящее время идут — по словам „Голоса“ — весьма деятельные работы по обращению казематов Невской куртины в Петропавловской крепости в места одиночного заключения»¹³⁸. Здесь, конечно, было немало неправды, переделывалась не Невская или, как ее также звали, Екатерининская куртина, в которой при Екатерине II были устроены ворота на Неву, а устраивалось новое помещение в самом Трубецком бастионе. Для этого нового помещения уже в следующем 1871 году понадобились дрова и осветительные материалы. В «Известиях Городской думы» за 1871 год

читаем: «Об отпуске дров и осветительных материалов для вновь возведенного в С.-Петербургской крепости здания для политических преступников»¹³⁹. С этих пор в Петропавловской крепости стали иметься 72 камеры в Трубецком бастионе и 18 в Алексеевском равелине, всего 90 одиночных камер для политических преступников, и этим количеством романовское правосудие удовлетворялось. До означенного времени для заключения политических преступников пользовались, главным образом, Екатерининской куртеной и Алексеевским равелином, когда он был построен. Временами, когда в крепость посылали арестантов массами, конечно, приходилось использовать чуть ли не каждый свободный уголок.

Итак, первым политическим арестантом Петропавловской крепости была особа царского рода, сын царя, наследник Российского престола. Существует и другое предание, что будто бы Петр Великий, после допросов с пыткой Алексея, собственноручно задушил его подушкой. Проверить и установить это предание, конечно, нет никакой возможности, но, кажется, более правдоподобно, что цесаревич не выдержал тех пыток, которым он подвергался, и умер скоропостижно.

Тюрьма ненадолго оставалась пустой. Второстепенных узников, вроде шведских офицеров, она никогда не лишалась, но эти узники, заслуживающие сострадания, не могут привлекать нашего внимания. Но вскоре в Петропавловскую тюрьму попал в декабре 1721 года полковник и наказной атаман малорусских казаков Полуботок, в уста которого опять-таки предание вложило следующие характерные слова: «Вступаючись за отчизну, я не боюсь ни кандалов, ни тюрьмы. Для меня лучше наигоршею смертью умереть, як дивитися на повтшехну гибель моих земляков»¹⁴⁰. Полуботок рисуется по этому апокрифу защитником вольностей казаков, защитников их прав от нападений Петра Великого, желавшего подчинить государственности хохлацкое казачество и введившего «свою коллегия» и в Малороссии. Очевидно, что и Полуботок должен был попасть в Петропавловскую крепость и окончить там свои дни.

Не при Петре Великом, но при его ближайшей преемнице Екатерине I, попал в Петропавловскую крепость один из выдающихся русских умов первой четверти XVIII столетия

Иван Посошков для того, чтобы умереть в этой крепости 1 февраля 1726 года. Только что появилось его сочинение «О скудости и богатстве», и сейчас же последовало обвинение в государственном преступлении, а отсюда, как естественное обычное следствие — заключение в Петропавловскую крепость. Книга И. Посошкова — первого русского экономиста — есть целая программа переустройства русского государства. Но самодержавие уже и в то время тщательно защищало свою прерогативу, что «реформы исходят от трона», что подданные не смеют заниматься измышлением реформ, пусть они даже вполне благожелательны для трона, как например, в деле Посошкова, который был и националист, и защитник абсолютного монархического принципа...¹⁴¹

17 января 1742 года¹⁴² открылись ворота Петропавловской крепости, и через Петровский мост, чуть ли не через весь Петербург на Васильевский остров, на площадь перед Двенадцатью коллегиями (ныне Университет, тогда высшие государственные учреждения, между ними и Сенат) проследовала странная процессия, окруженная обильным воинским караулом. Впереди тащилась деревенская кляча, запряженная в крестьянские дровни, на дровнях была накинута солома и на ней полулежал и полусидел в красной шубе-халате на лисьем меху и в дорожной шапке сверх парика бывший канцлер, петровский сподвижник Остерман. За ним, за этими дровнями шли один за другим — фельдмаршал Миних, граф Головкин, барон Менгден, обер-гофмаршал Левенвольд и последний любовник принцессы Анны Леопольдовны действительный статский советник Тимирязев. Перед Сенатом был устроен высокий эшафот, окруженный рядами войск, за которыми толпился народ.

Новая царица, дочь Петра Великого, Елизавета Петровна сводила счеты с теми, кто защищал и окружал только что свергнутую ею царицу Анну Леопольдовну и ее малолетнего сына, российского императора Иоанна VI Антоновича... Приговор, произнесенный судьями, был жесток: Остерману — колесование, Миниху — четвертование, а прочим — отрубление голов. До своего приговора с памятной ночи на 25 ноября 1741 года все эти самые высокие, самые сильные сановники России провели

в казематах Петропавловской крепости, и только тогда, когда Остерман положил уже голову на плаху, последовала высочайшая милость: смертная казнь заменялась ссылкой в разные места Сибири...

Блестящий Екатерининский век — век Северной Семирамиды, век просвещенного абсолютизма, век, когда печатание французской энциклопедии должно было быть перенесено в Россию, когда писался «Наказ» и, как выразился сам автор «Наказа», — «обдирался для наказа Монтескье», когда созывалась комиссия для составления уложения, когда появился указ о свободе книгопечатания, о праве каждого иметь типографию, в это достопамятное царствование величайшей актрисы казематы Петропавловской крепости не пустовали. Они часто принимали в себя тех, кто был опасен для сидевшей на Российском троне ангальт-цербтской принцессы.

4 декабря 1775 года в одном из казематов Петропавловской крепости, быть может, даже в одной из камер Алексеевского равелина, от злейшей чахотки умерла княжна Тараканова, даже перед кончиной, на духу, не открывшая своей тайны — тайны своего происхождения, — духовнику¹⁴³.

В крепости эта княжна прожила очень недолго — в мае месяце 1775 года она была доставлена в крепость из Ливорно, где ее арестовал по приказанию Екатерины II адмирал Грейг. В крепости ее ждал ряд продолжительных допросов. Допрашивал ее сам фельдмаршал князь Голицын, но показания были противоречивы, и нельзя было в них правду отделить от вымысла. Да едва ли могла это сделать и сама княжна Тараканова, переменившая бесконечное количество кличек во время своей недолгой и чрезвычайно бурной эффектной жизни. Сначала просто красавица-кокетка, прожигательница жизни, она, спасаясь от многочисленных кредиторов, в 1772 году появляется в Париже. Здесь она является одновременно и персидской принцессой Али-Эмете и российской княжной Володимирской... Такой она пробыла до 1774 года, когда последовало очередное превращение — она стала княжной Таракановой, дочерью императрицы Елизаветы Петровны и Разумовского и в то же время сестрой Пугачева. Облекшись в это новое звание, она заявила себя претенденткой на всероссийский

престол и стала рассылать свои «манифестики» и ряд писем к многим русским вельможам... Ни «манифестики», ни переговоры с султаном, ни просьбы к папе не помогли делу, и самозванка познакомилась с казематами Петропавловской крепости, где и умерла. Предание разукрасило смерть Таракановой: оно отнесло ее на два года (10 сентября 1777 года) ко дню знаменитого петербургского наводнения, в которое, будто бы, княжна Тараканова и погибла. Этим преданием воспользовался для своей картины русский талантливый художник Флавицкий. Он изобразил княжну Тараканову стоящей в каземате на постели. Через разбитое стекло окошка льется вода, и крысы, спасаясь от наводнения, вползают на постель несчастной княжны. Декабристы, гулявшие в садике Алексеевского равелина, видели небольшой холмик-могилку, где, опять-таки по преданию, была похоронена эта таинственная княжна.

4 сентября 1790 года один из казематов петербургской крепости открылся для заключения в нем русского писателя Александра Радищева. Из этого страшного каземата Радищев был сослан в далекую Сибирь... Преступление Радищева — издание книги «Путешествие из Петербурга в Москву», книги, как выразилась в своем указе императрица Екатерина II, «наполненной самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное ко властям уважение, стремящимися к тому, чтобы произвести в народе негодование противу начальников и начальства, и, наконец, оскорбительными и неистовыми изложениями противу сана и власти царской». За это преступление суд приговорил Радищева к смертной казни, но царица смягчила приговор, заменив смертную казнь ссылкой в Сибирь в Илимский острог на «десятилетнее безвыходное пребывание».

«Путешествие из Петербурга в Москву» — первый печатный протест против крепостного права. В этом главная вина Радищева. Вина его заключалась в том, что он думал, что те идеи, которые с пафосом высказывала Екатерина, когда отправляла десять русских студентов, в том числе Радищева, в Лейпциг, остались идеями Екатерины II, и к ее старости, к тому времени, когда над изумленной Европой разразилась гроза французской революции... Екатерина II увидела в книге

Радищева призыв к революции, призыв к ниспровержению властей, а затем Екатерину II сильно укололи, как человека, те справедливые нападки, которые делал Радищев...

Эпиграфом к своей книге Радищев выбрал характерный стих Тредьяковского из его перевода «Телемахиды»: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй», и русская действительность оказалась для Радищева этим чудищем облым, озорным, огромным... Была исковеркана жизнь, и громадный талант погиб для России. Но даже во время своего пребывания в каземате Петропавловской крепости Радищев не забывал своего назначения, не забывал, что он писатель. И как только ему разрешили иметь бумагу, чернила, перья, как он стал писать, и результатом его творчества явилась повесть о Филарете Милостивом.

17 октября 1820 года, в 8 часов вечера¹⁴⁴ под конвоем двух рот Павловского полка была отведена в Петропавловскую крепость рота его величества лейб-гвардии Семеновского полка в количестве 167 человек, а на другой день около 6 часов утра были доставлены туда же и остальные семеновцы 1 батальона в количестве 750 человек. Разыгралась известная история возмущения семеновцев против назначенного им полкового командира Шварца. Как разместили почти тысячу человек семеновцев в Петропавловской крепости, трудно себе представить, — в небольшие казематы наталкивали по несколько десятков людей. Они спали на каменном полу, на обрывках соломы, которую в ограниченном количестве бросали в казематы. Болезни свирепствовали между заключенными, была велика и смертность.

Заключение семеновцев в крепость было первым массовым заключением. Оно предшествовало заключению в Петропавловскую крепость декабристов. О том, как были заключаемы декабристы, каковы были условия их жизни, мы имеем свидетельства непосредственных участников. Мы можем теперь приводить их подлинные слова, а не ограничиваться лишь историческими датами да немногими фактами, случайно сохранившимися. Наиболее подробно и систематично о заключении декабристов имеется в записках Завалишина, к которым привыкли относиться с большой осторожностью.

Это замечание вполне относится к тем местам, где Завалишин касается, главным образом, своей личности, своей деятельности, а также к его отзывам о других действующих лицах. Но в описании чисто фактическом, в описании крепости Завалишин, видимо, не допускал преувеличений и сообщал то, что соответствовало действительности. Правдивость его описания подтверждается записками других участников. Завалишин сообщает следующее¹⁴⁵: «Кажется, было в расчете следственного комитета не давать нам долго оставаться на одних местах, вероятно, из опасения, что мы сблизимся или между собой или со сторожами. Поэтому, собственно в крепости нас часто переводили из одного места в другое. Так и меня перевели из Трубецкого бастиона (здесь ошибка, в бастионе помещения не было, вероятно, Екатерининская куртина, а, может быть, те ходы в стенах Трубецкого бастиона, которые в настоящее время привлекают внимание посетителей и являются остатками помещений для арестантов), в Кронверкскую куртину, оттуда к главным воротам и, наконец, когда больше ознакомились с моим значением, в Алексеевский рavelин, составлявший крепость в крепости, или, по простонародному выражению, каменный мешок, который поэтому и заслуживает, чтоб описать его подробнее. «Здание, находящееся в Алексеевском рavelине и составляло собственно государственную тюрьму. Все другие помещения в крепости были, так сказать, случайные и временные. Алексеевский рavelин имел своего отдельного коменданта и свою постоянную инвалидную роту, которая пользовалась большими льготами, но зато не имела права выхода из крепости¹⁴⁶, исключая одного ее фельдфебеля, который посылался с необходимыми бумагами в Городскую думу, так как содержание здания было отнесено на счет Думы по одной из тех странных аномалий, каких в то время оставалось еще множество от старины. Комендант рavelина во время нашего заключения был высокий, бодрый старик, швед Лимеканкер, как называли его инвалиды. Говорили, что ему было уже около 90 лет. Небольшой мостик соединял рavelин с крепостью, со стороны рavelина на нем стояли два инвалида, а со стороны крепости два гвардейских часовых из сменявшегося ежедневно гвардейского караула в крепости. (В дальнейшем изложении

читатель найдет еще ряд описаний равелина, также план и снимки его, что и позволит вполне ясно представить себе положение и внешний вид равелина. — П. С.) Заключенные в равелине известны были уже не под своими именами, а под номерами комнат, в которых содержались. Когда требовали кого в следственный комитет, то посылался плац-адъютант крепости с бумагою о присылке № такого-то. Посланный останавливался на мостике, передавал бумагу начальнику инвалидной команды, выходившему ему навстречу. Это бывало всегда поздним вечером или ночью. Арестанту надевали на голову черный капор и так вели в следственный комитет и снимали капор в самой комнате заседания комитета. Может быть, это было рассчитано для произведения эффекта. Но так как воровство в России вкрадется всюду, то и капоры были сшиты из такого редкого миткаля, что сквозь него можно было видеть все, как через сетку.

«Тюремное здание равелина, по треугольной форме этого рода укреплений, было также треугольно. Внутренний дворик, имевший в каждой стороне треугольник по двадцати с небольшим шагов, был обращен в садик и, кроме дорожек вдоль стен, имел посредине одну только дорожку против дверей. На правой руке этой дорожки была видна, еще в мое время, в виде небольшой грядки, могила княжны Таракановой, что и сделалось известным через меня. Я сообщил о том Михаилу Николаевичу Лонгинову, а он напечатал в Русском Архиве».

Комнаты в тюремном здании были обыкновенные, окна большие и четырехугольные, не так, как нарисовано на известной картине Флавицкого «Смерть княжны Таракановой», где окна представлены вверху овальными. Здание было одноэтажное и, следовательно, также ошибочно показано двухэтажным у Мельникова в его исследовании о княжне Таракановой. Окна имели, разумеется, снаружи железные решетки и были закрашены известью. Замки у дверей были обыкновенные, поэтому не было слышно никогда того шума, который происходил в крепости от отодвигания и задвигания запоров, а как притом в коридорах были постланы толстые маты, то не было даже слышно шагов часовых. В дверях было маленькое отверстие со стеклом, через которое можно было наблюдать

все, что делает арестант в комнате. Отверстие это закрывалось снаружи клеенкой, которая приподнималась, когда надобно было часовому или коменданту заглянуть в комнату. Все печи топились и закрывались из коридора».

Порядок в рavelине был следующий: «время для вставания не определялось. Каждый вставал, когда хотел, но за этим наблюдали. Лишь только арестант встанет, не пройдет и десяти минут, как появляется комендант с большим числом сторожей. Пока один подаст умываться, другие убирают комнату и приносят чай, если кому он полагается. Горячую воду, впрочем, приносят в чайнике, а самовара не подают. В это время комендант спрашивает о здоровье и ведет иногда и посторонний разговор, но только или об очень отвлеченных предметах, или об очень давней старине. О настоящем же времени, даже о погоде, ничего не скажет. Раз палили из пушек, я спросил о причине пальбы. „Вы ошиблись, это был, верно, гром“, отвечал он мне, хотя инвалид и сказал мне после, что действительно была пальба по случаю коронации. Обед, вечерний чай и ужин подавали, когда спросим, только последний не позже 9 часов. Ночью горел всегда ночник. Книги давали духовного содержания, только впоследствии, по ходатайству Левашева, мне давали книги из моей библиотеки. По предписанию доктора водили гулять в садик в сопровождении инвалида. В садике было одно хилое деревцо и несколько кусточков. Разумеется, кроме стен и неба ничего не было видно, и, только отойдя во внешний угол и ставши на рундук, прикрывающий сток воды, мы могли видеть архангела с трубою на шпиге Петропавловской крепости, как бы символ того, что только в общем воскресенье мертвых может надеяться возвратиться к жизни тот, кто раз попал в эту живую могилу».

Мебель составляли кровать, стол и стул. Компаньонами заточенного были маленькие красные муравьи, черные тараканы, сверчки, мокрицы и мыши, и наблюдение над всеми этими животными составляло одно из обычных развлечений узников. Впрочем, вскоре нашлось и другое развлечение: это разговор с соседями сквозь стену. Разумеется, голоса через толстую каменную стену не могло быть слышно, но если ударишь в стену чем-нибудь, хотя бы гвоздем, карандашом и т. п., то звук легко

передавался и это подавало мысль составить условную азбуку вроде употребляемых для сигналов телеграфов и пр. Трудно было только сначала понять основание азбуки или систему; но раз, «что сосед догадался в чем дело, то разумение остального развивалось уже очень быстро. Чтобы избежать большого числа ударов, производились различные сочетания. Иное, например, значило два отдельных удара, иное — сплошное... Один удар означал букву А, два сплошные У и пр. Впрочем, системы были разнообразные, более или менее удобные, но так как было много свободного времени, то они достигали своей цели, служа средством сообщения не только с соседями, но через них с самими отдаленными номерами и вместе с тем доставляли занятие и развлечение».

Нельзя сказать, что не было и других средств сообщения, особенно у тех, которые могли щедро платить через родных. Говорят же, что в России деньги все портят, но отчасти могут и исправлять многое. Выше сказано было, что фельдфебель инвалидной роты носил бумаги в Городскую думу. Он решился воспользоваться этим случаем, чтобы предложить арестантам и родным их служить посредником для сношения за известную плату. Между тем, относительно инвалидов, служивших сторожами при арестантах, он выказывал себя чрезвычайно строгим. Он не только не позволял им входить без себя в комнаты арестованных, но не позволял им даже ни минуты оставаться и при нем, коль скоро они, например, подали обед или чай, и даже кричал на них, если ему покажется, что кто-нибудь засмотрится на арестанта, так что иногда, когда это им удавалось, они из-за спины его знаком показывали, что и хотели бы остаться и что-нибудь сказать, но что страшно его боятся. И вот раз вечером, он вошел ко мне, как будто для того, чтобы поправить постель к ночи, и я видел, что он что-то положил под тюфяк в том углу кровати, который не был виден часовому. Я нашел под тюфяком письмо от сестры одного из моих товарищей, кн. Волконской, которая писала мне, что я могу вполне положиться на фельдфебеля, что он служит и другим моим товарищам и чтоб я уведомил его о доставлении ее письма. С тех пор я вел переписку со многими в городе.»

Таковы воспоминания Завалишина. Они, безусловно, интересны тем, что дают общую цельную картину Алексеевского равелина, и эту картину будет любопытно сравнить с картиной, нарисованной народовольцами. Недостаток этих воспоминаний заключается в том, что они слишком рассудочны, слишком продуманы. Они написаны не под непосредственными воспоминаниями, а именно для того, чтобы представить общую картину. И чтобы вполне ясно нарисовать картину содержания декабристов в Петропавловской крепости, нужно обратиться к другим источникам, к воспоминаниям других участников этой героической попытки свержения самодержавия. Мы приведем ряд таких выдержек, расположив их по степени виновности (по обвинительному акту) участников. Такое расположение позволит до известной степени решить вопрос, была ли какая-нибудь система в содержании заключенных или все зависело от случайности. Прежде всего даем место В. П. Зубкову, пробывшему в заключении всего только 12 дней, тотчас освобожденному и не имевшему никакого прикосательства к обществу декабристов. В. П. Зубков был советник 2-го департамента Московской палаты Гражданского суда¹⁴⁷.

«В глубине двора я увидел здание с низкой дверью, перед которой мы остановились. Темная каменная лестница привела нас в помещение, где находилось несколько солдат. Оно освещалось фонарем, висящим на потолке. Налево была дверь, ее отперли, мы вошли в другое помещение, большую часть которого занимала огромная русская печь. Она имела такой печальный вид, что я просил плац-майора дать мне другую, меньшую комнату, которую, входя, я заметил направо, напротив этой комнаты. Он согласился и оставил меня с адъютантом. И так мы вошли в эту маленькую комнату. Адъютант спросил, были ли на мне деньги или драгоценные вещи. Я ответил, что у меня все отобрали на гауптвахте. Он сказал, что, по правилам, меня следовало бы раздеть; но он ограничился обыском моих карманов. Когда он дошел до жилета, я почувствовал шелест сторублевой бумажки под подкладкой и готов был передать ему, но он, к счастью, одернул руку. Затем он взял список моих людей в Москве до кормилицы и няни детей — не знаю, зачем все это. Я решил его спросить, есть ли тюрьма лучше моей.

— Да, — отвечал он, — есть лучше, но есть и хуже.

— Да, — заметил я, — каземат.

— Но ведь вы в каземате, — возразил он.

Он поставил на окно лампу и, уходя, сказал, что если я захочу писать его величеству или коменданту или кому бы то ни было, мне стоит только спросить чернил, бумаги и перьев, в чем никому не отказывают. С этими словами он ушел. Я слышал, как мою дверь заперли на ключ, затем заложили железный болт и шумно заперли и его.

Я расстелил на постели шубу и бросился на нее; я не спал три ночи, и, наконец, мне посчастливилось заснуть. Меня часто будил шум, который производили солдаты в первой комнате. Они спят полдня, и поэтому большую часть ночи проводят без сна в болтовне.

Я проснулся в восемь часов. Я встал и начал осматривать мое помещение. Это была комната в шесть шагов длины и пять ширины. Входная дверь была пробита в перегородке из вертикальных балок, выходящей в первую комнату, левая стена также была перегородка. Напротив двери находилась внешняя каменная стена, окно которой выходило на двор, а правая стена была просто сводом, начинающимся у пола и доходящим наверху до левой стены, так что, когда голова касалось свода, ноги от него были еще на полтора шага отступя. Окно было в углублении, стекла были так грязны, что через них почти ничего не было видно; за окном была последняя решетка. Свод был довольно сырой. В каземате было очень грязно, но зато светло. Кровать состояла из нескольких досок, искусно соединенных железными полосами. Соломенный тюфяк и подушка лежали на двух узких досках с большим пустым промежутком, причем одна доска была значительно толще другой. Простыня была, разумеется, из грубого полотна и очень грязна. Стула не было, а стол надо было прислонять к стене, чтобы он не упал. Вместо ночной вазы в углу комнаты стояла деревянная кадushка, издающая отвратительный запах. Прибавьте к этому бутылку с водой и лампу, и вы получите представление о всей моей мебели и утвари.

Накануне я ел только 1 раз: мне очень хотелось есть, и я думал о часе обеда, когда солдат принес мне чай. Признаюсь, я совсем не надеялся получить его, и на глазах моих выступили слезы радости. Сначала я думал, что это любезность со

стороны коменданта, но солдат сказал, что чай получают все заключенные. По-видимому, это не совсем так, потому что дежурный офицер спросил меня однажды, дают ли мне чай. Чай приносят уже готовый в чайнике, и с ним дают три куска сахара и маленький белый хлеб: солдат приносит все это за пазухой мундира, поэтому можно вообразить как это грязно. Мне дали еще чашку. Ее не меняли все время моего заключения. За неимением стакана я пил из нее и воду.

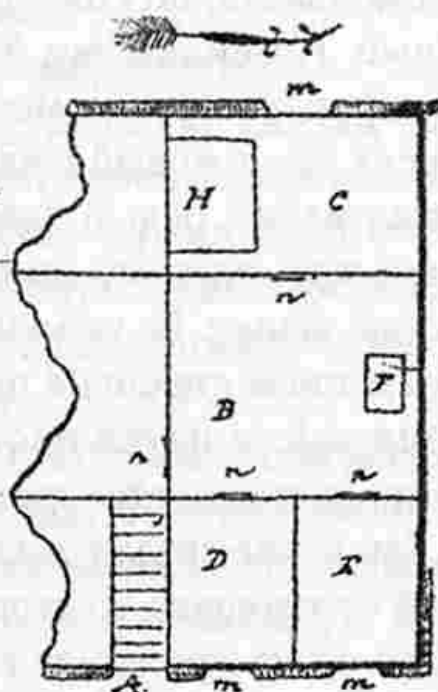
Окончив чай, я начал протирать кусок стекла в окне и добился, что, наконец, стал видеть людей, проходящих мимо. Это окно, как я уже сказал, выходило на Лабораторный двор, отделенный от площади со стороны Монетного двора стеною с аркою. Эта стена прилегает налево к башне, составляющей часть Монетного двора. Через арку я видел часть этого здания в глубине — гауптвахту. В 10 часов утра артиллерийский офицер пришел справляться о моем здоровье. Он служит здесь с 14 декабря, и вся его служба состоит в том, что он обходит каждое утро и вечер камеры и узнает о здоровье заключенных.

Я нашел на окне несколько обломков стекла и нацарапал на верхней доске стола „Ва... Зу... Содержится здесь с 12 января до ...“

Около полудня я увидел идущим по двору плац-адъютанта и священника. Я предполагал, что они идут ко мне, но не мог понять, зачем. Чтобы ободриться, я выпил чашку холодной воды и советую делать это всякому в случаях, когда надо сохранить присутствие духа. Через минуту дверь отворилась, плац-адъютант ввел ко мне старика священника и оставил нас одних. Он спросил меня, как я очутился здесь. Я ответил, что я не виновен ни в чем. Он сказал, что меня будет допрашивать комитет, и его послали убедить меня ничего не скрывать, что я ему и обещал. На этом он ушел. Я был очень недоволен этим посещением, думая, что этот глупец не способен нести утешения вновь заключенным.

В два часа мне принесли обед: в мисочке суп с нарезанными кусочками мяса, два куса хлеба, черного и пеклеванного, и тарелку плохой черной каши с прогорклым маслом. Я съел очень мало.

- A. Quatre*
B. Chambre d'entrée sombre
E. Porte en face de forêt.
C. Casemate de T.....
H. Toile cuivrée.
D. Ma casemate N° 20.
E. Cille de B.....
m. fenêtres.
n. portes.
o. La Néva.



Vue de la Casemate. N° 20

План части крепости и внутренний вид каземата.
 Рисунки привлеченного по делу декабристов В. И. Зубкова

Как только стемнело, зажгли лампу, и я увидел сотни тараканов, бегающих по стенам. Я распустил в масле кусочек фитиля и сделал нечто вроде черной краски. С помощью маленькой щепочки я нарисовал на окне мой вензель. Другой щепкой мне удалось нацарапать на своде В. и З. Наконец, я начал скучать: тут мне опять принесли чай как утром. В 7 часов ко мне снова зашел артиллерийский офицер. В 8 часов мне принесли ужин: довольно сносные щи и кусок черного хлеба. В верхнем четырехугольнике окна находился вертящийся жестяной вентилятор в виде звезды. Чтобы дать пропуск воздуха,

я сломал эту звезду и развлекался, составляя из ее лучей различные рисунки. Я решил ими отмечать число дней, какое я проведу в крепости. Каждый день я втыкал их по одному в щели перегородки. Всего было 23 луча, и я надеялся, что мне их хватит... Я начинал страшно скучать: сидя в тюрьме без книг, без трубки, без всякого занятия, не знаешь, что придумать, чтобы развлечься. От лампы сильно воняет, дают еще одну свечу на 2 дня, лампе полагается гореть всю ночь; если она тухнет, часовой должен ее зажечь, но он обыкновенно спит. Я разделил фитиль на тонкие пряди и оставил гореть только одну из них, таким образом, лампа перестала пахнуть. Нельзя придумать ничего более мрачного, как бой больших церковных часов, он длится каждый час, по крайней мере, пять минут! Для отопления моего каземата во всю его длину тянулась железная труба, примыкавшая к железной печке в соседней комнате. Каждый раз, как топили печь, комната наполнялась дымом, и становилось невыносимо жарко. Через час, благодаря сырому своду, опять делалось холодно. Я спал, не раздеваясь, у меня не было ни простыни, ни одеяла, а постель была страшно грязна. Кроме носильного белья у меня была еще медвежья шуба Черкасского и валенки. Я клал на кровать шубу и ложился на нее, а валенки и шапку подкладывал под голову. У меня было два носовых платка, через четыре дня они так загрязнились, что мне пришлось сморкаться пальцами. Кроме жестяных лучей, которые я втыкал в стену, я делал еще шарики из черного хлеба и тоже отмечал ими дни. Я прилепил их 30 штук к стене один над другим и решил, что если еще через 30 дней комитет не даст мне никакого ответа, написать императору, умоляя ускорить ведение моего дела. Я готов был лишиться чина и сана, только бы получить свободу. Изобретатели виселицы и обезглавливания — благодетели человечества; придумавший одиночное заключение — подлый негодяй, это наказание не телесное, но духовное. Тот, кто не сидел в одиночном заключении, не может представить себе, что это такое. А ведь я не мог видеть людей на дворе, вечером мне зажигали огонь... В этой же крепости большинство окон замазано с наружной стороны мелом, кроме верхней части. В ней существуют также мешки: это четырехугольные дыры,

такие узкие и низкие, что в них нельзя ни стоять, ни лежать, сверху они закрываются плитой, в которой проделано отверстие для воздуха, в них царит полный мрак. В полночь дежурный унтер-офицер осматривал запоры и относил ключи плац-майору. Если бы случился пожар, я сгорел бы раньше, чем успели бы принести ключи, поэтому я запретил солдатам топить по ночам. Ключи приносили обратно в 8 часов утра. Ни ножей, ни вилок не полагается, дают только деревянную ложку, моя ложка была сломана и очень грязна, и я с большим трудом вылавливал из супа кусочки говядины. Я уверен, что правительство выдает крупные суммы на содержание заключенных, но чиновники половину, по крайней мере, кладут в карманы. Иногда мне так хотелось есть, что я брал у солдат сухой хлеб и ел его с аппетитом. Белье мое было невыносимо грязным. Я оставался в тюрьме 9 дней, не имея белья, тогда я решил просить белье, назначенное для заключенных. Мне принесли сырую рубашку и кальсоны, которые я храню до сих пор. Чернильницу и перо забыли взять у меня, и вечером я развлекался, записывая что-то на маленьком куске бумаги, оставшемся от моего письма генералу Левашеву, но артиллерийский офицер отобрал все, заявив, что это запрещено. У меня осталось два жестяных луча, которыми я поправлял свечу, но он унес и их, боясь, вероятно, чтобы я не зарезался. Это был человек крайне молчаливый, я никогда ничего не мог узнать от него; он даже не хотел просто поболтать, едва произносил несколько слов о хорошей погоде и дожде. Когда мне приносили чай, я откладывал маленький кусочек сахара и съедал его, чтобы отбить вкус обеда, запивая водой, что казалось мне необыкновенно вкусным. Кровать моя стояла сначала под сводом, но, боясь сырости, я передвинул ее к внутренней стене. Инвалид, топивший печи, принес мне доску равной толщины с одной из досок, на которых лежал тюфяк, так что ложе мое стало несколько более сносным.

15 числа плац-майор вошел в первую комнату и велел вычистить каземат, находящийся против моего, где стояла большая печь, и другой, отделенный от моего перегородкой, у которой стояла моя кровать. Я догадался, что сюда поместят новых заключенных. Действительно, когда он вернулся через час,

я слышал большой шум. Кто-то вошел в каземат против моего, вскоре заперли двери, и плац-майор ушел. Я забыл сказать, что в двери каждой камеры находится маленькое четырехугольное отверстие со стеклом, чтобы часовой мог наблюдать за заключенным. Обыкновенно это отверстие завешано снаружи, чтобы заключенный не мог видеть через него. Вновь прибывший заключенный, проходя через первую комнату, заметил, вероятно, свет в своей камере, потому что через несколько минут молчания он произнес очень громко и отчетливо: «Мы непременно должны беседовать по-французски». Я отвечал утвердительно и спросил его имя.

Я — Якубович, драгунский капитан, я в кандалах (и он со страшным шумом потряс цепями) и мне скоро отрубят голову.

Представьте мой ужас. Он спросил меня, кто я. Я назвал себя, но он сказал, что не расслышал.

— Я согласен беседовать, — сказал я, — но будем не говорить, а петь.

С этих пор мы ввели этот способ беседы... Мы переговаривались, когда часовой был один, и замолкали, если кто-нибудь входил... Чтобы избежать насколько возможно лишних слов, мы решили стучать пальцем два раза, если не разберем сказанного. Вместо «да» мы чихали, а вместо «нет» кашляли. Я часто стоял у окна и видел входящих офицера или плац-майора,



*П. А. Каратыгин.
Портрет А. И. Якубовича. 1825 год*

к тому же я был крайний у двери и поэтому давал знак молчать, напевал *Silenzio* на мотив „доктора Бартоло“. Моментально все смолкало. Чтобы не навлечь подозрений, мы пели иногда русские песни».

Теперь обратимся к другому свидетелю, к И. Д. Якушкину. С ним во время его допроса императором Николаем I произошел следующий инцидент¹⁴⁸: «Новый император отскочил три шага назад, протянул мне руку и сказал: „Заковать его так, чтобы он пошевелиться не мог“». Весьма понятно, что при таком отношении заключение Якушкина должно было быть другим, чем только что описанное Зубкова. Обратимся поэтому к запискам Якушкина.

«Фельд-егерь привез меня к коменданту Сукину — его и меня привели в небольшую комнату, в которой была устроена церковь. Воображение мое было сильно поражено: прислуга, по случаю траура одетая в черное, предвещала нечто недоброе. С фельд-егерем просидел я с полчаса, он по временам зевал, закрывая рот рукою, а я молил об одном, чтобы Бог дал силу перенести пытку. Наконец, в ближних комнатах послышался звук железа и приближение многих людей. Впереди всех появился комендант со своей деревянной ногой, он подошел к свечке, поднес к ней листок почтовой бумаги и сказал с расстановкой: „Государь приказал заковать тебя“. На меня кинулось несколько человек, посадили меня на стул и стали надевать ручные и ножные железа. Радость моя была невыразима; я был убежден, что надо мной совершилось чудо: железо еще не совсем пытка. Меня передали плац-адъютанту Трусову; он связал вместе два конца своего носового платка, надел мне на голову и повез в Алексеевский рavelин. Переезжая подъемный мост, я вспомнил знаменитый стих: „Оставьте всякую надежду вы, которые сюда входите“. Про этот рavelин говорили, что в него сажают только „забытых“ и что из него никто никогда не выходил. Из саней меня вынули солдаты, принадлежащие к команде Алексеевского рavelина, и ввели меня в 1-й номер. Тут я увидел семидесятилетнего старика, главного начальника рavelина, подчиненного непосредственного императору. С меня сняли железа, раздели, надели толстую рубашку в лохмотьях и такие же панталоны; потом комендант стал на колени,

обернул наручники тряпкой и надел их, спрашивая, могу ли я так писать. Я сказал, что могу. После этого комендант пожелал мне доброй ночи, сказав, „Божья милость всех нас спасет“. Все вышли, дверь затворилась, и замок щелкнул два раза.

Комната, в которую посадили меня, была 6 шагов длины и 4 ширины. Стены после наводнения 1824 года были покрыты пятнами, стекла были выкрашены белой краской, и внутри от них

была вделана в окно крепкая железная решетка. Около окна в углу стояла кровать, на ней был тюфяк и госпитальное бумажное одеяло. Возле кровати стоял маленький столик, на нем кружка с водой, на кружке были вырезаны буквы: А. Р. В другом углу, против кровати, была печь. В третьем углу против печи — столик. Кроме того, было еще два стула, и на одном из них ночник. Когда я остался один, я был совершенно счастлив. пытка миновалась на этот раз, я имел время собраться с духом и даже спрашивал себя, что они думали произвести надо мной надетыми на меня железами, которые, как я узнал после, весили 22 фунта. В 9 часов принесли ужинать, причем солдат, исполнявший обязанности дворецкого, каждый раз очень вежливо кланялся. Не евши более двух суток, я поел щей с большим удовольствием. Ходить по комнате мне было нельзя, потому что в железах это было неудобно, и я опасался, что звук желез произведет неприятное чувство в соседях. Я лег спать и спал бы очень спокойно, ежели бы порой не пробуждали бы меня наручники.



*П. Ф. Соколов с оригинала Н. И. Уткина.
Портрет И. Д. Якушкина. 1818 год*

На другой день по заведенному в рavelине порядку по утру явился комендант рavelина в сопровождении унтер-офицера и ефрейтора. Он спросил о моем здоровье и отправился далее по казематам... Вместо обеда на другой день принес кусок черного хлеба, за который я поблагодарил его также вежливо... Кажется, на 7 день моего пребывания в рavelине я услышал явственно шаги двух человек, подошедших к моей двери. В двери было небольшое стеклянное окошко, изнутри загороженное железною решеткою, а снаружи закрытое зеленым фланелевым мешком. Обыкновенно часовые подходили к этому окошку в валеных башмаках и едва раздвигали мешок, так что почти никогда нельзя было заметить их приближения и осмотра. На этот раз весь мешок был поднят, и я мог явственно видеть ус и часть лица Левашева, который сказал кому-то: „Celui-ci a les fers aux bras et aux pieds“. Меня уверяли впоследствии, что другой был царь, что не совсем вероятно, что очень может быть, что это был великий князь Михаил Павлович. В этот вечер через три нумера от меня против обыкновенной тишины в рavelине, происходил довольно долго продолжавшийся шум. Я узнал от протоиерея Мысловского, что в эту ночь вынесли из рavelина несчастного Булатова, полоумного и полуживого. В течение 8 дней ни ласки, ни угрозы не могли заставить его съесть что-нибудь. Его отвезли в сухопутный госпиталь, где он на другой день умер. С наступлением лета всех содержащихся в рavelине поочередно пускали гулять в маленький трехугольный садик, находящийся внутри рavelина.»

Наконец, приведем выдержки из воспоминаний А. Беляева, так сказать, рядового декабриста, не выделявшегося ничем из общей среды. Более чем вероятно, что его содержали так, как содержали большинство декабристов. «Является строй солдат, нас ставят между двух рядов, и мы выходим через двор, на набережную; тут является полувзвод кавалерии, казаки едут по сторонам, и все спускаются на Неву.

Помню, была лунная, морозная ночь; тишина нарушалась только шагами марширующих солдат и топотом казачьих лошадей. Кроме нас, тут были еще капитан военных топографов Свечин, Цебриков и еще другие, кого не помню. Настроение

наше, т. е. мое, брата, Дивова, Бодиско было очень беззаботное, так что, когда нас ввели в Невские ворота Петропавловской крепости, у меня вырвался стих:

На тяжких веревках ворота проскрипели,
И песнь прощальную со светом нам пропели.

Нас провели в дом коменданта и ввели в какую-то уединенную комнату при весьма слабом освещении. Мы взглянули друг на друга и передали друг другу свои опасения, полагая, что нас привели сюда для пытки. Ожидание продолжалось недолго. Вдруг мы слышали стук деревяшки на лестнице, и перед нами явился генерал Сукин, комендант крепости. Он, сурово осмотрев всех нас, произнес: „Я имею высочайшее повеление принять вас и заключить в казематах“. С этими словами является плац-майор Подушкин и с помощью плац-адъютанта разводит нас по разным направлениям, по разным казематам. Меня, брата, Бодиско и Дивова ввели в огромное под сводами помещение в Лабораторном дворе с одним окном на Неву и огромную русскою печью в углу, на которой, как и на всех стенах, была видна полоса, как высоко стояла вода во время наводнения 1824 года. Когда сторож поставил зажженную лампадку, мы увидели тараканов, черных и красных, в таком количестве, что почти все стены были ими покрыты. Это нас привело в ужас и будь тут заключен кто-нибудь один, то эта обстановка должна была бы потрясти непривычного. Но нас было четверо молодых 20-летних юношей, приятно убедившихся, что все члены их, после свидания с Сукиным, оказались целы, и потому мы стали придумывать брустверы из соломы, которую принес сторож для нашего ложа. Тут же была, конечно, поставлена кадка, значение которой объяснять неудобно.

Немотя на все впечатления, перечувствованные в этот день, мы спали крепко, и во все время нашего заключения вместе мы были веселы и беззаботно веселы. Для развлечения своего из хлеба мы сделали себе шахматы, на столе сделали клетки и играли в шахматы, в эту умную игру, с большим удовольствием. Из нашего окна, выходившего на Неву, мы

посматривали на проезжавших по реке и набережной. Но это отрадное совокупное заключение с братом и друзьями, товарищами скоро должно было прекратиться. В один вечер, поздно, является к нам плац-майор Подушкин и объявляет, что нам надо распрощаться друг с другом. Один должен был остаться в том же каземате, а как, по привычке к старому и по страху к неизвестному, каждый из нас хотел бы остаться в прежнем, то решили бросить жребий, и в старом каземате остался мой брат. Разлука была тяжела, так что, несмотря на то, что мы считали себя стойкими, должны были глотать слезы, заключив друг друга в братские объятия. С тех пор мы уже не виделись до того времени, как нас соединили для прочтения нам сентенции. Меня привели в какой-то каземат, не знаю, в какой местности, в четыре шага величиною, немного больше гроба, и заключили одного. Тут была страшная сырость, а утром топили железную печь, которой труба проходила над головою. Так как мне было только 22 года и сложение мое не было из крепких, то при посещении казематов как-то генерал-адъютантом Стрекаловым нашли нужным меня перевести.

Ночью помощник плац-адъютанта повел меня по каким-то дворам и переходам мимо царских склепов, как он сказал мне, к Невским воротам, и меня заключили в каземат Невской куртины, также в 4-аршинное пространство. Тут уже в углу стояла кровать с шерстяным одеялом, подшитым простыней, стоял небольшой стол в углу, и на нем ломпадка с фонарным маслом, копоть от которого проникала в нос и грудь, так что при сморкании и плеваньи утром все было черно, пока легкие снова не очищались в течение дня. Огромное окно в этом каземате было замазано известкой, только оставалось не замазанным одно верхнее звено.

Утро мое начиналось тем, что я, встав с постели и умывшись над парашей¹⁵⁰ (кадкою), молился Богу, по обычаю, потом я громко пел „Коль славен наш Господь в Сионе“, а после того, как выпивал принесенную кружку чаю, я начинал ходить по каземату и тут уже пел всевозможные романсы, какие только знал; в числе их попадались часто и весьма свободные. Так время доходило до обеда. Утром обыкновенно приходил инвалидный солдат, приставленный к казематам, выносил кадку,

а затем он же приносил чай и уходил до обеда... Я не думал, чтоб это следствие протянулось более 8 месяцев. Но по мере того, как дни проходили за днями и тянулись страшно, отмечаемые каждую четверть часа заунывными курантами башенных крепостных часов, которых один звук уже производил содрогание, тоска усиливалась, терпение и спокойствие поглощалось, сердце выболело, мысли мешались, и я уже был близок к гибели или сумасшествию. Но вот в это самое время приносят мне книгу. Смотрю — это библия! Я с жадностью принялся за нее, читая и перечитывая ее. Вот где было мое спасение!..

...В эти тяжелые минуты, когда отчаяние сторожило свою жертву, я был до того разбит физически и нравственно, что кровь хлынула у меня горлом. Ко мне стал ходить доктор и приказал выводить меня на воздух. Эти прогулки ограничивались какими-то сенями, где было огромное окно без рамы и дверь без дверного полотна, и куда воздух входил свободно. Но однажды повели меня на стены крепости, откуда вдруг открылась передо мной давно забытая картина этого мира с его движением и суетой... В моей казематной жизни все было рассчитано. Я ходил два часа, потом садился на кровать отдыхать и в это время, чтоб быть чем-то занятым, я выдергивал из одеяла бесконечную толстую нитку, которою простыня пристегивалась к одеялу. Из этой нитки я навязывал узлы один на другой, так что под конец образовался порядочный клубок, который затем снова распускал: эта работа повторялась несколько раз в день. Потом становился на окно и смотрел на проходящих. Так как мой каземат был недалеко от Невских ворот, и вплоть до комендантского или какого-то дома, хорошенько не знаю, шел бульвар, то тут часто проходили мимо меня различные лица. Иногда проводили мимо меня узников в баню, и я однажды увидел моего брата, но он, конечно, не мог догадаться, что на него смотрел его брат и друг, которого сердце забилося... Часто также меня утешала игра детей на бульваре, которых голоса были для меня истинной музыкой. После скудного обеда, состоящего из горячего и маленьких кусков вареной говядины, я ложился спать. Около 6 часов приносили большую кружку чая с белым хлебом. Так протекали дни до решения нашей участи».

Можно, конечно, увеличить число примеров выписками из других воспоминаний, но они не дадут ничего нового, все это будут лишь незначительные вариации. Нужно только привести описание тех казематов, которые были выстроены из совершенно сырого леса и которые помещались в крепостных амбразурах. Эти клетки были так тесны, что едва доставало места для кровати, столика и чугунной печи. Когда печь топилась, то клетка наполнялась непроницаемым туманом, так что, сидя на кровати, нельзя было видеть двери на расстоянии двух аршин. Но лишь только закрывали печь, то делался от нее удушливый смрад, а пар, охлаждаясь лил потоком со стен, так что в день выносили по двадцати и более тазов воды.»¹⁵¹ Описание, действительно, потрясающее, но, к сожалению, принадлежит оно Д. Завалишину, и потому нельзя быть уверенным, правда это или фантазия.

Если же на основании вышеприведенных воспоминаний о Петропавловской крепости времен декабристов сделать общие выводы, то они покажутся чуть ли не идиллией сравнительно с тем, что должны были пережить народовольцы и о чем речь пойдет ниже. Видно было, что арест декабристов и причастных лиц, в общем человек до 500, застал администрацию крепости врасплох.

У нее было всего-навсего 18 номеров в Алексеевском равелине, приготовленных к одиночному заключению. Но, конечно, в эти 18 номеров нельзя было посадить всех, и стали пользоваться любым помещением, куда можно было бы запереть человека. Старые казармы и казематы спешно переграждались перегородками, устраивались маленькие камеры, приспособлялись другие помещения, и все это делалось без системы, без какого-либо выработанного плана, а так, руководясь российским авось, небось да как-нибудь...

То же самое можно сказать и относительно режима — и здесь не было чего-либо определенного, может быть, и давались строгие инструкции, но в действительности режим был совершенно не крепостной, совсем не тюремный, и декабристы пользовались относительно большими удобствами. Конечно, на них, изнеженных, избалованных жизнью богатых дворян, с массою прислуги, в обширных, удобных помещениях, казематы

Петропавловской крепости должны были производить тяжелое, удручающее впечатление, декабристы могли себя чувствовать глубоко несчастными, но все-таки необходимо подчеркнуть, что такие чувствования должны считаться глубоко субъективными.

После декабристов, т. е. после 1826 года, Петропавловская крепость снова опустела, хотя, конечно, жильцы в ней не переводились, достаточно вспомнить хотя бы Батенкова, проведенного в Алексеевском равелине целых двадцать лет. Но 23 апреля 1849 года с 10 $\frac{1}{4}$ ч. вечера началось отправление петрашевцев из III отделения в крепость, и окончилось оно в 2 ч. пополудни¹⁵² — крепость снова переполнилась теми, про которых назначенная правительственная комиссия не могла выставить никакого другого более серьезного обвинения, как в «заговоре идей», но, несмотря на это, приговоренных к смертной казни через расстрел, смягченной в каторжные работы и ссылку в Сибирь.

Как же содержались петрашевцы в Петропавловской твердыне? Приведем опять-таки дословные выписки из воспоминаний одного из петрашевцев, Д. Д. Ахшарумова. В своих воспоминаниях он дает ряд рельефных картин¹⁵³.

«После продолжительной езды через Васильевский остров, Тучков мост и Петербургскую сторону карета въехала в крепость и остановилась. Было совершенно темно. В сопровождении двух человек я переходил какой-то мостик и за ним темные своды, потом введен был в коридор полуосвещенный: в коридоре передо мною отворилась толстая дверь в боковую темную комнату, мне предложили в нее войти: темнота, спертый воздух, неизвестность, куда я вошел, произвели на меня потрясающее впечатление, я потребовал свечу. Желание мое было исполнено сейчас же, и я увидел себя в маленькой, узкой комнате без мебели — у стены стояла кровать, накрытая одеялом серого солдатского сукна, табуретка и ящик. Затем мне было предложено раздеться совершенно и надеть длинную рубашку из грубого подкладочного холста и из такого же холста сшитые высокие, выше колен, чулки. Мне указали на туфли и на халат из серого сукна. Платье мое и все вещи, бывшие на мне, были у меня взяты. По просьбе моей, оставлена была

у меня только моя холодная шинель. Затем зажжена была на окне какая-то светильня, висящая с края глиняного блюдечка, свеча унесена, дверь захлопнулась на ключ, и я остался один в полумраке... Я осматривал в потемках мое жилище, и виденное мною поражало меня своей мрачной пустотой... Воздух душен и холоден, на мне шинель и серый дырявый халат, подо мной что-то жесткое, неровное, и подушка нечистая, туго набитая соломой. Ночь, полумрак, тишина, но они не располагают к отдыху: измученный тяжелыми впечатлениями того дня, я лежу, не двигаясь — меня страшно клонит ко сну и я засыпаю, но вскоре просыпаюсь от большой чувствительности в щеке и в виске, прижатых жесткою, бугристою подушкою; переворачиваюсь на другой бок, и та же самая боль на другой стороне головы по истечении короткого времени пробуждает меня снова; я ложусь на спину и опять скоро просыпаюсь от боли в затылке: так мучаюсь, по временам сползая на край кровати, я беспрестанно засыпал крепким сном и опять просыпался, чтобы переменить положение: не раз подкладывал я руки то под голову, то под щеку, — так провел я ночь без отдыха, в тревожном сне, с болью головы и лица.

Когда я увидел при дневном свете мое новое жилище, глазам моим предстала маленькая грязная комната, она была узкая, длиною сажени в $2\frac{1}{2}$, с высоким потолком: стены, оштукатуренные известью, давно потерявшей свой белый цвет. Они были повсюду испачканы пальцем человека, не имевшего бумаги для обыкновенного употребления. С одной стороны было окно, очень большое, сравнительно с величиною комнаты, с мелкими клетками стекол, покрашенное все до верхнего ряда белую пожелтевшею масляною краскою. Верхний ряд стекол один только не был покрашен и оканчивался с правой стороны форткою величиною в $\frac{3}{4}$ листа писчей бумаги. За окном была железная решетка. С противоположной окну стороны дверь массивная, окованная железом, и большое грязное зеркало изразцовой печи, затапливающейся снаружи.

В комнате, кроме кровати, были столик, табуретка и ящик с крышкою: на площадке окна стояла кружка и догоревшая уже плошка. Таково было новое мое жилище, в котором я был заперт безвыходно.

Осмотревшись немного, я стал на большую площадку окна, но при малом моем росте не мог достать глазом незакрашенного верхнего ряда стекол, который оканчивался с правой стороны форткою, я отворил фортку: свежий воздух пахнул на меня и мне принес как бы что-то родное — я вдохнул его, упился им полною грудью и еще более почувствовал желание взглянуть в окно, но и, поднявшись на цыпочки сколько было сил, я не мог увидеть ничего: я подскочил — перед глазами моими мелькнуло что-то вроде двора. Нельзя ли подставить что-либо под ноги? На площадке окна, где я стоял, была упомянутая деревянная крышка вроде кадочки; на донышке ее было немного воды, она показалась мне чистою, и я выпил ее, потом снова влез на окно, стал на крышку запертой кружки и увидел дворик небольшой треугольной формы: против меня шагах в 40, стоял фас крепостной стены, замыкавшей дворик, у самого окна ходил часовой с ружьем». (Из этого описания ясно видно, что Ахшарумов был посажен в одну из камер Алексеевского рavelина, таким образом, к описанию Якушкина прибавилось описание Ахшарумова, и впереди читателя ожидают описания Поливанова и Фроленко, и читатель ясно увидит, во что могло превратиться в русской действительности жилое помещение. После этого необходимого примечания продолжаем выписки из воспоминаний Ахшарумова.)

«В середине двери было маленькое, величиною в 8 долю листа бумаги, отверстие, в которое вставлено было стекло. Снаружи, со стороны коридора, оно было завешено темной тряпкой, которую сторожу можно было поднимать и видеть, что делает арестованный. Мне было очень холодно, и я попробовал постучать. Послышались шаги, и тряпка сейчас же поднялась и показалось смотрящее на меня чье-то лицо. „Чего стучишь?“ — спрашивало оно меня. „Надо затопить печь, очень холодно, затопите печь.“ Ответа не последовало, тряпка опустилась, и все оставалось по-прежнему.

Прошло некоторое время, когда слышались в коридоре шаги, беготня и звон связки ключей. Я слышал, как втыкались в двери других келий ключи, и они отворялись, и шествие это производилось подряд во все отдельные помещения. Вот и до меня очень скоро дошла очередь. Ключ всунут был, но вдруг,



*О. Ольшанетская по рисунку Г. Доу.
И. А. Набоков. 1820 год*

казалось, ошибкой не тот, потом щелкнула крепкая пружина замка, дверь отворилась настежь: в нее вошел толстый старый генерал в сопровождении двух офицеров и служителей: что вы? как живете, все благополучно? все ли вы имеете? Я комендант крепости. (Это был генерал Набоков. — П. С.) „Мне очень холодно, прикажите затопить печь“, — ответил я. Тогда отдано было приказание затопить немедленно

печи везде, „чтобы не жаловались более на холод“. С этими словами он вышел со своею свитою, и я остался вновь один, запертый на ключ. Таково было быстрое посещение генерала. А другие все нужды? „Все ли я имею?“ У меня ничего нет! Ни воды, ни пищи, я не умывшись с утра. Но кружка стоит для воды, и, вероятно, подадут какую-нибудь пищу. Через некоторое время все вновь утихло, и затем вскоре вновь раздалось хождения с отмыканием дверей: и вот растворилась и моя дверь, и в комнату мою быстрыми шагами вошел солдат с посудой и, поставив ее на стол, ни слова не сказав, поспешно вышел, и дверь захлопнулось на ключ. Наверху посуды лежал большой кусок черного хлеба, а под ним была миска с супом, и в ней лежали куски говядины. Не помню хорошенько, было ли еще отдельно какое мясо (прошло 35 лет с тех пор, и я совершенно забыл). Через полчаса вновь зашел солдат и за ним дежурный офицер, которого я настойчиво просил приказать мне сейчас подать воды в количестве, достаточном для питья и умывания, а также я заявил о необходимой потребности

в полотенце. Кружка, стоявшая у меня на окне пустою, была схвачена служителем, и, наполненная водою, принесена обратно. Затем без лишних слов все исчезли, приняв остатки обеда, кроме черного хлеба, который был в достаточном количестве и оставлен был мною у себя, затем я снова был накрепко захлопнут в моем жилище. Полотенце было обещано в будущем. Оставшись один, я стал умываться с помощью рта и вытерся рукавом рубашки. Вскоре затем я заметил, что в комнате стало теплее, и, приложив руку к печной стене, я убедился, что она нагревается. Итак, я имею все, что нужно, хозяева тюрьмы мне дали все, что могли: я сыт, умыт, одет и согрет...

Так началась и потекла моя жизнь в тюрьме, дни сменялись днями: каждый день по однообразию и безделию казался чрезвычайно долгим, недоживаемым до вечера, недели текли за неделями, месяцы, к ужасу моему, стали сменяться месяцами. Ежедневно, первое время два, а потом и три раза отворялась дверь, ставилась и принималась пища: черный хлеб стал моею любимую пищею, его у меня всегда было достаточно. В первое время я настойчиво требовал большего против обыкновенно приносимого количества воды для питья и мытья, но после это делалось уже и без моего докучливого напоминания: полотенце было мне дано тоже. Белье из грубого подкладочного холста старое, состоявшее из длинной рубахи и чулок выше колен, в виде мешков, подвязывающихся тесемками, сменяемо было каждую неделю.

Однообразно текла моя жизнь, при монотонном переливе колокольного звона, каждые четверть часа, на колокольне Петропавловского собора. По временам, однако же, это однообразие тюремной жизни и жесткая темничная тоска были нарушаемы чем-нибудь, выходящим из ряда обычного течения, и всякое подобное, хотя бы незначительное, обстоятельство освежало и развлекало меня. Но главное, что желал бы я описать и разъяснить — это мучительное душевное болезненное состояние безвыходно и долго одиночно-заключенного, чувство жестокой темничной тоски, мрачные мысли, преследовавшие меня безотвязно и по временам упадок сил до потери голоса и изнеможения. Я дни и ночи говорил сам с собой, не получая ниоткуда впечатлений извне, вращался в самом себе,

в кругу своих болезненных представлений. Промучавшись еще день, не знал, куда приютиться, то становился я на окно, то ходил взад и вперед в моей клетке безо всяких занятий; вращаясь все в одном и том же кругу моих безотвязных мыслей, ничем не перебиваемому, дожил я до вечера: одиночество, безделье, томление мучили меня. Нередко садился я на пол и, сидя на коленях, закрывал лицо обеими руками и громко сетовал и плакал, затем поспешно вставал, вскакивал на окно, минутно упиваясь воздухом у фортки, сходил с окна, шел к двери, садился на кровать, табуретку и опять лез на окно — так метался я, запертый в тесном жилище. Снова были слышны хождение, звон ключей, отворялась дверь, приносима и принимаема была безмолвным солдатом пища.

Наступила вторая ночь, и на окне моем зажглась снова сальная плошка. Она издавала особый запах с копотью, вид ее мне был противен, я подошел к окну и задул ее. Замученный, я лег на кровать, спать хотелось, и я заснул, но от жесткой подушки и на покато́м тюфяке я беспрестанно просыпался и переменял положение. Так прошло не знаю сколько времени, как в коридоре послышалось движение и разговор у моей двери. Потом я услышал стук в окно моей двери и слова, обращенные ко мне: „Зачем потушили огонь?“ Я ничего не отвечал, и старался забыться и заснуть, однако же я услышал звон ключей у моей двери, дверь отворилась, и вошел дежурный крепостной офицер и сторож — мне выговаривали за потушение светильника и нарушение заведенного порядка. Плошка была снова зажжена, и я остался один. В ту ночь мне не было холодно, но, в остальном, она была такая же, как и предыдущая.

Утром встал я, замученный еще более прежнего. Голова у меня болела, и местами было больно дотрагиваться до нее, и пальцы мои, которые я подкладывал под голову, были чувствительны.

Уже рассвело: замазанное окно закрывало меня от всего живущего. Вот третий день, как я один, и все грознее встают одни и те же мысли. На душе было также душно, как и в комнате, я отворил форточку — повеяло чистым воздухом. Встал на кружку, уткнулся носом в открытое окно: передо мною был

крепостной вал и пустой дворик, где не было никого. Чистый весенний воздух пахнул мне в лицо. Я стоял так несколько минут, как вдруг услышал стук сзади меня; я обернулся и увидел, что в окошке двери тряпка поднята, и сторож стучит пальцем в стекло и смотря на меня кричит: „Сойдите с окна!“ В сердце как бы кольнуло что-то, медленно сошел я с окна. Надо же мне умыться, хоть насколько возможно, от грязи, меня окружающей — и вот я моюсь, набирая в рот воды, наклонившись над упомянутым ящиком, мою лицо и руки; боюсь проронить напрасно каждую каплю воды, которой у меня мало. Но вот умылся, что же я буду делать в настоящий день? Как доживу я до вечера? И сколько дней еще придется сидеть взаперти?

Каждый день я спрашивал себя: конец ли апреля у нас или уже май месяц? Прошло уже много дней — 10 или более, много дум перебивало в голове, как вдруг я услышал голоса людей. И звон в этот день на Петропавловском соборе, казалось, был более чем в обыкновенные дни, я вскочил с особым любопытством на окно и на кружку и увидел проходящих и останавливающихся на валу крепости перед нашими окнами: люди, по-видимому, различных сословий, по-праздничному одетые мужчины, женщины и дети проходили и, приостанавливаясь, вглядывались в наши окна и за решетками спрятанные в них лица и бросали медные деньги на наш дворик. Я устремил на них глаза, всматривался в каждого из любопытства, а также из возможности увидеть кого-либо из знакомых. Пятаки шлепались о землю, в разговорах упоминалось о святом Николае, иные шептались, смотря на нас. Грустное чувство произвело на меня это шествие людей, подающих нам милостыню. Нас жалеют, помочь не могут и бросают деньги, как несчастным замученным. Шествие это продолжалось недолго — с $\frac{1}{4}$ часа, потом все утихло, исчезло, как видение, и мы по-прежнему остались одинокими. Неожиданное явление это имело влияние на разъяснение путаницы счета дней. Я уразумел вдруг, что этот день есть 9 мая, Николин день, я был даже обрадован моим неожиданным открытием истинного времени. С этого дня я твердо установился в исчислении времени и неупустительно вел его в продолжении всех 8 месяцев моего заключения в крепости.

Тишина, спертый воздух, полнейшее безделье, доходившие до меня то возгласы, то вздохи заключенных товарищей, неизвестных мне — все это вместе производило удручающее влияние, отнимающее окончательно бодрость духа. Нервное утомление или, лучше сказать, переутомление начало выражаться беспрестанною зевотою, часто слезы текли из глаз, иногда пробегала какая-то дрожь по спине. По временам появлялись приступы тоски и выражались каким-то, прежде сего никогда не знакомым мне неостановимым плачем, после чего впадал я в совершенную апатию и оставался без движения, без мысли. Запас жизни, однако, пробуждал меня снова к деятельности в замкнутом кругу. Мысли роились снова, то блуждая в воспоминаниях прошедшего, то останавливаясь на безвыходном положении настоящего. По истечении некоторого времени стали слышаться не одни печальные стоны. Но и песни кое-где между заключенными. Песни становились более частыми и более громкими: по содержанию они были весьма разнообразны: то слышалась знакомая песня протяжная, заунывная, то незнакомые мне напевы — слов нельзя было разобрать. Однажды услышал я „Allons enfants de la patrie? Le jour de la gloire est arrive“, что было как бы одобряющим и призывающим к терпению. Делать нечего, надо было утешать и ободрять себя чем возможно, хотя бы минутным обманом, лишь бы как-нибудь пережить это трудное, мучительное заключение. Вскоре и сосед мой с правой стороны стал петь, и голос, и пение, слышанное мною часто, привлекли мой слух и развлекли меня немало. Он пел, как соловей поет в клетке.

Однажды, осматривая кровать мою старую, расшатанную временем уже, я заметил в одном углу ее торчащий гвоздь. Взявшись за него, я увидел, что он сидит не очень крепко, его можно с усилием расшатать и вытащить. Гвоздь этот казался мне вещью полезною в моем положении: как орудие самозащиты и самоубийства в случае уже невозможности перенести неизвестное, ожидаемое мною. Я ухватил его крепко и шатал, и тянул с роздыхами до тех пор, пока не вытянул. Гвоздь оказался длинным, с палец, и толстым, с птичье перо. У меня ничего не было, и гвоздь этот составлял для меня ценную вещь, и он мне оказался не бесполезным. Первое употребление,

которое я извлек из него, — это чистка ногтей несколько раз в продолжении дня. По извлечении его он почти не выходил у меня из рук. Я его тщательно прятал от взоров сторожей и входивших ко мне ежедневно для подачи пищи офицеров и служителей. Стоя на окне у фортки я точил его о железную решетку или слегка затуплял его, смотря по расположению духа... Большую часть дня стал я проводить, стоя на окне, носом в фортку. Сторож, присматривающий в наши кельи, редко исполнял свою обязанность. Иногда, увидев меня стоящим на окне, он стучал и говорил: „Сойдите с окна“, я сейчас же сходил, но потом вскоре опять вспрыгивал на площадку окна и стоял, пока не уставал. Наконец, и сторожа, все одни и те же, уже привыкли к нашим безвредным привычкам и внося пищу столько раз и не получая ни от нас, ни через начальство никаких неприятностей по службе, считали нас уже как бы своими людьми, которых обижать без надобности не следует, и эти напоминания о схождении с окна совершенно прекратились. Офицеры, посещавшие нас, которых было всего три, вначале бывшие с нами совершенно бессловесными, стали более внимательны к нам и не так молчаливы и безучастны. Один из них на просьбу мою, нельзя ли получить какую-нибудь книгу для чтения, предложил мне сначала имеющуюся у него в распоряжении библию, которую я и просил принести мне, а потом он достал мне вскоре и другую книгу, один из старых журналов, кажется, „Отечественные записки“. На эти книги я набросился с жадностью и читал... Однажды вечером залетел ко мне в форточку табачный дым, и запах этот, которого я давно не слыхал, был мною воспринят с особым удовольствием, и при первом отворении дверей я спросил об этом дежурного офицера. Он очень любезно ответил, что курение дозволяется, но только на свой счет. Я сказал, что на день ареста у меня был в кармане кошелек с несколькими рублями, и просил его купить мне какую-нибудь простую небольшую трубку — тогда папирос еще не было — и Жукова табаку... Желание это было исполнено в тот же день: не помню я, какая трубка у меня была, но $1/4$ фунтовую, в синей бумаге, пачку знаменитого желтого „Жукова кюстеру“ едва ли кто из куривших его в прежние времена может забыть... как бы ни

было мне тоскливо и отвратительно на душе, но, набив трубку милейшим табаком и потянув его, я почувствовал как бы разлившееся по жилам моим приятнейшее ощущение... Скоро мне было предложено написать письмо родным и просить их прислать книг и все, что нужно для развлечения. По написании же бумага и чернила были отобраны, корреспонденция оставалась открытою. Я, конечно, с радостью воспользовался этим, и вот мне в скором времени присланы были книги, которые я желал. Я получил несколько частей Гете, некоторые романы Вальтер Скотта, комедии Мольера и другие, которые я теперь не помню. Вместе с этим мне было сообщено, что получены деньги для моих издержек, присланы фрукты и конфеты. В одно утро, стоя у форточки, я услышал тихий разговор справа от меня сидящего с заключенным своим также правым соседом. Я вслушался, но слов разобрать не мог — амбразура, оконное углубление каменной стены, было глубиною более полуаршина, непосредственно за рамою окна на расстоянии вершков двух была вбитая в камень решетка, да и высунуться головою из маленькой форточки было невозможно.¹⁵⁴

Как я ни вслушивался, но слов расслышать не мог. Слыша, однако же, как мои соседи беспрепятственно мило беседуют, и я, наконец, тихим голосом обратился к моему соседу — и от него сейчас же получил ответ. Фамилия его была Щелков, моя сделалась ему известна также. Я узнал от него, что подле него сидит такой-то, не помню, кто, а за ним Дебу-старший. Мы начали разговаривать тихо, и так бы, может быть, продолжалось все время, пока мы сидели рядом, но вдруг слева от меня кто-то громко назвал меня по фамилии, и часовой, ходивший около окон закричал: „Послать ефрейтора!“, и затем произошли на дворе переговоры стражи. Этим прекратились все наши дальнейшие попытки к тихой беседе. Наши невинные обращения одного к другому, могущие нам доставить истинное утешение в одиночестве, не остались без последствий. В суде, в этот раз на меня напустился со всею военною строгостью комендант Набоков. Затем, после допроса о том, с кем я говорил и о чем, и после полученных от меня во всем отрицательных ответов, что разговора еще не было, но была только попытка разговора, и что я даже не знаю, с кем — мне

сказал князь Гагарин, что фортка моя будет запечатана. Мне было ужасно услышать это, и я с горячностью возразил:

— Да разве возможно запечатать фортку? Ведь я же задохнусь!

— Невозможно? А разве фортка у вас для разговоров?

— Я обещаю, что более не буду говорить, а фортку прошу мне оставить, я без воздуха жить не могу.

— Вы довольны своим помещением? — спросил у меня гневным тоном Набоков.

Я не знал, что отвечать на такой неожиданно поставленный мне вопрос, но чувствовал, что надо ответить утвердительно.

— Надо быть довольным, — сказал я тихим голосом.

— В крепости у меня есть куда вас посадить — такие места... — тут он не договорил, — там не будете разговаривать!

Существовали ли в действительности в 1849 г. такие места в Петропавловской крепости или слова эти были сказаны только для устрашения меня, но они на меня произвели сильное впечатление... Наступил уже июль, не помню в точности, какой это был день, кажется в первых числах, когда однажды под вечер в сумерках я выглядывал своею замученной рожей из фортки, а часовой, прохаживаясь взад и вперед, всякий раз смотрел мне в лицо, как бы вызывая на разговор. Я был желт и худ, и волосы длинные висели ниже головы. Я смотрел на часового тоже, и, видя его казавшееся мне несомненным сочувственное участие, не мог не заговорить:

— Теперь не жарко, как днем? — спросил я его тихим голосом.

— Тут ничего, а вот придется надеть ранец и идти в поход...

— Куда же в поход? — спросил я удивленно.

— На венгра, в Австрию, туда уже много наших пошло.

— А что же там, воюют немцы?

— Немцы и венгры бунтуются, так их усмирять пошли.

— А царь в городе?

— Нет, он тоже при войсках... А может быть и в Варшаве. А вы давно сюда посажены?

— С апреля месяца.

— Ого! Давненько! — сказал он всматриваясь в меня.

Между тем темнело все долее, и разговор этот прекратился. Вдруг в необычный час вновь хождение в коридоре, звон связки ключей и остановка у моей двери. Вошел офицер и сказал мне, что он пришел перевести меня в другое отделение. Меня это очень озадачило, я не приготовился к тому, и это стало для меня совершенною неожиданностью. „Куда? Зачем? Я лучше останусь здесь... Ведь уже недолго осталось, так зачем же это?!“ К тому же возникли вдруг и смутные догадки и опасения чего-то для меня неизвестного! ¹⁵⁵

— О чем вы беспокоитесь? — отвечал мне офицер. — Там будет вам удобнее и комната больше этой.

— Да разве нужно? Если вы это для меня хотите, то оставьте меня здесь до конца дела... Ведь уже осталось недолго.

Офицер, однако же, вежливо убеждал меня¹⁵⁶, говорил настойчиво, что ему поручено меня перевести отсюда в другое место, и он не может не исполнить этого. Видя, что делать нечего, я стал собирать книги и боялся, чтобы не был как-нибудь обнаружен мой друг, который был у меня бережно запрятываем под подушкой. Я уловил удобный момент и захватил тихонько мой драгоценный гвоздь, а остальные все вещи были взяты служителями. И мы вышли из комнаты и из коридора на двор. Конец июля — лето, цветущее лето в полном разгаре явилось вновь мгновенно перед моими глазами. Мы вышли на крепостной бульвар, где росли деревья, повернули направо, прошли весь длинный фас, параллельный Неве, выходящий окнами на большой двор, и в конце его, дойдя до поворота налево, круто повернули направо — прямо в темный коридор. И я введен был в новую комнату, более просторную, чем прежняя моя келья, с двумя окнами и потолком со сводами. Вещи все были положены как попало, постлана постель, и я был оставлен и заперт в этой новой комнате... Переселение это произвело на меня большое впечатление, и новое мое жилище сделалось сейчас же предметом моего любопытства. Я стал осматриваться, где я и что меня окружает: два окна более низких, но довольно широких, с большою площадкою, где можно было сидеть под самою форточкою; фортка на правом окне, довольно низкая, легко достижима при стоянии на коленях и немного большей величины против прежней — все это было для меня приятной

новостью. Межоконный промежуток выполнен был круглою печью, затапливающейся из комнаты. И это хорошо, подумал я. Затем открыл я фортку и увидел впереди себя длинную, довольно широкую улицу, ведущую от моих окон к переднему фасу собора, к его подъезду. Кроме того, под окном проходила и другая улица, поперечная, доступная для прохожих, по которой можно видеть проходящих, не у самой стены, а несколько поодаль от нее. Это приобретение было для меня тоже весьма дорогим. Комната сама с чистыми стенами и вдвое больше тоже радовала меня. Все это было маленьким отдыхом среди большого томления пока было ново, дня два, три, а затем возвратилась вся прежняя тоска, но все-таки преимущества нового жилища были мною ощущаемы постоянно.

Перед окном моим, на другой стороне улицы, стояло дерево, я уже забыл какое, но, кажется, береза или ольха (вернее, судя по дальнейшему описанию, тополь. — П. С.); оно было негусто обросшее зеленою листвою, и вид его был мне приятен. Ветви его качались иногда по ветру, и листья дрожали и были оливаемы обильным дождем, и я смотрел на него с особенным чувством из фортки, вдыхая влажный воздух и свежесть промчавшейся грозы. Перед моими глазами это одно дерево было представителем всего лета. В продолжении целого дня видел я нескольких проходящих военных, гражданских, иногда женщин. Еще помню я, что на противоположной стороне улицы была какая-то покинутая постройка и большая куча песку, к которой часто прибегали мальчишки и заводили между собою разные драки и игры, в которых, глядя, и я участвовал, и знал их всех поименно. Однажды, вспоминается мне, послал я из окна обиженному и плачущему мальчику, оставшемуся одному, какое-то ободрительное слово и сам, испугавшись, потом спрятался за окно. Когда я посмотрел, его уже не было, и я опасался, чтобы не возникло от этого каких-либо для меня тягостных последствий, и упрекал себя в столь непростительном легкомыслии.»

Ахшарумову пришлось еще раз переменить камеру, и третья его камера описывается им следующим образом. «Мое шествие с офицерами и служителями последовало по улице, которая вела перед моими глазами по направлению к Соборной

площади. Пройдя улицу эту, мы повернули несколько влево: слева от меня я увидел тот самый двухэтажный белый дом, в котором заседали члены следственной комиссии, справа было крыльцо собора. Миновав его, мы направились через площадь к воротам Петербургской стороны, где была гауптвахта, и с правой стороны от ворот вошли в узкий коридор, разделяющий два рода казематов, вделанных в толстую крепостную стену. Коридор этот был более узкий, чем в предыдущих помещениях, и очень длинный и темный. Такая узость обуславливалась двусторонними жилищами. Миновав несколько дверей, я был введен в одну из комнат с правой стороны коридора.

Вид ее обрадовал своею, сравнительно с предыдущими моими кельями, большею величиною, и притом она была опрятна и чиста так же, как и только оставленная мною. С нетерпением я ожидал ухода всех моих спутников, чтоб вскочить на окно с форточкою, которая была невысока и легко достижима при моем малом росте. Комната эта была как зал, я даже не думал, что были такие обиталища в мрачном царстве Набокова. Она была вдвое длиннее моей последней келии и шире ее, с двумя большими окнами и форточкою в правом. Вскочив на окно, я увидел перед собою ту площадь, по которой мы шли, — всю предсоборную площадь; вдали ряд строений и между ними знакомый мне белый двухэтажный дом, который и сделался постоянным предметом моих наблюдений, в особенности по вечерам, когда он был освещен, и в нем видны были движущиеся фигуры. Кроме того, место это было более людным, чем предыдущее. Приведя в порядок мое тюремное имущество, на больших площадках окон положив книги и скромный мой тюремный туалетный несессер, я почувствовал желание воспользоваться сейчас же пространственным преимуществом этой комнаты и стал бегать взад и вперед, пока не устал.

По прошествии 24 лет после этого, в 1873 году, весною, посещая Шенбруни, загородный дворец около Вены, видел я в зоологическом отделении выпущенного на моих глазах носорога из зимнего стойла в большое огороженное для него помещение: первую потребностью его было разминание ног и бег в пределах ограды. При виде этом я сейчас же вспомнил мой бег по этой комнате. В этом жилище товарищами были

не мыши, а большие черные тараканы и голуби в амбразуре окна. Колокольня Петропавловского собора еще громче переливалась звоном в моих ушах, шпиг ее блистал перед моими глазами... Однажды слуга, подававший ежедневно пищу, сказал мне: „Барин, вы похудели, вы бы приказали купить себе вино, другие пьют вино, вы же не пьете ничего и мало кушаете!“ Слова эти, сказанные с участием, меня удивили. „Друг мой, — сказал я ему, — я не привычен пить вино, и боюсь, чтобы не было еще хуже.“ Совет его, однако же остался у меня в памяти. По выраженному мною желанию была принесена мне бутылка хорошей мадеры, откупорена и поставлена у меня на столе, рюмка считалась лишней, так как у меня было два стакана — один чайный, другой для питья и умывания. И вот настал вечерний час, сижу я за столом и, окончив чай, читаю *The Spy* Купера, передо мною на столе $\frac{1}{4}$ стакана мадеры, и я, роясь в лексиконе, делаю на полях отметки моим карандашом (т. е. гвоздем) и маленькими глотками по временам отведывая налитое в стакане вино. Мне оно показывается вкусным, и я, по слабости сил, чувствую с каждым глотком легкое приятное оживление. Чтение романа, однако же, замедляется, и, прерывая чтение, я разговариваю сам с собою, потом прохаживаюсь по комнате, все в разговоре сам с собою, влезаю на окно и стою у форточки несколько минут, чувствую ленность, усталость, зачерпываю из кружки полстакана свежей воды и выпиваю его с большим удовольствием, затем ложусь и засыпаю. Ночью просыпался я чаще обыкновенного, встал усталым, с головною болью, мысли были отуманены, и в каком-то эротическом бреду я производил стихи. „Вот что сделало со мною вино! — думал я. — Пожар с голове, груди и во всем теле! Нет, уже к этой отраве больше не прикаснусь я!“ На другой день утром я отдал солдату бутылку вина, сказав ему, чтобы он выпил ее, а я уже больше пить не стану. Беспреданно, в течение дня вскакивал я на окно и стоял у форточки. Все прохожие по крепости на Петербургскую сторону шли мимо или против моего окна. Так смотрел я несколько дней, наблюдал прохожих и вот вижу: две женщины, прилично одетые, появились из-за деревянного забора, выведенного, вероятно, временно вдоль левого фаса церкви и, поместившись в глубине выступа,

образуемого более толстою стеною входной части собора, остановились там, сокрытые от взоров посторонних людей, но перед самыми окнами наших казематов. Они стояли там с четверть часа, по-видимому, оживленно разговаривая, смотрели в тюремные окна нашего фаса и иногда делали руками какие-то знаки. Я смотрел с особенным вниманием и следил за всеми их движениями. Вскоре одна из них отделилась и направилась медленным шагом по направлению как бы к воротам на Петербургскую мимо наших окон. И вот она проходит медленно мимо моего окна, смотря на меня пристально, и перед глазами вдруг спала завеса: „Варенька! — воскликнул я довольно громко, изумленный неожиданным явлением. — Это вы?“ Она посмотрела на меня взором участия и, движением головы предупредив меня быть осторожным, исчезла со взора моего за глубокой амбразурой окна. Как мимолетное видение промелькнула перед моими глазами особа, любившая одного из моих товарищей, любимая им и посещаемая нередко нами вместе во дни свободы и счастья... Утром, проснувшись, я не мог, не желал отвязаться от мыслей вчерашнего дня. Я видел ее вчера, быть может, увижу ее и сегодня! Настал час дня, и она появилась вновь, в сопровождении незнакомой мне спутницы, все в том же месте, в углублении за стеной собора. Оттуда показывала она мне какие-то крупные надписи на листе бумаги, но за дальним расстоянием — сажень 50 — прочесть их было нельзя. Затем она вновь отделилась от своей спутницы и скрылась за деревянным собором, откуда пришла. Я смотрел и ждал: в этот раз она совершила обход и прошла параллельно тюремному фасау к Петербургским воротам. Когда она проходила мимо меня, она что-то сказала мне, но расслышать я не мог... Вечером сажусь я за чтение, но оно не идет. Различные мысли о переговорах с нею роятся у меня в голове, и вот зарождается смелая мысль: карандаш у меня есть, бумага в книгах, так можно и написать ей — выкинуть из окна письмо. Мысль эта меня так заинтересовала, что, еще не вполне решившись, я отодрал заглавный лист, почти свободный от печати, лист Ювенала на веленовой бумаге и пишу гвоздем предполагаемое письмо... Теперь как же мне сложить и скрутить эти 4 или 5 листочков и чем закрепить, заклеить, чтобы они

составляли толстый маленький пакетик? Долго не пришлось мне думать: волосы у меня были длинные, густые и крепкие, я вырвал несколько волос и, сложив бумажный пакетик в виде толстенького маленького комка, величиною с грецкий орех, приплюснул его рукою, проткнул гвоздем насквозь и, вдев пучек из волос, завязал его крепко. Печать вышла очень красивая, оригинальная, и пакетик был веленовой бумаги — снежной белизны... Часу в первом дня калитка отворилась, и сейчас же показались мне две знакомые личности и стали, как обыкновенно, в застенку собора. Поклоны и непонятные мне знаки руками. Но вот я прошу внимания и, выставя в фортку мой белый пакет, держу его, показывая и делая знаки бросанья. Пакет был замечен и сказанное понято. Варенька закивала головой и исчезла за забором. Минут через десять она, сделав обход, явилась прохожей слева вдоль фаса. И вот она приближается к моей фортке. Готовый выкинуть пакет, я имел осторожность подождать ее одобрительного знака, и вдруг она махает отрицательно головою и, отвернувшись, как бы испуганная проходит мимо. Я остался с письмом в ожидании, досаде и неизвестности. Так не удалось в этот раз, надо подумать, подождать. Через $\frac{1}{4}$ часа она вновь стала в углублении собора и оттуда, указывая рукой на гауптвахту и сторожей, знаками передавала мне, что она не знает, как сделать, но так нельзя. Тогда мне пришло на мысль, что теперь светло, но когда будет смеркаться, это будет возможно; но как ей передать это? И вот я показываю на колокольню и махаю пальцем: раз, два, три, четыре, потом показываю рукою на небо и на свои глаза, что будет темно и не будет так видно. Повторяя знаки эти раза два, я вдруг увидал, что она закивала головой и проделала то же самое: показала на колокольню, махнула рукою четыре раза, затем показала на небо и на глаза и вскоре затем ушла со своею спутницею, оставив меня в надежде и ожидании.

Для заключенного в тюрьме такие дни спасительны — они прерывают подавляющее однообразие, отвлекают от неотвязных горьких дум, освежают завядшую жизнь заключенного. Весь поглощенный одною мыслью исполнения задуманного, я был в возбужденном состоянии и ожидал означенного часа. Это должно удастся, — говорил я сам себе, — письмо будет у нее

в руках. Она в полутьме будет ходить близко, и я кину ей как раз в ноги довольно веский пакетик. Вот пробило 3 часа, стало смеркаться, погода была еще к тому же пасмурная, и к половине четвертого стемнело настолько, что еще большая темнота казалась уже мне неудобною для удачи дела. В нетерпении смотрю я на скрытый уголок собора, и он уже едва виднеет, вот пробило $\frac{3}{4}$ четвертого, и я теряю всякую надежду, даже сомневаюсь, видно ли от собора, что я стою с открытой форткой и жду. Соскочив с подоконника, я зажег свечу и поставил на площадку окна в знак ожидания. И вот я вижу, какие-то две тени пришли и стали в углубление собора. «Это они, несомненно, они, никого другого быть не может», — думал я. Одна из них отделилась и ушла. Я стоял, смотрел... Настал желанный момент, сейчас я увижу ее: по темноте уже и узнать нельзя прохожего; но это она — другой быть не может: и вот слева, медленно приближаясь, движется мимо окна какая-то женская фигура — она поравнялась с моей форткой, и я, с непреодолимым влечением, без страха и сомнения, как безумец, швырнул к ее ногам мой белый пакет! Он упал вблизи от нее, и она, подбежав, схватила его с земли и продолжала свой путь к Петербургским воротам. Было уже так темно, что я не мог видеть, нашла ли она мое письмо, или же оно осталось на дороге. В тот самый момент, когда она перешла за мое окно, услышал я озадачившие меня слова сторожа: „Сударыня, что вы подняли?“ „Платок“, — отвечала она знакомым мне голосом. Затем я более ничего не слышал и, задув свечу, стоял у фортки. Через несколько минут вслед за тем я вижу, пришли двое сторожей, один из них был с фонарем и, остановившись у левого окна, осматривали сомнительное место и искали, не осталось ли чего на земле. „Она что-то подняла“, — говорил один. „Не видать тут ничего.“ „Для чего же она подбежала к окну?“ Несколько минут они осматривали землю, бормотали что-то, то приближаясь, то удаляясь от окна».

Тревога была напрасная. Письмо Ахшарумова попало в руки, продолжаем еще последнюю выписку.¹⁵⁷ «Часу в третьем дня, вскочив на окно, я увидел Вареньку в углублении собора. Увидав меня, она показала мне, развертывая по листикам, все мое письмо, и потом поклонилась мне несколько раз в пояс. Потом она показала рукой по направлению Васильевского

острова, говоря тем, что она исполнила мою просьбу относительно указания моего окна родным, и затем, пройдя, по обычаю, мимо моего окна, она ушла из крепости.

Последствием того было свидание почти со всеми моими родными и знакомыми. На другой день я увидел проходящими двух братьев. Сначала каждый день, а потом через день, два, часу в третьем дня, я виделся с кем-либо из моих родных или знакомых, и иногда удавалось послать из окна несколько слов. Свидания эти, хоть и минутные, меня очень оживляли. Между близкими друзьями моими были двое моих дядей; одного из них — Михаила Семеновича Бажеича — мы, т. е. я и братья мои, очень любили и уважали. Он, несмотря на свою седину и престарелый уже возраст, сохранил всю свежесть цветущего еще здоровьем организма: он был отзывчив ко всем современным вопросам, и его очень интересовали социальные веяния того времени и, в особенности, учение Фурье, о котором он со мною часто беседовал и постоянно доказывал неприменимость к действительной жизни. И вот однажды, когда я стоял у моей форточки, увидел я его идущим от собора к нашему тюремному фасу. Я очень обрадовался, увидев его, и мне живо вспомнились наши с ним споры. Когда он поровнялся с моим окном и смотрел пристальным взглядом на мое исхудалое, бледное лицо с длинными волосами, я, послав ему громкое приветствие, почти закричал и окончил его словами: „А Фурье все-таки прав!“»

Из приведенных нами выписок встает яркая, блестящая всеми красками картина пребывания в Петропавловской крепости в дни петрашевцев. Можно почти утверждать, что и остальные петрашевцы содержались так же или почти так же, как Ахшарумов, может быть, условия содержания Петрашевского были более тяжелые.

Режим, как видим, по сравнению с декабристами, стал более тяжелым — петрашевцев лишили прогулки, и они должны были довольствоваться теми недолгими мгновеньями пребывания на свежем воздухе, когда их или доставляли в комиссию на следствие или когда переводили по каким-то «внутренним» соображениям из одной камеры в другую. Эти перемещения показывают нам, что политическая тюрьма в Петропавловской

крепости все еще не была сконцентрирована, что пользовались вообще каждым удобным местом. Что же касается до общего характера содержания, то, конечно, его нельзя назвать иначе, как «патриархальным».

Вскоре после того, как большинство декабристов освободило Петропавловскую крепость, а именно в 1827 году¹⁵⁸ появилось высочайшее повеление «О истреблении по крепостям стульев с цепями». Из этого высочайшего повеления мы узнаем, что в крепостях существовали особые стулья, а попросту говоря, громадные обрубки или пни, к которым были прикованы цепи. Если эти цепи надевались на заключенного, то он являлся таким образом прикованным к этому стулу — перетащить стул не было никакой возможности. И какая недобросовестность, какое двуличие заключается в этом высочайшем повелении. Ведь оно давалось тем самым монархом, который лично давал приказания заковывать в железо того или другого декабриста, или особо виноватого или, что чаще, против которого имел личный зуд монарх России. Так поступалось в суровой действительности, а в законодательстве можно проявить акт гуманности, уничтожить еще последний остаток старины — «стулья с цепями».

Выше читатель видел, что привлеченный по делу декабристов Зубков в своих воспоминаниях упоминает о каменных мешках. Зубков очень туманен в этом месте, нельзя понять, передает ли он слух, существовали в его время эти мешки. Лично мы позволяем себе высказать большое сомнение о существовании этих мешков в XIX веке, но, конечно, более чем вероятно, что они существовали в XVIII веке, и особенно в первое время основания Петропавловской крепости. Если и ко времени заключения декабристов и мог в каком-либо каземате сохраниться такой мешок, то ко времени петрашевцев их, безусловно, не было, и генерал Набоков просто-напросто пострадал Ахшарумова. Заключение значительного количества декабристов показало начальству, что Петропавловская крепость неудобна для массового заключения, и в 1834 году¹⁵⁹ была произведена капитальная переделка казематов крепости, но эта переделка, как видно из воспоминаний Ахшарумова, не коснулась Алексеевского рavelина — его камеры сохраняли

тот же вид, какой они имели при декабристах. После петрашевцев массовое заключение в Петропавловскую крепость было в 1861 году, когда в крепость попал чуть ли не весь Петербургский университет: существует предание, что на другой день после ареста петербургских студентов на воротах Петропавловской крепости явилась вывеска: «Здесь временно помещается С.-Петербургский университет». Вообще же с 1861 по 1866 год в эпоху великих реформ Петропавловская крепость справляла, если так можно выразиться, бенефис. Никогда, пожалуй, столько выдающихся деятелей России не перебывало в ее стенах. Началось с Михайлова, который был доставлен в крепость 14 октября 1861 года и посажен в Невскую куртину¹⁶⁰. Всю дорогу от комендантской квартиры до куртины сопровождавший его делопроизводитель крепостной канцелярии разговаривал с ним, извинялся, что теперь нет помещения получше, все битком набито студентами, говорил. Что в содержании заключенных сделаны кое-какие улучшения, что теперь дают утром и вечером чай, чего прежде не было, и с 1 ноября и в ночниках будет гореть деревянное масло. Помещение оказалось не из важных. Михайлова поместили в камере, где ранее помещалось больничное отделение с 6 кроватями. Стены были закоптелые, с приметами сырости, со свода висела бахромой паутина. Два полукруглых довольно больших окна с мелкими переплетами, покрашенные снаружи, белели в глубоких темных амбразурах будто занесенные снегом. В довольно широком простенке между окнами, изголовьем к стене, стояла деревянная койка. На ней лежал парусинный мешок, скудно набитый соломой и прикрытый сверху грязной простыней. Наволочка подушки была такой же сомнительной чистоты. Около изголовья койки стоял небольшой стол с оловянной кружкой для воды и стул с глухим деревянным сидением. Михайлов поднимался с постели довольно рано и взамен ночника, горевшего обязательно всю ночь, зажигал свечу, которую покупал на собственные деньги. Часов около 9 отворялась дверь, и арестанту приносили воду для умывания и чай. Между чаем и обедом иногда заходил комендант или плац-адъютант. Часов около двух подавался обед — из двух блюд. Вечером подавался такой же, как обед, ужин. Так как

кроме собственных книг Михайлову давались для чтения и старые журналы, то он почти целыми днями и ночами читал книги. 2 июля 1862 года в Петропавловскую крепость был заключен Писарев¹⁶¹, 7 июля 1862 года отвезен в Алексеевский равелин Чернышевский¹⁶², 19 ноября 1862 года посажен туда же еще совсем юный П. Н. Ткачев¹⁶³, 15 апреля 1863 года Алексеевский равелин принял в свои объятия еще одного узника — Н. В. Шелгунова¹⁶⁴. Таким образом, в течение менее чем двух лет в Петропавловскую крепость попали все наиболее яркие представители 60-х годов. И, злая ирония судьбы, 15 января 1863 года¹⁶⁵ в особую комиссию, разбиравшую дело Чернышевского было передано начало написанного им в Алексеевском равелине романа «Что делать?». Комиссия полагала, что этот роман возможно печатать. Таким образом, знаменитый роман Чернышевского «Что делать?», роман, который долгое время считался одним из самых решительных средств для подрывания основ, роман, который конфисковался при всяких обысках, который был совершенно изъят из русской действительности, как и его автор, был написан в Алексеевском равелине... Можно себе представить всю злость последующих деятелей III отделения, когда они вспоминали этот факт. Как проклинали они, надо полагать, чернышевскую комиссию за проявленный ею либерализм. Либерализм, положим, был проявлен не только по отношению Чернышевского. 30 июля 1863 года¹⁶⁶ Суворов — петербургский генерал-губернатор — представил в Сенат работу Писарева «Наша университетская наука», и убежденные жизненным опытом сенаторы со своей стороны полагали, что и это творение Писарева может увидеть свет; и с этого дня Писарев, чуть ли не каждую неделю, посылал через того же Суворова свои работы, причем на некоторые из них Сенат накладывал свое veto.

18 августа 1866 года в комендантской квартире начались заседания по каракозовскому делу¹⁶⁷. 3 сентября того же года Каракозов висел на виселице на Смоленском поле, а 4 октября 1866 года из Алексеевского равелина были увезены на каторгу другие два крупных участника каракозовского дела: Худяков и Ишутин. И после этого вплоть до 28 января 1873 года, когда в Алексеевский равелин был заключен только один бывший

артиллерийский офицер Бейдеман, уже сошедший с ума. Долгие семь лет, вплоть до 10 ноября 1880 года, когда в Алексеевский рavelин был посажен народоволец Степан Шевырев¹⁶⁹, Нечаев должен был сидеть один в рavelине и слушать, как бился в своей камере сошедший с ума Бейдеман. С привозом Степана Шевырева Алексеевский рavelин служит свою последнюю службу российскому правительству. Приняв в свои объятия декабристов, этих первых ласточек русской революции, Алексеевский рavelин стал могилой для многих народовольцев, по отношению которых, если продолжать употребление метафор, вполне приличествует название — герои русской революции. Прежде чем перейти к описанию этого последнего периода, считаем уместным дать некоторые топографические подробности.

Трубецкой бастион вместил в свои стены особую государственную тюрьму с 1870–1871 годов, как это мы указали выше. Это здание отделялось высоким деревянным забором от территории Монетного двора. Сама тюрьма Трубецкого бастиона¹⁷⁰ — двухэтажное здание — имеет вид пятиугольника. Четыре стены тюрьмы идут параллельно фасам бастиона, а пятая сторона лежит против его горжи. Эта последняя сторона занята приемной комнатой, квартирой смотрителя и помещением для свиданий через решетку. Перед приемной комнатой, прямо от крыльца, находилась караульная комната солдат-гвардейцев, а сама приемная — большая мрачная, до нельзя грязная комната. Она слабо освещалась двумя окнами, выходившими в тюремный садик, нижние стекла у этих окон матовые. В правом переднем углу стоял грязный деревянный стол, а за ним по обеим сторонам угла шла глаголем деревянная же скамейка. У левой стены находилась круглая печь, обитая железом, а далее, в левом углу, виделась узкая дверь, окрашенная в темно-вишневую краску. Через эту дверь был вход в ярко освещенный и опрятный коридор, в который с левой стороны выходил ряд камер числом 8. В каждой из них на высоте аршин двух был прибит железный окрашенный белою краскою бак для воды, ибо водопровода в камерах во время нахождения в них Поливанова, т. е. в начале 80-х годов, не было. По правую руку была стена, выходившая на

внутренний тюремный двор, где был садик для прогулки заключенных и баня. В окнах этой стены нижние стекла были матовые. У последней камеры № 8 коридор поворачивал под тупым углом справа, а с левой стороны, сейчас же за № 8 он расширялся в полукруглую площадку. С этой площадки левая дверь вела в цейхгауз, правая — в отхожее место, находившееся под лестницей, спускавшейся со второго этажа, а в глубине площадки видна дверь № 9, изолированного таким образом от всех остальных, кроме № 45, находящегося над ним во втором этаже. Таким образом, по четырем фасам здания в каждом этаже имеется по 8 камер, да еще на четырех углах площадки с изолированными камерами, так что в каждом этаже имеется 36 камер, всего же 72.

«Камера Трубецкого бастиона, — писал в своих воспоминаниях П. Поливанов, — длиною была, помнится, шагов 8–9 и очень высокая. Я только концами пальцев мог достать до края косого подоконника, самое же окно было на высоте не менее, если не более сажени, и давало, как я в этом убедился на следующий день, очень мало света, так как, хотя стекла и не были матовые, но стены бастиона были на очень небольшом расстоянии от окна, в которое никогда не мог проникнуть ни один солнечный луч. Даже на втором этаже, куда меня перевели на третий день, окна были значительно ниже валганга, так что и там было темновато. Мебель состояла из железной кровати, прикованной изголовьем к стене. Ножки этой кровати были вделаны в асфальтовый пол. Перед кроватью было нечто вроде стола, роль которого играл железный лист в осьмушку дюйма толщиной, вделанный в стенку у изголовья кровати. Этот стол опирался на две железные полосы, один конец которых вделан наглухо в стену, а другой приклепан к нижней поверхности стола. Кроме этого было только два предмета: с левой от входа стороны двери кран, а под ним — раковина, с левой — неудобоназываемое учреждение с ведром, тоже прикованное к стене. Таким образом, во всей камере не было ни одного предмета, который можно было бы передвинуть с одного места на другое. А потому забраться на окно не было никакой возможности, да из него я не увидел бы ничего интересного. В камере была страшная грязь, сырость, капли воды, сбегавшие

с подоконника, образовывали к утру целую лужу. На другой день, через час пришел ко мне смотритель и, буркнув „Пожалуйста!“, повел меня во второй этаж и, введя в № 55, молча запер там. Этот номер был такой же угловой, изолированный. Все номера Трубецкого бастиона одинаковы, и в своем новом жилище я нашел только ту разницу, что здесь было гораздо суше и несколько светлее, чем в № 9. Там можно было читать только вечером при лампе, здесь же часов с 11 до часу, даже до половины второго было относительно светло и не казалось, как прежде, что я сижу на дне темного и сырого колодца.»

Такова тюрьма Трубецкого бастиона, существующая до сих пор, так что впечатления Поливанова могут быть проверены. В Трубецком бастионе в 10 камерах рядом №№ 41–51 находились последние слуги царского режима¹⁷¹: ген. Хабалов, Штюмер, Протопопов и др. Сюда же попали и члены Временного правительства, причем Шингарев и Кокошкин были помещены в смежных камерах №№ 69 и 70. В некоторых из этих камер стены были разрисованы арестантами. Особенно много рисунков было в камере № 58, где сидел знаменитый полковник Шнеур. Не менее его знаменитый Пуришкевич побывал в пяти камерах за время своего пребывания в тюрьме.

Если Трубецкой бастион сохранился до наших дней, то Алексеевский рavelин исчез с лица земли вскоре после того, как перевели его узников в Шлиссельбург. Памятью от Алексеевского рavelина являются две фотографии, сделанные одним из живущих в крепости, да план рavelина, нарисованный И. Поливановым в его воспоминаниях.

Алексеевский рavelин был ужасным и таинственным местом заключения, входя в которое нужно было «оставить всякую надежду». Здесь человек терял свое имя, здесь не допускалось никаких отношений, ни личных, ни письменных, даже с самыми близкими родственниками, арестант умирал для всего мира. Здесь не было никакого закона, кроме монаршей воли, и тюрьму эту посещал только царь, шеф жандармов и комендант крепости. К этой характеристике Алексеевского рavelина нужно добавить и следующее. Мирский, один из узников рavelина, увезенный впоследствии в Сибирь, сказал в разговоре с доктором: «Когда меня увезут в Сибирь...», но

Вильмс (такая была фамилия доктора) не дал ему докончить, захохотал и сказал: «Я старик, и голова у меня тут поседела на службе, а не помню, чтобы отсюда куда-нибудь увозили иначе, как на кладбище или в сумасшедший дом»¹⁷².

Приведем прежде всего описание, как попадали в Алексеевский равелин. Существуют два рассказа, Фроленко и Поливанова, каждый из них дополняет друг друга. Фроленко в своем очерке «Милость» писал следующее¹⁷³: «В пятницу 15 марта ночью, слышу, сквозь сон громыкает дверь, кто-то вошел. Не успел я раскрыть глаза, как слышу обычное: „В комиссию!“ Поднимаюсь, у кровати стоят унтера, кладут одежду. Спешу одеться и, не запахнувшись, бегу скорее в комиссию, которая была вне Трубецкого бастиона. Темнота у входа, мрак на лестнице вызывает во мне смутное недоумение... Поднимаюсь наверх, там стоит на площадке Соколов: дверь в комнату допросов и свиданий заперта... „За мной!“ — слышу резкое шипение Соколова, как только поднялся я на верхнюю площадку. Налево оказалась дверь, а за нею спуск на улицу. Лампа-коптилка бросала тусклый свет. Дверь на улицу была открыта, и там виднелась мрачная питерская ночь... Можно было и думать, что спускаешься в подземелье. Соколов был впереди один. Выйдя на улицу, охваченный темнотою, я слегка задержал шаги — и в тот же момент две невидимые руки подхватили меня под руки сзади, и мы повернули налево. Соколов даже не обернулся, так был уверен в ловкости своих агентов. Жандармы стояли, верно, у входных дверей, но я их не заметил. Мы пошли между Монетным двором и Трубецким бастионом. Далее дорогу перегородила стена с воротами; за ними чернели налево другие ворота в Алексеевский равелин. Здесь нас, как будто, не ожидали. Открылась калитка, и мы вошли под своды крепостной стены: вдали виднелась вода, ближе что-то темное, точно берег, и на нем мерцал огонек. „Топить ведут!“ — мелькнуло инстинктивно в голове. Но с этой перспективой я, помню, как-то удивительно скоро примирился... Ну, что ж, пускай и топят! И в то же время почувствовал, что при выходе из-под ворот на меня пахнул сырой ветер с Невы, я убоился простудиться. Когда жандармы подхватили меня под руки, они еще более распахнули мне грудь, но в

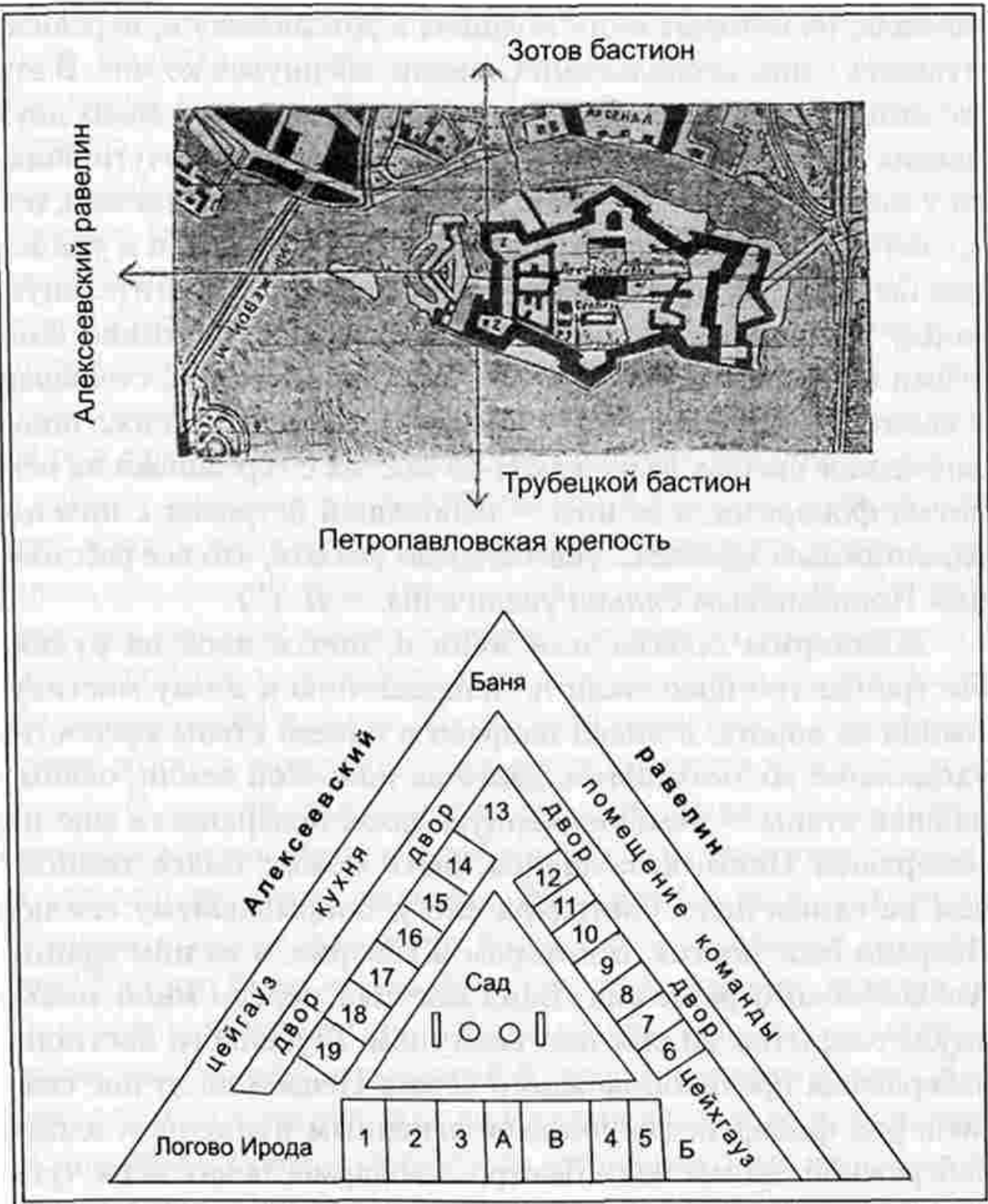


Алексеевский рavelин. Фотография 1880-х годов

глухой улочке, защищенной со всех сторон стенами, это не чувствовалось, там не было ветра... „Да закройте же мне хоть грудь!“ — взмолился я ко своим провожатым. Жандармы, и без того бывшие, очевидно, в нервном состоянии (они пыхтели, точно везли тяжести), услышав среди мертвой ночной тишины человеческий голос, совсем потерялись и вместо того, чтобы спокойно застегнуть куртку, сопя и трясаясь от страха, бросились мне зажимать рот. Темнота и нервы мешали им схватить его сразу; я услышал, как по лицу ерзало что-то мягкое... Шествие невольно остановилось. „Что такое?“ — спросил Соколов в тревоге. Тут только я рассмеялся про себя над своим опасением простудиться и покорно пошел дальше. Вошли на мост. Отсюда очертания каких-то зданий впереди стали ясней. Видно было, что огонь горит в окне, а не на берегу. Скоро весь фасад с воротами посередине и окнами засерел перед нами. Через калитку вошли под своды здания, сделали несколько шагов и повернули направо в узкий коридор. Это и был Алексеевский рavelин — замкнутое треугольное здание с маленьким садиком внутри. Коридор, не прерываясь, тянулся

вдоль всех трех сторон рavelина, начиная с половины первой. У конца второй половины он упирался в глухую стену. Благодаря такому расположению, левая половина передней стороны рavelина была совершенно изолирована от прочих частей.»

В общем рассказ Поливанова¹⁷¹ сходится с рассказом Фроленко, это сходство особенно важно потому, что в способе перевода Фроленко и Поливанова не было, значит, случайности, это была система, продуманная и прочувствованная. Очевидно, этим ночным, таинственным переводом хотели подготовить к тому режиму, который практиковался в рavelине. «Мы спустились, — писал Поливанов, — и вышли в садик для прогулки, находящийся на внутреннем дворе тюрьмы, так как меня не хотели вывести через караульную комнату, пройдя через этот садик, мы вошли в какой-то пролет здания тюрьмы, запертый между двумя воротами, а из него в знакомый уже мне переулок, лежащий меж Монетным двором и Трубецким бастионом, недалеко от крыльца тюрьмы. Пройдя небольшое расстояние по переулку, Домашнев свернул налево в какие-то ворота, которые вели в пролет очень длинный и очень темный. Очевидно, он шел под зданием, примыкавшим к крепостной стене. На пути нам попадались и справа, и слева какие-то подъезды, какие-то ворота. В одном месте на меня бросилась откуда-то собака. Домашнев заслонил меня от нападения и крикнул кому-то: „Собаку что не запираешь?“ В ответ слышался из тьмы крошечный тихий зов, которому собака повиновалась с глухим ворчанием. Поравнявшись с местом, откуда слышался этот зов, я увидел решетчатые железные ворота, а за ними двор, но ни человека, ни собаки не было уже видно. Потом тьма сгустилась уже до того, что ничего нельзя было разобрать, мы шли уже сквозь толщу крепостной стены. В конце подворотни мы остановились, и я, несколько освоившись с темнотой, увидел, что нахожусь в нескольких шагах от окованных железом ворот. В этих воротах была калитка с оконцем, сквозь стекло которого проникал откуда-то слабый свет; благодаря ему, я мог заметить какую-то закутанную в шубу фигуру, стоявшую прислонясь спиной к калитке, но более я ничего еще не мог разобрать в окружающей меня тьме; но вот из нее выделились неясные очертания двух-трех



План Алексеевского рavelина.
 Иллюстрация к книге П. И. Столпянского
 «Петропавловская крепость». 1923 год

человек, из которых один подошел к Домашневу и, перешепнувшись с ним несколькими словами, обернулся ко мне. В эту же минуту я почувствовал, что мои плечи зажаты в лапах двух дюжих и рослых жандармов, незаметным образом очутившихся у меня за спиной. Человек, говоривший с Домашневым, подошел ко мне и молча наклонился к самому лицу, и я увидел как бы в рамке воротника меховой шинели отвратительную морду в офицерской жандармской фуражке с щетинистыми усами и бритым подбородком. Закутанная фигура, стоявшая у калитки, распахнула ворота, и передо мной открылось поле, занесенное снегом, далее какой-то мостик с горевшими на нем двумя фонарями, а за ним — небольшой островок с низким одноэтажным зданием... (необходимо указать, что все расстояния Поливановым сильно увеличены. — П. С.)

Жандармы подхватили меня и, почти неся на руках, быстро-быстро поволокли по направлению к этому мостику. Выйдя за ворота, я видел направо и налево стены крепости, уходившие во тьму, затем, далее за полоской земли, окаймлявшей стены — темную, черную даже, поверхность еще не замерзшей Невы, казавшейся, быть может, более темной, чем на самом деле, благодаря снегу, покрывавшему землю. Впереди был мостик, о котором я говорил, а за ним здание Алексеевского рavelина. Близ мостика передо мной мелькнула закрытая до сих пор выступом Трубецкого бастиона набережная противоположного берега Невы или, лучше сказать, ряд фонарей, тянувшихся огненным пунктиром вдоль набережной, но мы идем быстро, жандармы тащат меня чуть ли не на рысях: огни исчезли, мы уже перешли через мостик. Алексеевский рavelин совсем уже близко и мрачно смотрит на меня темными окнами, напоминающими пустые глазницы черепа: было заметно сразу, что стекла были матовые.

Пройдя шагов 25–30 от крепости, мы остановились перед воротами. Тут я в последний раз обернулся: за нами шел тот жандармский офицер в меховой шинели, который так бесцеремонно меня рассматривал, а вдали еще виднелись распахнутые ворота крепости, в которых стояла кучка людей, наблюдавших за нашим шествием. В воротах Алексеевского рavelина была калитка с оконцем, забранном снаружи решеткой из медных

прудьев. Через это оконце взглянуло на нас усатое солдатское лицо. Калитка распахнулась, и меня ввели в подворотню. Отворивший нам калитку старший унтер-офицер жандармского караула — часового и здесь убрали, хотя он был жандарм, пошел впереди, минуя первое крылечко с правой стороны, которое, как я убедился впоследствии, вело в караульное помещение, повел нас на второе. Я заметил, что напротив его, по левой стороне подворотни, было точно такое же крылечко с двумя каменными ступеньками. Невдалеке от этих крылец были другие ворота, точно такие же как и наружные, которые вели в садик, служивший местом прогулки заключенных»¹⁷⁴.

Если этот переход в Алексеевский равелин должен был уже влиять на психологию, то внутреннее устройство равелина, его камеры усиливали мрачное впечатление. Попав в равелин, арестант входил в коридор, который слабо освещался маленькой керосиновой лампой, поставленной по левой стене, выходившей в садик. Окна были невелики и находились очень высоко, пожалуй, даже выше среднего человеческого роста. С правой стороны шла сначала глухая стена, потом виднелась белая дверь в углублении стены, запертая засовом, а над нею дощечка с надписью № 4, за № 4 шли следующие номера. «Первое, что меня поразило, — указывал Поливанов¹⁷⁵, — это были стены. Мне казалось, что они, аршина на полтора, начиная от пола, были обиты черным бархатом, а выше выкрашены в казенный бледно-бланжевый цвет. Для красоты под потолок шла красная полоса, в виде бордюра. Я подошел к стене и увидел, что этот бархат был не что иное, как черно-зеленоватая плесень, покрывавшая бархатным ковром всю нижнюю часть стены; повыше она изменила цвет на бледно-розовый, далее же на белый, и располагалась уже не таким толстым слоем. Стекла были матовые, и на них лежали черными полосами тени перекладки решетки. Налево от входа, весь угол наполняла огромная изразцовая печь, топившаяся из коридора, несколько ближе к двери — деревянное учреждение с ведром. В расстоянии аршина полтора от левой стены стояла деревянная кровать, покрытая ветхим одеялом старомодного рисунка, бывшим некогда белым с красными полосками, но пожелтевшим от времени. Это одеяло, наверное,

помнило наших предшественников 70-х годов, а может быть, и Бакунина. Постельное белье представляло полный контраст с носильным, оно было вполне приличное, хотя и довольно почтенного возраста: на нем стояло клеймо А. Р. 1864 — год введения Судебных уставов, год, когда на всю Россию было провозглашено „Правда, милость да царствуют в судах“. У кровати стоял деревянный крашенный стол, ящик из которого был вынут, и такой же стул с высокою спинкою. На столе стояла большая глиняная кружка с водою, жестяная лампочка и коробка шведских спичек». Поливанов так описал № 5, в который его поместили. А вот как описывает № 18 или № 19 Фроленко¹⁷⁶: «Это довольно просторная камера с плоским потолком, с изразцовой печью, с большим окном. Посредине стояла деревянная кровать с волосяным матрасом, покрытым тонкой простыней, и одеялом с подушкой в белой наволочке, подле — деревянный стол с маленькой лампочкой, деревянный со спинкой стул, в углу стульчак — все как обычно; ничего страшного. К тому же все белье дали чистое, тонкое, халат из черного, не очень толстого сукна с широким поясом, точно по мерке сшит, маленькие башмаки пришлись как нельзя лучше. От волнения, а может быть, и угара, разболелась голова, но на душе было спокойно. Одно только показалось немного странным, через окно не видно было неба. «Ну, верно, как в Петропавловке, близко крепостная стена!» — решал я и, не подходя к окну, поспешил завалиться спать. Наступило утро; проснулся я и первым делом глянул в окно. Вот тебе и стены! Невольно вырвалось замечание... вместо стен придумали забелить совершенно все окна наружной рамы. В окне виднелись две рамы. Встаю, одеваюсь, подхожу к окну. Ни черточки, ни точки не осталось прозрачной, что там за окном, нельзя и разобрать. При этом форточки нет, а есть только в верхней части окна небольшого диаметра жестяная трубка с густым ситечком на внешнем конце. Это ситечко очень скоро затянуло паутиной, прочистить его было нечем, и доступ свежего воздуха прекратился. Ремонт, как видимо, производился очень давно. Потолок, стены, когда-то выкрашенные в желтый цвет, покрылись сероватым налетом пыли и паутины. Паутина виднелась тоже во всех углах. Нижняя часть стены аршина

на полтора облезла, штукатурка от сырости превращалась постепенно, как видно, в известковый пух. Такой пух виднелся теперь вдоль всей стены до высоты 1 ½ аршин. Выше, где штукатурка не смогла превратиться в пух, она затвердела и почему-то стала почти что черной. Просыпаюсь как-то в начале, смотрю на пол и диву дивлюсь: весь он серебряным налетом покрыт. А пол я ежедневно вытирал тряпкой. Встал, потрогал, стирается легко. Вытер. На другой день то же и т. д. Днем, ходя по камере, я, видно, не давал налету образоваться, но за ночь грибки успевали вырасти настолько, что получалась сплошная беловатая корка. Сырость увеличивалась с наступлением теплой и дождливой погоды. Краска на полу у стен, где еще сохранились, легко размазывалась теперь. Соль нельзя было держать на столе, в солонке получался рассол. Матрасы, набитые волосом, в конце прогнили снизу. На подоконнике постоянно стояла лужа, и когда она достигала известных размеров, с подоконника начинали сбегать струйки воды на пол, и без того сырой от мокрой швабры. Ее я просушил, наконец, и старался собирать воду с пола тряпкой, я всегда держал ее на подоконнике, и, когда она пропитывалась водой, я выжимал ее, измеряя ложкой количество атмосферных осадков в моей камере».

Если сравнить это описание камер Алексеевского равелина с вышеприведенными от времен декабристов и петрашевцев, то мы видим, что внешний вид камер, их устройство не изменилось, введены, если так можно выразиться, небольшие коррективы: замазаны окна сплошь белой краской, прежде оставлялись верхние звенья не замазанными; вместо форток были сделаны недействующие вентиляторы. Но самая главная разница заключалась в сырости. Прежде такой сырости не было, и ее сумели развести в последнее время. По крайней мере, ни Якушкин, ни Ахшарумов в своих записках не упоминают про ту сырость, от описания которой в буквальном смысле могут волосы встать дыбом.

Окончив описание камер, укажем, какая была одежда и пища у заключенных. Фроленко описал ту одежду, которую он получил в первый день своего помещения в равелин. Это была вполне приличная одежда. Но она была дана всего-навсего на один день. Через день утром Фроленко услышал резкое: «Раздеться!»

«Оглядываюсь и вижу, на кровати лежит куча старого серого хлама, а у кровати на полу стоят большие неуклюжие коты и рваные суконные онучи. Это было уже настоящее каторжное одеяние. Старая плохо вымытая дерюга-рубаша и нижние порты, старые, из очень потертого серого сукна с разрезами для кандалов штаны и старая серая куртка». Фроленко только вскользь коснулся одежды. Поливанов посвящает ей гораздо больше места¹⁷⁸. «Оставшись один, я стал разбирать ворох, лежавший на кровати. Белье было ужасное, чуть ли не из мешочного холста, в котором вдобавок всюду торчала кострица; затем шерстяные зимние портянки, громадные коты, подбитые гвоздями, серая арестантская куртка и серые же невыразимые, очень оригинального покроя штаны, напоминавшие мне мексиканские кальцонеро, с тою только разницею, что разрез был не снаружи, а снутри, начинаясь вершков на 5 выше колена и не доходя на такое же, приблизительно, расстояние до конца. Этот разрез был сделан с тою целью, чтобы через него можно было пропускать цепь от кандалов, надетых под брюки. После я уже нигде не видел подобных невыразимых; должно быть, начальство пришло, наконец, к убеждению, что подобный покрой платья нелеп в высшей степени. Белье нестиранное, а потому крайне жесткое, терло мне тело и немилосердно кололо его кострикой, коты кололи мне пятку гвоздями, прошедшими сквозь стельку, портянки, плохо завязанные веревочками от котов, сваливались с ног; в курку могло поместиться два человека, как я, и она висела, не облекая тела, словно мешок, а у штанов не оказалось верхней пуговицы, так что я их никак не мог приспособить к употреблению, и ходить приходилось, поддерживая их рукой. На проклятом разрезе хоть и было три пуговицы (грубо обрезанные кусочки толстой кожи), но штаны были мне не по росту, сидели плохо, и в эти разрезы свободно проникал холодный воздух». Чтобы сделать белье хоть несколько удобоносимым, Поливанов прибегнул к такому способу: «Я стал делать следующее: дадут мне новое белье, так я им вытру мокрый пол и отдам в стирку, а на себя оставлю старое, таким образом, я поступал с каждой парой белья по три раза: в четвертый, после трех стирок, его уже можно было носить. Кроме того, я предварительно каждый раз мял и тер

белье о спинку кровати, чтобы сделать его помягче, и выбирал из него кусочки кострики».

В соответствии с одеждою было и умывание¹⁷⁹: «Я остановился перед умывальником и стал искать глазами мыло. Его не оказалось, и я спросил присяжного: „А мыло?“ Тот только отрицательно качнул головою: не полагается, мол, вашему брату такой роскоши. Что поделаешь? Пытаюсь умываться без мыла вплоть до перевода в Шлиссельбург, т. е. год и 10 месяцев».

Наконец, несколько слов о пище. «Утром часов в семь приносили ломоть черного хлеба, в 12 часов раздавали обед — омерзительный, нужно сказать. В скромные дни он состоял из щей или жиденького манного супа, в котором по солдатской поговорке „крупинка за крупинкой гонялась с дубинкой“, гречневая каша в весьма умеренном количестве, а в постные дни (среда и пятница) из гороха или супа с признаками сметков и каши с постным маслом. В семь часов вечера давали ужин — остатки щей или супа, разбавленные в изобилии кипятком¹⁸⁰». А каков был хлеб, узнаем из описания Фроленко¹⁸¹: «с примесью куколя, с сороконожками, сухими личинками. У меня вошло в привычку перед едой разламывать хлеб на мелкие куски, выбирать сор и потом уже есть. И вот однажды, разломив, смотрю — белеет что-то. Присмотрелся еще — два или три белых хлебных червя. Выбросил... Говорю на следующий день Соколову: „Быть не может! Я сам смотрю за печением хлеба!“ — отвечает он. Не помню. Почему я не сохранил червей, пришлось промолчать. Разламываю после его ухода хлеб и к своему удовольствию снова нахожу штуки три белых, налитых червя. Сохранил их. Является Соколов. Вот, говорю, смотрите, и показываю свою находку. Соколов взглянул, покраснел, и, взяв, быстро спрятал хлеб в карман, не говоря ни слова. Я заранее торжествовал, но оказалось рано. В следующий приход Соколов смело, нахально стал меня уверять, что это были не черви, а разбухшие зерна ржи¹⁸¹».

Весь равелин находился в беспрекословном повиновении у Соколова, иначе называемого политическими заключенными Иродом. Характеристику этого Ирода сделали Волькенштейн¹⁸² и Поливанов¹⁸³. «Он — Ирод — выкрестившийся

еврей, — пишет Волькенштейн, — и выслужился из солдат в офицеры. До 1884 года он был в Алексеевском равелине и там, и в Шлиссельбургской крепости он больше всего отличался поразительною страстностью в исполнении своих обязанностей. Как зорко, как лихорадочно он следил за всякой мелочью, которую исполняли по его распоряжению унтер-офицеры. Распределяют белье для арестантов — он с замечательною тщательностью пересмотрит каждую вещь и переложит ее на другое место. Раздают заключенным пищу — он с необыкновенным вниманием смотрит, как и куда ставят. День и ночь он проводил в коридорах — даже в праздники. Раз, в утро Пасхи, на рассвете, часов в пять мы начали стучать, еще лежа в постели, надеясь, что в такой день не станут колотить в дверь, делать замечания и пр. Как вдруг — даже теперь не могу спокойно вспомнить об этом — врывается Ирод с толпою унтер-офицеров и кричит не своим голосом: „И в праздник они безобразничают! Перестанете ли когда-нибудь?“

Был он большой любитель тиранить заключенного, и сколько это ему доставляло удовольствия. Так, например, выберет умышленно Рождество, чтобы дали арестантам новое немытое белье, очень грубое и колючее, а потом и сияющим видом спрашивает: „Что, колет?“ Между тем он мог бы повременить, потому что старое белье не бросалось, а после донашивалось. Вообще же он был чрезвычайно неразвитой человек и умственно, и нравственно».

Поливанов, со своей стороны, приводит много характерных черточек. «Трудно передать отталкивающее впечатление, какое производил Соколов. Это был мужчина высокого роста, лет 45–50, очень плотный и широкоплечий, почему и казался ниже, чем был на самом деле, с фигурою и ухватками, напоминавшими не то мясника, не то гицеля. Его массивные руки с короткими и толстыми пальцами находились в постоянном движении, и только это чисто иудейская жестикуляция и выдавала его происхождение: он был выкрест-еврей, говор же его был чисто русский, солдатский. Донельзя было противно его бритое мясистое лицо с толстыми губами, рыжеватыми щетинистыми усами, с постоянным выражением тупого самодовольства или злобы. Особенно противны были глаза,

выпуклые, неопределенного цвета „бутылочного с искрой“. Они напомнили мне глаза крупных пресмыкающихся с застывшим в них выражением холодной, тупой жестокости. Наглый, жестокий, бесчувственный, тупоумный и низкий; он служил без малейших колебаний и угрызений совести исполнителем самых гнусных приказаний высшего начальства. Во время Крымской войны он был солдатом, и его взял к себе в денщики Потапов (бывший впоследствии шефом Корпуса жандармов), а потом Соколов пошел в жандармы, но только в 1870 году он был произведен в офицеры, благодаря протекции своего бывшего барина. Однако по своей неразвитости и малограмотности употреблялся лишь на черную работу: возил арестантов на допросы, дежурил в III отделении и присутствовал иногда на обысках, так как у него не только были исполнительность и рвение, но некоторый шпионский нюх. „Мне все равно, — вот любимый диалог Соколова, — мне что прикажут: от себя ничего не делаю, и на меня обижаться нечего. Прикажут мне сделать лучше — сделаю лучше. Прикажут сделать хуже — сделаю хуже. Прикажут тебя выпустить — и выпущу!“»

Таковы внешние стороны жизни заключенных в Алексеевском равелине. Теперь нам хочется восстановить перед читателем ту психологию, которую переживали наши великие предшественники, при этом мы приводим исключительно их подлинные речи, допуская со своей стороны только необходимые для связного рассказа соединения и связи. Мы хотим таким образом восстановить картину, или, вернее, гамму тех переживаний, которую вынесли народовольцы, и заметки о которой они оставили в своих воспоминаниях, записках, мемуарах и т. п. При этом, принимая во внимание, что одни и те же лица были и в Алексеевском равелине, и в Шлиссельбурге, и условия жизни в этих государственных тюрьмах были очень сходны, начальником и Алексеевского равелина, и Шлиссельбургской крепости был один и тот же известный Ирод Соколов, мы позволим себе пользоваться не только теми воспоминаниями, которые относятся непосредственно к Петропавловской крепости, но и шлиссельбургскими, выбирая из них, конечно, только то, что имело общий характер,

что могло быть и в равелине. Мы отказываемся от каких-либо комментариев, потому что нам кажется, что слова людей, попавших в Алексеевский равелин, не нуждаются в комментариях. Они говорят сами за себя.

«— Скажите, пожалуйста, куда вы меня везете? — обратился я к офицеру¹⁸⁴.

— Не все ли равно, получасом раньше, получасом позже узнать? — вяло процедил он сквозь зубы. Я промолчал, но через минуту он сам спросил меня: — А как вы думали, куда вас помесят?

— Конечно, в крепость!

Офицер мотнул головой и дрогнувшим голосом произнес:

— Ну вот.

Мы повернули на Литейный, потом свернули по набережной к мосту Александра II, который при мне еще только строился. Вот мы уже и на мосту. И предо мной развернулась чудная картина Невы. Ее поверхность покрыта лодками, баржами, пароходами, режущими ее воды по всем направлениям. Всюду — и на реке, и на ее гранитных набережных — кипит жизнь, а я... Но тут вдали вырезался силуэт Петропавловской крепости; издали она казалась гораздо более низкой, чем на самом деле, вероятно, от впечатления, производимого гранитными зданиями, которые высятся по берегам: и ее гранитные стены, казалось, выступали прямо из поверхности Невы (полоска земли между водою и крепостью узка и притом очень низка, так что издали сливается с поверхностью Невы).

Не знаю, как кому, а мне эта крепость всегда резала глаз и портила впечатление, производимое красавицею Невою. Я глубоко ненавидел ее и не только теперь, когда она рисовалась в моем воображении каменным гробом, где скоро буду схоронен и я, вслед за погибшими ранее меня товарищами; я ненавидел ее всегда, и, бывало, не раз любуясь Невой, я чувствовал, что эта гранитная масса отравляет мне все удовольствие. Я не мог забыть той роли, какую она играла в русской истории, в русской жизни. Эти пять бастионов, растопыренные в разные стороны (автор здесь ошибся, бастионов было не пять, а шесть, но, конечно, ошибка эта не влияет на общее заключение. — П. С.) придавали ей в моем

воображении вид какого-то колоссального паука, который широко-широко раскинул свою сеть и жадно сосет молодую горячую кровь...

Но крепость исчезла уже из глаз, а мы выехали на Выборгскую сторону. Последнее, что я видел, съезжая с моста, это была стая диких уток, доверчиво колыхавшихся на поверхности воды в очень близком расстоянии от берега, и я вспомнил, как был удивлен в первый мой приезд в Петербург в 76 году, видя дичь, притом совсем не боявшуюся людей, среди многолюдного и шумного города; и как тогда во мне заговорили охотничьи инстинкты. С начала перелета и вплоть до заморозков эти утки, которых, понятно, никто здесь не стреляет, держатся на Неве.

На Выборгской стороне я был студентом Медико-хирургической академии. Проезжая по улицам, где я помнил чуть ли не каждый дом, я чувствовал, что волна воспоминаний поднимается все выше и выше, что какая-то судорога подступает мне к горлу, что мне трудно становится дышать, а если бы только не вид моих врагов, следящих за каждым моим движением, за каждым чувством, выражающимся на моем лице — я думаю, что на глаза мои навернулись бы слезы.

Когда мы очутились на Петербургской стороне, где жил я и множество моих друзей, и поехали по Большой Дворянской, то картина за картиной, воспоминание за воспоминанием возникали в голове с поразительными яркостью и быстротою. Вот дом, где в марте 78 года мы обсуждали новую программу, причем я всенародно был уличен в „анархизме“ за горячий протест против введения в программу стачек, как одного из наиболее важных средств борьбы, рекомендуя вместо них фабричный террор. Вот знакомая зеленная, где мы с Анной Васильевной, бывало, покупали репу, которую грызли после обеда, в виде десерта. Вот съестная лавочка, где я ухитрялся „в минуту жизни трудную“ отобедать за 7–8 коп. В этом доме жил мой дорогой друг — тоже уже погибший — Д. М. Шиловцев. Вот дом на углу Большой и Малой Дворянской, где некоторое время проживал и я, а вот показался на миг в глубине Мало-Дворянской, почти против Петровской части, фасад дома, где я был арестован в 78 году.

Троицкий переулочок и воспоминание об одном из горячо любимых, глубокоуважаемых друзей — Евгении Александровиче Дубровине. Где ты теперь, дорогой мой? Там, на карийской каторге, вспоминали ли вы с Сергеем обо мне так часто, как я вспоминал вас в своем каземате?

Вот здесь жили две мои большие приятельницы Анна Михайловна и София Ивановна.

Карета едет быстро, воспоминания и впечатления так и мелькают друг за другом. Потом я просто удивлялся, как можно было в такое короткое время столько вспомнить, столько снова пережить и перечувствовать, словно передо мной вертелся с головокружительною быстротою какой-то цилиндр, и с него сматывалась лента, на которой было начертано все мое прошлое. Мне приходилось читать о той необычайной интенсивности психической работы, которая развивается при некоторых исключительных условиях — в ожидании смерти, например. Теперь я мог убедиться в существовании этого явления на личном опыте.

С каждой секундой стены Петропавловской крепости становились все ближе и ближе, и я с жадностью смотрел в окно кареты, желая запечатлеть в памяти все, что проходило перед моим взором. Теперь, в тяжелую минуту прощания с вольным светом, все мне казалось близким, родным, все обращало на себя внимание.

Я помню все. Я помню живо и собачонку, которая, подняв хвост, перебиралась с одной стороны улицы на другую, и жирного лавочника в белом фартуке, стоявшего, заложив руки в карманы, на пороге своего „магазина колониальных товаров“. Подъезд с медной дощечкой и звонком, белые гардины в окнах второго этажа следующего дома, кухарка с корзиною в руках и несущийся ей навстречу студент в широкополой мягкой шляпе; вывеска мясной лавки и красные мясные туши, городской на посту, извозчик, погоняющий свою клячу, голуби, жадно расклевывающие овес, просыпанный из торбы — все, все это отпечаталось в сознании так ярко, так живо, как будто я носил в голове фотографический аппарат... Вот мы проехали через Кронверкский проспект, и перед нами показались стены крепости, подъемный мост, перекинутый через канал,

и ворота, казавшиеся мне пастью чудовищного зверя. Вот мы уже катимся беззвучно по деревянной настилке этого моста, и я только успеваю бросить прощальный взгляд на Неву, над которой уже начинается сгущаться вечерний туман, как мы уже очутились в крепостных воротах. Я раньше не сидел в крепости, но мне часто приходилось проходить через нее, идя на Васильевский остров (в то время движение через крепость не возбранялось, и через нее можно было ходить и ездить до пробития зари, когда поднимали мосты и запирались ворота), а потому я сразу ориентировался.

Как я и ожидал, мы поехали сначала прямо по направлению к собору, мимо бульварчика и расположенного за ним белого двухэтажного здания, где помещалась какая-то канцелярия, потом, когда мы выехали на площадь, офицер велел остановиться, и, сказав жандармам. Чтобы они ехали туда, пошел налево по направлению к зданию комендантского управления у Невских ворот. Карета взяла также наискось налево, и мы направились к узкому деревянному забору, идущему от крепостной стены или здания, примыкающего к стене Монетного двора. Этот забор и видневшиеся в нем ворота были мне известны: я знал, что через них идет дорога в Трубецкой бастион. Ворота распахнулись перед нами быстро и предупредительно, мы въехали в узкий переулок, проехав по которому несколько десятков шагов, остановились у подъезда, ведущего в тюрьму Трубецкого бастиона. Здесь нам пришлось ждать офицера и ждать довольно долго. Наконец, уже было шесть часов с лишком, кажется, около половины седьмого, на крыльце показался присяжный и махнул рукой. Мы вошли. Мой подпоручик был уже тут и ходил взад и вперед по комнате, нервно поводя плечами и избегая смотреть мне в глаза. Прошло еще минут пять, и в узенькую дверь, что была в левом углу, вошел присяжный, остановившийся у притолки, и краснощекий седой старик в тужурке с капитанскими погонами. Это был капитан Домашнев, заведывавшей жандармами. Обращаясь ко мне, он сказал: „Ну, иди!“

Я просто остолбенел и не тронулся с места. В первый раз я услышал обращение на „ты“, и кровь ударила мне в голову. Трудно передать, что я перечувствовал в течение нескольких

следующих секунд. Я знал, конечно, что со мной не будут обращаться как с принцем крови; я, казалось, был готов ко всем страданиям, лишениям и унижениям; я говорил, что такого рода нравственные надругательства, как бритые головы, кандалы, обращение на „ты“ не могут иметь в моих глазах характера личного оскорбления. Это общеобразовательная, прилагаемая ко всем каторжанам норма, это одно из средств, которыми существующий государственный строй борется со своими врагами. Человек, который меня заковычивает, или говорит мне „ты“, не желает меня оскорбить, а только исполняет то, что от него требуется по службе, и моя вражда должна быть направлена не на это лицо, может быть, даже испытывающие душевную боль при исполнении таких требований, а на государственный строй, на тех, наконец, лиц, которые служат опорой этого строя, а не на мелкую сошку, представляющую из себя лишь слепое орудие начальственных велений, орудие, которое будет служить всякому государственному строю, будет слушаться какого угодно начальства, только бы ему 20-го числа полностью уплачивали следуемое жалованье. Затем, я так презираю этих людей, что стою выше их оскорблений, признать себя оскорбленным — значит, поставить себя на одну доску с ними, признать их равными себе.

И много, много рассуждал я в этом роде, но, увы, не первый раз оказалось, что броня философии не в силах защитить от комариного укуса. Ум может говорить, что ему угодно, но всякая логика бессильна, когда чувство в разладе с умом. Моей первою мыслью было обругать этого капитана, броситься на него и показать, что я не позволю обращаться с собою таким образом. Но что будет дальше? — была вторая мысль. Меня избыют, свяжут, посадят в карцер, т. е. я добыюсь только новых и горших оскорблений».

Таков был первый момент в жизни заключенного. Обращение на «ты» очень часто принимало другую редакцию, а именно¹⁸⁵: «Так как ты лишен всех прав, — отчеканивая каждое слово, говорил смотритель, — то буду говорить на „ты“. Если будешь хорошо вести себя, то здесь получишь все: книги, работу, беседу со священником (!). Вот инструкция, можешь ее прочесть». «Не все, конечно, одинаково относились к таким

заявлениям, надеясь избежать или, по возможности, избегать разговоров с ним. Но некоторые заявляли смотрителю сейчас же, что и они будут отвечать ему в той же форме, что, разумеется, влекло за собой не только неприятности, но и самые мелкие придирки и преследования».

Второй момент в жизни заключенного Поливанов передает в следующем картинном описании¹⁸⁶.

«„Надо раздеться“, — обратился ко мне Домашнев. Меня обступили вошедшие вслед за нами присяжные и жандармы и при помощи дюжины умелых рук через две минуты я остался, в чем мать родила. Один взял мою шляпу и передал ее другому, тот третьему, и в один миг она исчезла из камеры. В то же время, один тащил с меня пальто за левый рукав, другой — за правый, третий стал на одно колено и снимал с меня штiblеты. Я пораился быстротой и отчетливостью, с какой все это делалось: не было ни суетни, ни толкотни, ни излишней поспешности, а дело так и кипело. Видно было, что это дело им очень знакомо, и в нем выработались свои определенные приемы.

Когда я был совершенно раздет, то две пары дюжих рук легли ко мне на плечи, и я опустился на стул, неведомо откуда появившейся. Тут началась последняя и вместе с тем самая тяжелая, самая унижительная часть обыска. Один стал перебирать мои волосы гребенкой и пальцами, другой искал, не запрятано ли что-нибудь между пальцами ног, третий полез мне в ухо, а двое, держа меня за руки, шарили под мышками. Искали, словом, везде, где только можно было предположить какую-либо контрабанду. Я никогда бы не поверил, что служебное рвение может простираться так далеко... при первом прикосновении жандармских лап у меня потемнело в глазах, и я видел только рой каких-то блестящих точек, прыгающих по всем направлениям. Да, встряска была порядочная!»

Момент третий¹⁸⁷. «После обеда, когда я спал крепким сном, меня разбудил присланный: „Вам надо постричься“, — сказал он весьма вежливым тоном. Я изумился. „Что это значит? Ведь я никому не говорил, что хочу стричься. Неужели здесь завели такой порядок, что всех обязательно стригут, как в бурсах старого времени всех секли по субботам“, — подумал я спросонья. Вставши с постели, я увидел, что посреди комнаты

поставили стул. Около него присяжный с салфеткой в руках, а сзади целая орава, человек 5–6. Я опустился на стул, присяжный повязал мне салфетку, а двое встали у меня по бокам, вплотную, установив глаза на мои руки, сложенные на коленях. Присяжный запустил в волосы гребенку, стригнул, и я вздрогнул всем телом, почувствовав прикосновение холодного железа. Сразу было видно, что стригут наголо. Я делал над собою большие усилия, чтобы казаться равнодушным и спокойным, но это было мне трудно. Я боялся, чтобы эти скоты не уловили выражения боли и волнения в моих глазах, а потому закрыл их.

Сколько времени продолжалась эта пытка — не знаю. Конечно, весьма недолго, но каждая минута казалась мне веком, и всякий раз, когда ножницы касались кожи, по телу точно электрический ток пробегал, и сердце болезненно сжималось. Значит, я еще не испил всей чаши унижения, думалось мне. Что-то предстоит за тем? будут брить? закуют? что тогда? Только скорей, скорей!

Конечно. Я знал, решаясь на борьбу с правительством, что за это по головке меня не погладят, нельзя же думать, что государственный и общественный строй, созданный вековой работой истории, окажется лишенным чувства самосохранения, что он уступит натиску своих врагов без борьбы, что он не будет давить и истреблять — но есть вещи, которые вовсе не являются неизбежным результатом борьбы, даже борьбы на жизнь и смерть. Понятно, что врага убивают, казнят, что его лишают возможности вредить, запирают в тюрьму, ссылают. Все это вещи вполне естественные, которых нужно ждать, к которым нужно быть готовым. Смертный приговор, вполне мною заслуженный, не мог меня возмущать, но то, что не имеет никакого другого смысла, кроме издевательства над пленным врагом, подлого, низкого надругательства, — возмущает меня до глубины души, какой смысл уродовать человека, сидящего за семью стенами, под семью запорами, под бдительным надзором? Побег здесь немыслим, а если бы и был возможен, то при таких условиях, в которых бритая голова не будет иметь никакого смысла...

А ножницы все лязгают, и каждый раз с головы скатывается новая прядь моих бурных кудрей. Наконец, ножницы

щелкнули в последний раз, присяжный отошел в сторону, точно желал полюбоваться образцом своего парикмахерского искусства, и сказал: „Ну, готово!“ Я еще не вполне пришел в себя и продолжал сидеть в каком-то оцепенении, пока присяжный не снял с моей шеи салфетку, а кто-то сзади потянул из-под меня стул. Я встал и остановился, как вкопанный. За моей спиной хлопнула дверь, я остался один, но все-таки не сразу мог прийти в себя и двинуться с места. Наконец, я решился провести рукой по голове, и рука встретила едва возвышающуюся над кожей жестокую колючку. Я пошел было, но тотчас же остановился: голову охватил какой-то порыв холодного ветра. Конечно, кожа, привыкшая быть под покровом густых волос, не могла освоиться сразу с непосредственным прикосновением воздуха, и первое время мне было очень неприятно. Брить меня, как я этого ожидал, не стали, да и надобности в этом не было: так чисто оболванили мою „победную головушку“. Как я себя чувствовал тогда, всякий легко может себе представить».

Наконец, заключенный обыскан, острижен, переодет в казенную одежду, все из камеры вышли, двери захлопнулись¹⁸⁸ — «дверь запиралась сначала на ключ, а потом дверь закрывалась поперек всей ширины ее железным засовом в ладонь ширины, который, таким образом, закрывал замочную скважину; один конец этого засова был укреплен на шарнире в углублении, сделанном в углу стены, а другой надевался на пробой, вделанный в противоположный косяк, затем в этот пробой вдевалась дужка массивного замка, такого, каким запирают амбары и сараи; отпирание и запираание двери производилось с таким громом, что мертвых бы разбудило» — и если заключенный полагал, что он, наконец, так остался один, что он может свободно вздохнуть, то он глубоко ошибался. «В камерах следили¹⁸⁹ через стеклышко в двери, которое закрывалось снаружи железною занавескою. Вдоль камер лежал половик, и дежурные ходили в мягких башмаках летом и валенках зимою. К этому стеклышку — волчку — они подкрадывались каждые 5–10 минут. Маневры дежурных, чтобы приблизиться неслышно и поднять занавеску неожиданно, были нелепы, потому, что они подглядывали через правильные

промежутки и ясно, что их предосторожности были напрасны. Шорох, когда жандарм крадется вдоль стены, вытирая ее спиною, мешал занятиям, заставляя следить за этими проделками, поджидая их. Эти проделки возмущали, как бессмысленное дело, за которым приходится невольно следить, бессмысленное потому, что бессмысленные попытки поймать заключенного на месте воображаемого преступления ни к чему не приводили. Делая каждого из нас (писал Ашенбреннер) объектом многочисленных ежедневных наблюдений, они отлично вперед знали, кто и в какую минуту чем занят, потому что и у нас за долгие годы сложились свои привычки и свой неизменный домашний обиход. А между тем, при всем сознании бесполезности, нелепости и неуместности наблюдений дежурного, заключенный вместо того, чтобы спокойно продолжать свои занятия, застывает в напряженном состоянии, иногда пытаясь переменить положение тела под этими подозрительными взглядами. И когда приходится таким образом проходить многие годы сквозь строй „недреманного ока“, которое тебя точит, как червь умирающий, спрашиваешь себя, к чему понадобилась такая утонченная пытка над людьми занятыми или больными?.. Да и накрыть нас на месте преступления было трудно; мы всегда были настороже, когда это было нужно, и умели делать свои выводы из бесчисленных наблюдений, а наш слух до того обострила тюрьма, что мы, по повадке дежурного, по множеству мелких признаков, отлично знали, кто дежурит и что делается за дверью в коридоре. Вообще мы действовали и говорили прямо и открыто, прибегая к конспирации в редких случаях, и это всего лучше сбивало их с толку. И не только говорили открыто, но умышленно подымали, например, для того, чтобы отвлечь любопытных, такие разговоры, которые слушать жандармам было неудобно, и это помогло. Весьма понятно, что это проклятое стеклышко возмущало многих, и унтеров гнали от двери грубою бранью. Это помогало на время, а потом опять начиналась та же история снова, словно мы имели дело с неумолимой стихией, против которой бесполезны заклинания».

Но одного «волчка» мало. Или на стене камеры, или на столике заключенный видел «Правила лиц, находящихся на

каторжном положении в Трубецком бастионе в Петропавловской крепости». Точно такие же правила были в Алексеевском равелине. Впечатление от этих правил на заключенного более чем ужасное¹⁹⁰. «Вам приносят правила, и вы берете их с ледяным равнодушием: странно писать правила для человека, заключенного в гробе, но вскоре они поглощают ваше внимание. Друзья, „правила“ это откровение. Они без подписи. Напрасно вы поворачиваете лист на все стороны, ища подписи, ее не найти, потому что ее нет, лишь писец какой-то засвидетельствовал верность копии с подлинником. Число и год составления тоже не обозначены, и, таким образом, нет возможности определить, каким ветром они навеяны. Содержание: Лица, находящиеся на каторжном положении в Трубецком бастионе Петропавловской крепости (в скобках означено: холостые мужчины), остаются четверть срока каторги, определенного им судом; лица, осужденные на бессрочные каторжные работы, остаются здесь неопределенное время. И срок нахождения для них зависит от особого распоряжения. Вышепомянутые лица содержатся в Трубецком бастионе на общем каторжном положении. Собственные вещи у них отбираются и взамен они получают 3 рубахи, 3 пары подштанников из арестантского холста, 3 пары онуч, 2 пары котов, подбитых железными гвоздями, 1 пару штанов из арестантского сукна, подшитых холстом, 1 куртку, также подшитую холстом, халат с тремя тузами, шапку из равендукского сукна; на зиму полагается сверх того: пара суконных онуч, тулуп, доходящий до колен, шапка с ушами, завязывающимися под бородой, и лоскутом, прикрывающим затылок. Пища отпускается обыкновенная „арестантская“. Но какая и в каком количестве, не перечислено. Покупка съестных припасов и лакомств на собственные деньги строго воспрещается. Также строго воспрещается курение табаку. Лица, находящиеся на каторжном положении, лишаются права пользоваться книгами из библиотеки, состоящей при бастионе. Постель состоит из войлока и подушки, набитой соломой. В примечании кто-то добавил: „Впредь до особого распоряжения, постели остаются те же, какими пользовались заключенные раньше“, но это неправда, так как волосяной матрас и вторая подушка отбираются.

Заклученные вполне подчиняются администрации крепости. В случае совершения преступления они подвергаются суду, который присуждает их к наказаниям, определенным законом для ссыльно-каторжных. Соответствующие статьи закона любезно выписаны. По ним за менее важные преступления суд приговаривает к шпицрутенам до 8 тысяч ударов, к плетям до 100 ударов, розгам до 400 ударов, за проступки заключенные подвергаются административным взысканиям и администрация крепости может присудить к содержанию в карцере от 1 до 6 дней на хлебе и воде, к плетям, но не более 20 ударов, к розгам, но не более 100 ударов. Вопрос относительно занятий заключенных еще не решен. Лица, находящиеся на каторжном положении, пользуются прогулками наравне с другими.

Надо выяснить, кто автор этих правил, чья воля в течение годов будет вас держать над медленным огнем, не давая ни жить, ни умирать. Вы звоните, и к вам с шумом врывается слугитель в сопровождении жандарма. „Вы понапрасну не звоните, — кричит слугитель, — мы сами знаем, когда прийти. Прочитали правила?“ „«Я прочитал правила, но в них многое неясно, я желаю поговорить со смотрителем. Позовите его ко мне.“ „Придет, когда будет время; сегодня или завтра, а может быть через три дня или через три недели...“ Благорасположенные посетители удивляются. А зашедший затем смотритель скажет вам, что правила введены 6 лет назад и одобрены в новейшее время Департаментом государственной полиции и что ни он, ни комендант не имеют права что-либо изменить...

Но когда улягутся первые впечатления, когда успокоятся несколько взбудораженные нервы, начинаешь прислушиваться (говорит Панкратов¹⁹¹). Раздаются мерные монотонные шаги — чувство величайшей радости зальет всего: это, наверное, товарищи ходят... Я не один здесь... Мрачные думы проясняются, склеп становится как бы приветливее и теплей, и так сильно желание иметь поблизости, хоть через толстую глухую стену, близкого человека. За этим чувством идет другое — скорее спросить, кто тут, перекинуться хоть несколькими словами, узнать, нет ли каких связей с живым миром.

Тишина мертвая кругом, только по временам раздается тяжелый кашель то там, то тут. Воображение забегает вперед

и рисует бледное измученное лицо товарища. Попробуем стучать. Отворяется форточка, в ней показывается недовольная физиономия Ирода, на которой с первого взгляда читаешь: „Ага, попался“. „Стучать нельзя здесь, в карцер посажу!“ — и фортка вновь захлопывается. С какой невероятной быстротой и ловкостью проделывал он все это!»

«Стучали очень тихо, — повествует Волкенштейн¹⁹², — и старались выбирать для этого самые подходящие моменты, например, время раздачи пищи, когда стража была занята своим делом. Но, разумеется, несмотря на все наши предостережения, нас ловили на месте преступления, и в таких случаях происходили самые возмутительные сцены: начинали говорить „ты“, приставляли жандарма к дверному глазку, который колотил в дверь, как только слышал стук; начинались внушения: это, мол, детская забава, стыдно, лишали книг, книги, правда, были все больше духовного содержания или какой-нибудь хлам, но все же они были драгоценны для тех, кто не хотел без борьбы сойти с ума, наконец, надевали даже сумасшедшую рубаху.

Буду рассказывать по порядку.

Мы тоже старались сначала действовать убеждением; говорили, что здесь все осужденные, а потому нет никакого смысла запрещать стук, доказывали, что та система, когда физически можно говорить, но приходится молчать по принуждению, равносильна пытке, и потому пусть не удивляются, что не встречают с нашей стороны послушания. Однако, эти наивные увещевания допускались нами лишь на первое время; привезенным же ранее никаких разговоров уже не полагалось. В случае стука обыкновенно врывалось в камеру несколько человек; „ты“ так и сыпалось, раздавались ругательства. Если заключенный отвечал в том же роде, по знаку смотрителя на него набрасывались, вадили на пол, били под предлогом сопротивления и, надев сумасшедшую рубаху, привязывали к железной койке на несколько часов, часто вкладывая в рот деревяшку, чтобы не кричал. Соседи, услышав свалку, начинали протестовать, кричали: „Что вы с ним делаете?“ Тогда накидывались на этих, вязали их. Суматоха становилась невыразимой, слышались крики, топот, свалка и хрип лежавших

с деревяшками во рту. Во всех концах тюрьмы было хорошо слышно, что делалось в какой-нибудь отдельной камере.»

Технику «стука» хорошо рассказывает шлиссельбуржец М. Ашенбреннер¹⁹³: «Сначала мы стучали очень неискусно и плохо понимали друг друга, так что разговор стуком нас не удовлетворял, а скорее раздражал за невозможностью высказаться. Потом, мало-помалу мы стали стучать очень быстро и отчетливо и понимали друг друга настолько хорошо, что не приходилось достукивать слово до конца; часто употребительные слова заменялись одною буквою или условным знаком. Сначала перестукивались только с соседями и стучали без всякой надобности слишком громко, но, познакомившись с тюремною акустикой, стали стучать очень тихо, для того, чтобы не беспокоить других товарищей и не вводить в беседу нежелательного свидетеля, дежурного жандарма. Громкий же стук был слышен через две камеры и наверху, и внизу, и потому у нас бывали общие осады по разным углам. Начальство преследовало за стук, наказывало, перебивало стук всячески, между прочим, пуская в незанятой камере струю воды из крана, журчание воды заглушало стук, да и страшно раздражало нервы. Но потребность в общении с другими была так велика, что начальству пришлось уступить.»

Общая — если так можно выразиться — психология заключенных формулировалась следующим образом¹⁹⁴: «Вот главные моменты тюремной жизни. Жизнь наша была полна контрастов. При том живых, внешних впечатлений не существовало, и материала для нормальной душевной жизни извне не поступало. Проходили годы, не принося с собой ничего нового со стороны, потому что мы жили в общей могиле, отделенные от мира живых непроходимую пропастью. Ни книг, ни свиданий, ни вести о родных, о том, что делается на свете. Библия, сочинения Дмитрия Ростовского, 2–3 церковных журнала за старые годы и десятка три старинных книг на лубочной бумаге, написанных допушкинским языком — вот и вся наша библиотека. Сношения через стены стуком не удовлетворяли, а только раздражали, потому что невозможно было не только обмениваться возражениями, но и высказаться. По-видимому, наша жизнь была бесцветна, пуста, бессодержательна;

но недостаток внешних впечатлений с избытком пополнялся испытаниями и переживаниями того материала, который давала тюрьма. Мы жили интенсивно, находясь в состоянии кипения, прерываемого только изнеможением. В это и состоял трагизм нашего положения. В минуту же отдыха оставалось жить воспоминаниями, чисто созерцательною жизнью, одурманиваться мечтаниями; или, спасая свою душу от безумия, взять на себя большую работу и погрузиться в нее; создать себе особый идеальный, теоретически построенный мир — выделить из себя защитительную оболочку и переживать умозрения, гипотезы, как единственное содержание жизни. Но уйти в этот мир было невозможно. Каждый день страшная действительность разрушала эту иллюзию. Постоянные столкновения, неприятные объяснения, неизбежное участие всех в схватке, где бы она ни возникла, так как нас связывало товарищество, общий враг и общая доля, вечное тревожное состояние, невыносимые стеснения и невозможность помириться с порядками — вот какой материал для жизни давала тюрьма.»

Это, так сказать, лейт-мотив. А вот детали¹⁹⁵: «Как часто я удивлялся в тюрьме живости и точности воспоминаний. В таких условиях, когда будущего у человека нет, или, по крайней мере, оно таково, что лучше уже о нем и не думать, настоящее же, с одной стороны — мало дает пищи уму и сердцу, так бедно впечатлениями, а с другой — впечатления эти такого сорта, что иной раз приходит в голову желание навсегда избавиться от подобных, даже пожалуй, каких бы то ни было впечатлений — прошлое зато захватывает все сильнее и сильнее; вспоминается все то, что на воле — среди быстро сменяющихся впечатлений, массы забот и хлопот, наполняющих жизнь революционера, — совсем как будто забывается; но это только кажется. Прошлое не умирает, а лишь скрывается глубоко-глубоко в самых сокровенных тайниках души, и, когда человек обращается к нему, словно повинуюсь какой-то властной силе, встает оно яркое, реальное, полное жизни, и снова струны души звучат то грустно, то радостно, и снова переживаешь то, что, казалось, уже умерло, забыто, и никогда не вернется более.»

Отсюда понятно и следующее¹⁹⁶: «Вечером я свободен от всяких волнений и ожиданий, знаю, что до утра ко мне никто

не зайдет — и тогда я не чувствовал себя одиноким, нет, отовсюду — из Якутской тайги, Женева, из студенческой квартиры на Петербургской стороне и карийской тюрьмы, наконец, из этих окружающих меня грибов Петропавловской крепости — отовсюду я слышу слово горячей любви, привет, участия. Милые, дорогие лица обступают меня толпой, и я чувствую, как сильна соединяющая нас связь, которой не в силах порвать все тюремные запоры в мире. Я забывал, где я, что со мной. Действительность покрывалась дымкой, а создания мечты становились так живы, так реальны, что порой, выходя из состояния экстаза, я боялся даже — не начало ли это психического расстройства?»

Так можно было поступать ночью — а днем лучшим спасением было, если¹⁹⁷ «как-то бессознательно складывалась привычка переводить душевное волнение в механическую работу мускулов, то я думаю, что этому я более всего обязан, что не сошел совершенно с ума, хотя в Алексеевском равелине и был близок к этому несчастью. Говорю „совершенно“, потому что „немножко“-то — был... Эта ходьба, иногда часов по 10 в день, давала мне здоровое физическое упражнение, утомляла меня, способствовала хорошему сну. Если я думал более или менее спокойно и о чем-нибудь, если и не радостном, то, по крайней мере, не вызывающем раздражения, то я ходил ровным, мерным шагом; по мере же моего возбуждения, изменялся и темп походки, находившейся в таком соответствии с ходом мыслей и настроения, что впоследствии мои соседи определяли его по моей походке. В те минуты, когда меня охватывали злоба, бешенство и тому подобные мало похвальные чувства, я метался как дикий зверь, и через час, полтора доходил до такого состояния, что, задыхаясь, еле держась на ногах, с кружащейся головой, я бросался совершенно очумелый на кровать и долго лежал, тяжело дыша, с закрытыми глазами, обесиленный до того, что иногда не сразу мог протянуть руку к стоявшей на столе кружке с водой, хоть и томила жажда».

Но были, и даже очень часто, другие настроения¹⁹⁸. «Если б мне пришлось тогда умирать, то легко бы мне было. Всякое волнение, отчаяние, надежда, все те разнохарактерные сильные чувства, которые до сих пор были во мне, замерли, уступив

место спокойному примирению с судьбой, полному равнодушию к жизни и смерти; я был тогда в каком-то полудремотном состоянии, мысль работала вяло, сознание окружающего притупилось, воспоминания о прошлом, которые теперь словно подернулись дымкой какой-то, не возбуждали больше ни острой боли, ни сожаления, ни отчаяния, и в эти минуты я припоминал слова Будды: „Лучше стоять, чем ходить, лучше сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем сидеть, а лучше всего — Вечный покой“. Этот вечный покой стал теперь для меня не отвлеченным метафизическим понятием, а вещью реальной, осязательной, которую теперь только понял мой ум и почувствовало мое сердце. Нирвана стала меня тянуть к себе, стала казаться высоким блаженством и, лежа в полусознательном состоянии, слушая. Словно сквозь сон, какую-то *berceuse*, которую кто-то мне напевал на ухо, я думал, что хорошо было бы заснуть под звуки этого голоса и больше уже никогда не просыпаться».

Но к этому психическому состоянию необходимо прибавить описание и физического. А эти описания, пожалуй, еще более ужасны.

«Впрочем, я не знал еще, что и сам был уже во власти этой страшной болезни. О цинге я имел смутное представление: десны кровоточат, зубы выпадают, вот и все. Ничего этого у меня пока не было, я был спокоен, приписывая боль в ногах малокровию, утомлению. Ушел Соколов, лег я на кровать отдохнуть после прогулки. При этом вздумал от скуки подбросить кверху. Подбросил раз и чуть не закричал! Одна нога, поднявшись вверх, вдруг опустилась как плеть, со страшной острой болью. Глянул под колено, а там уже почернело. Плохо дело! Пришел доктор, осмотрел ноги и сделал жест отчаяния. „Неужели нет надежды?“ — спрашиваю его. „Ходи, больше ходи! Авось“, — вырывались у него отдельные возгласы. „Лекарство пришло! Пей! Авось!“ — еще раз добавил он, уходя в каком-то раздумье. Принесли железо в сахарном сиропе, уксусу, кружку молока. Принялся я ходить. Но болезнь с каждым днем все более и более усиливалась. Вместо небольшой опухоли у лодыжек, опухоль поднялась теперь до колен. Ноги превратились в два точеных, крепких, упругих обрубка: цвет

их менялся от красного к серому, синевато-черноватому. Боль в икрах была ужасная, точно кто-то их сжимал очень туго железным обручем. При этом надо было ходить, и я ходил... Но чего это стоило! Походишь с четверть часа и, как сноп, валишься на кровать и сейчас же не то бред, не то обморок. Сознание в сущности не терялось, однако, стоило закрыть глаза, как начинало почему-то казаться, что болят не мои ноги, а страдает сын злой самодурки-старухи из „Грозы“ Островского. При этом сама она стоит тут же у моей головы, как бы окружает ее. Мои же ноги — не ноги, а это мещанкин сын, и я наблюдаю лишь со стороны, как злая старуха терзает его. Мне за него больно, а не за себя. Но вот на соборной колокольне начинается перезвон колоколов, и я быстро открываю глаза, живо вспоминаю, что больше $\frac{1}{4}$ часа мне нельзя лежать: надо ходить! Я встаю, но начать ходить сразу не могу. Раз, другой обойду вокруг кровати, держась за нее, как ребенок, и только тогда решаюсь пуститься в путь. Через $\frac{1}{4}$ часа та же история: если не лежишь и не бродишь, то, сидя на кровати, мочишь уксусом опухоль (уксусу, впрочем, давали мало), разминаешь икры, делаешь движение ступней, затем через $\frac{1}{4}$ часа встаешь, кружишься вокруг кровати и снова ходишь.

Так проходил день. К вечеру, окончательно выбившись из сил, я валился на кровать, и тут уж никакое сознание, никакая боязнь не могли бы заставить продолжать ходьбу. Спать! Спать! Но новая беда: от переутомления и боли не было сна. Забудешься на минутку и проснешься... Прописал доктор морфий. Сначала лекарство помогло. Но скоро и оно перестало действовать».

Не менее тяжелое впечатление оставляет рассказ и Поливанова²⁰⁰. «Я присел на скамейку, так как ходить было уже больно, и задумался. Мне так стало тяжело, что я не выдержал и, не дождавшись окончания полагавшегося для прогулки 15-минутного срока, я ушел с гулянья. Соколов вошел за мной в камеру и, к моему удивлению, спросил: „Почему не гуляется?“

Я подумал, что в это время вся тюрьма была уже в цинге, и я, вероятно, не последним поддался ей.

— Ноги болят, — ответил я неохотно.

— А ну, покажи-ка! Может быть, доктора надо?

Я показал распухшую ступню.

— Ну, пока еще ничего особенного не замечается, — сказал Ирод. Но на другой день привел доктора.

— Ну, что у тебя болит? — спросил Вильямс. Когда я молча показал ему ногу, он воскликнул:

— Ну, как же это ты так запустил! Давно бы надо сказать. — И обернувшись к Соколову, сказал с беззвучным старческим смехом:

— Цинга, цинга, настоящая цинга!

Ирод улыбнулся:

— Ну, а десны как? — снова обратился ко мне доктор. — Открой рот. Ну так, так, кровоточат... а еще что чувствуешь?

Я сказал о лихорадке.

— Пришлем лекарство, — закончил он, уходя.

Начиная со следующего дня мне стали давать лошадиные порции полутора-хлористого железа три раза в день, дали полоскание из дубовой корки и хинину. Хину приходилось принимать самым курьезным способом. Соколов, очевидно, считал немыслимым давать порошок в пакетике, считая бумагу чем-то законопреступным, поэтому же в первый же раз он велел унтеру, принесшему порошок, высыпать хину на переплет библии, и сказал, указывая ключом: „Нужно слизнуть!“

Раза два я попробовал слизывать, но не вытерпел и сказал доктору, чтобы хину завертывали в папиросную бумагу. Соколов согласился на это с тем, чтобы я глотал в его присутствии, и каждый день приносил мне кусочек папиросной бумаги, на которую унтер высыпал хину. Я завертывал и глотал под непосредственным наблюдением „недреманного ока“, как я иногда мысленно называл Соколова.

Первое время, несмотря на лекарство, болезнь моя все прогрессировала. Пароксизмы лихорадки мучили меня ежедневно утром с 9 часов до 11 ½–12 часов. Я лежал тогда пластом, не будучи в состоянии двинуть рукой и по временам в бреду. Может быть, впрочем, это и не был, собственно говоря, бред, а те галлюцинации слуха, которые долго потом меня преследовали. Я слышал то голоса, то музыку, то оперное пение и относился к этому, как к чему-то вполне естественному, чего и следовало ожидать. По временам я как будто приходил в

сознание, чувствовал жажду и жадно пил воду, стоявшую у моего изголовья; потом я опять впадал в полузабытие и, правду сказать, больших страданий не испытывал. Боль в ногах, когда я лежал тихо, была незначительная, вроде легкого ревматизма, но при ходьбе нужно было ступать очень медленно и осторожно, и иной раз, особенно утром, просонья, забудешься, да и ступишь на пол неосторожно, так потом и опрокинешься на кровать, засовывая в рот угол подушки или край одеяла, чтоб не кричать. Тогда ощущение бывало такое, как будто наступал на гвозди, часто наставленные торчком. О воздухе я скучал тогда очень и все-таки, кое-как, медленно, придерживаясь за стену, выходил в те дни, когда приходился мой черед. Понятно, ходить по садику я не мог, а, добравшись до скамейки, просиживал там все свое время и уходил, так же ковыляя и прикусывая губы от боли. Хорошо, что гулять меня брали одним из первых, да и вообще прогулка кончалась тогда рано, потому что большинство товарищей не вставало с постели. Утреннее кровохарканье, вызываемое застоями крови в сосудах, ничего опасного и неприятного не представляло, но то, что творилось у меня во рту, было убийственно неприятно. Десны страшно распухли, покрылись язвами, из которых сочилась буроватая кровь, зубы вышли из лунок и до того расшатались, что я не мог жевать даже мякиша черного хлеба. Они при самом легком давлении расходились в разные стороны, и поднималась страшная боль. После все они, за исключением одного, вновь окрепли, так что я отделался сравнительно очень легко, потеряв только один зуб, впоследствии вывалившийся. Небо тоже покрылось кровоточащими ранами, и с десен и с неба постоянно отделялись клочки омертвевшей ткани, так что за время цинги у меня и небо и десны совершенно обновились!

Через некоторое время в мае доктор назначил мне полбутылки молока в день. Помню, как торжественно в первое же утро изрек Соколов, указывая на жандарма, переливающего молоко в мою кружку: „Дается молоко!“. При настоящем состоянии моего здоровья вообще и зубов, в частности, эта кружка молока послужила мне не только легкой и питательной, но и совершенно достаточной пищей: раньше мое питание состояло

из полдюжины ложек супа и шей, откуда я старательно выбирал капусту и все твердое, что было не по зубам, и маленького кусочка хлебного мякиша, который я тщательно размачивал и разминал в ложке моего бульона. Особенно плохо было по постным дням, когда пища была неудобосъедаемая и для здорового человека, ибо мне, как и остальным цинготным, продолжали давать по средам и пятницам постную пищу. Мне казалось потом, что эта кружка молока помогла больше всех лекарств, и уже в июне я стал себя чувствовать лучше, но десны все еще были сильно разрыхлены и кровоточили, хоть и не так сильно, как прежде. Лихорадка меня оставила, наконец, ноги, правда, побаливали, но дело шло на поправку. Как только это обнаружилось, у меня отобрали молоко. Это было сделано в конце июня или в начале июля, и меня крайне возмутило тогда, но я не сказал ни слова ни смотрителю, ни доктору, и мое выздоровление, как я скоро убедился, пошло гораздо медленнее».

Фроленко и Поливанов перенесли цингу, но ряд народных вольцев умерли от этой страшной болезни.

«С другого коридора из ближайшей камеры, — вспоминает Фроленко²⁰¹, — стали доноситься подозрительные фразы доктора и Соколова: „Еще жив!.. Протянет!“ Начали следить, чутко прислушиваться по ночам. Жандармы заходят в соседние камеры и как-то подозрительно скоро уходят. Ночной шорох еще более пугает и заставляет внимательнее следить за уловками Соколова.

— Пусто! Нет больше и Баранникова! — объявляет мой сосед, сидевший ближе к другому коридору.

— Да, — отвечаю, — и мне показалось, что к нему не заходили сегодня!

С тем коридором, где сидел Баранников, Тетерко и проч., у нас не было сношений: мешала большая ванная комната.

Догадкам по лекарству на окне, по маневрам жандармов много помогла и та острая напряженность внимания и слуха, которая развивается в тюрьме.

Вначале, когда еще товарищи все стояли живо перед глазами в том виде, как я их видел на суде, и в голову не приходила мысль о чьей-либо скорой смерти. Живыми, бодрыми, здоровыми рисовались они в памяти. Но вот умирает Клеточников.

Для меня это было неожиданностью... Смерть эта вспугнула беспечность, повернула мысль в другую крайность. Явилась особенная, обостренная боязнь за жизнь каждого, особенно за тех, про которых ничего нельзя было узнать. Лично о себе как-то не думалось, мне почему-то всегда казалось, что я выживу еще год, как я определил раз в разговоре с соседом. Зато в каждом шорохе, в каждом необычном звуке чудилась мне смерть других, насилие, ужасы. Являлось неодолимое, мучительное желание проникнуть туда, дать умирающему хоть минуту провести с близким человеком. Сама смерть не казалась такой тяжелой, ужасной. Но так давила эта тишина, эта полная отчужденность от мира, от живых людей. Завели человека в пустыню, в непроходимый лес и бросили... Напрасно всматривается он вдаль, кругом нет ни души! Жуть и страх невольно охватывает душу...»

Еще драматичнее рассказы Поливанова о смерти его соседа Колодкевича²⁰².

«21 июля я поздравил Колодкевича с днем рождения и пожелал ему много, много хорошего, между прочим, чтоб на следующий год мы могли праздновать этот день на воле. „О, если бы вы были пророком!“ — ответил он и, сердечно поблагодарив меня, сказал, что ему очень бы хотелось, выйдя на волю, прокатиться со мной по всей Волге вплоть до Астрахани, потому что он никогда не видал Волги. Очень мило и задушевно поболтали мы с ним, но на следующий день я заметил по стуку его костылей, что он ходит и мало, и плохо, а вечером он меня огорчил тем, что по его выражению, снова у него ноги начали „дурить“; на следующий день он уже не мог вставать с постели, и в течение дня доктор приходил к нему два раза. Утром на третий день Колодкевич умер тихо, без всяких стонов — словно заснул и не проснулся.

Все эти дни я с напряженным вниманием прислушивался ко всему, что делалось в камере, и каждое утро я обязательно прикладывал ухо к стене, улавливая каждый стук, каждый шорох. В это утро к нему вошли — и наступила тишина. Из камеры ничего не выносили, на стол ничего не ставили. Послышались только шаги одного человека — Соколова — подошедшего к кровати и молча отошедшего. Я просто

затрясся от волнения, которое еще более усилилось, когда вошли ко мне, и я увидел в лице Соколова какое-то смущение, какой-то проблеск человеческого чувства: он смотрел растерянno и избегал встречаться со мной глазами. Я стал наблюдать за коридором, постоянно также подходил к стене, минут через 20 я услышал знакомую походку доктора, который вместе с Соколовым вошел в № 16. Пробыли там они недолго и молча ушли.

Словом, повторилось то, что было при смерти Баранникова: точно так же привели солдат, которые унесли тело, затем камеру убрали, вынесли из нее все, судя по стукам, кроме мебели. За обедом туда унтера не заходили.

Странно, что, несмотря на всю несомненность ужасного факта, я питал какую-то безумную надежду, что я ошибся, что все это мне послышалось. Я несколько раз в течение дня подходил к стене и выстукивал все громче и громче: „Николай, Николай!“ Не получая ответа, я начинал его умолять, чтобы он, если не может подойти к стене, сделал бы какой-нибудь знак: ударил бы кружкой по столу, стукнул бы в пол костылем, и, прождавши некоторое время ответа, я бросался на кровать и, чтоб жандармы не услышали моих рыданий, утыкался головой в подушку и плакал, как ребенок».

Но, кроме смерти, узников преследовали и другие ужасы²⁰³. «Среди гробовой тишины вдруг раздался отчаянный крик погибающего человека. За криком последовала короткая возня — борьба, и слышно было, как что-то тяжелое пронесли по коридору. Что такое? Бьют кого? Или сошел кто с ума? От сознания своего бессилия слезы заполнили глаза... Являлось желание ломать руки, кричать, неистововать, разбить себе голову... Но какая польза? — спрашивал разум. Соколов, видно, понял наше состояние и не скрыл. „Сошел один с ума, увезли в больницу“, — ответил он, и, действительно, это был карийский Игнатий Иванов. Его возили в Казань...»

И понятно²⁰⁴, что «я оторвал от простыни две полосы и сделал петлю, концы которой привязал к столбику изголовья кровати на высоте аршина от пола; затем надел петлю и опустился, вытянувшись во весь рост и стараясь упираться в пол только носками башмаков, чтоб как можно большее количество

тяжести ложилось на петлю, и ее затягивал, но дело шло у меня плохо — петля затягивалась медленно, притом, когда в голове начинало мутиться, я терял контроль над своими мышцами, ноги сгибались и я упирался в пол уже коленками; кроме того, и руки бессознательно упирались в пол. Я встал, поправил петлю, много раз подряд ее затягивал, чтоб она хорошенько обмялась, а надев ее снова, я заложил руки за спину и засунул кисти в брюки, чтоб гарантировать себя от произвольных движений: кроме того, я затянул предварительно петлю, насколько можно было руками, так что глаза налились кровью, и я стал хрипеть. У меня зазвенело в ушах, и глаза выпячивались с мучительной болью, стало заволакивать туманом. Пробудь я в таком положении минут 20–30 еще, я мог бы задушиться, но судьба решила иначе. Время я выбрал, казалось мне, самое удобное, после 9 часов вечера, когда Ирод обходил тюрьму и заглядывал в глазок. Я выждал этот обход, убедился, что он ушел в свое логовище, и через полчаса, должно быть, приступил к исполнению своего намерения, но в этот день Соколову вздумалось в 10 часов пройти неожиданно, и, взглянув в глазок, он убедился, что не все обстоит благополучно в № 15. Я не слышал уже ни шагов, ни звона шпор, ни щелканья заслонки глазка, что всегда делалось, если арестант не оказывался в поле зрения подошедшего наблюдателя.

Соколов отпер дверь, и грохот засова я услышал. Мысль быть застигнутым на месте преступления как молния пробежала по мне. Это казалось мне столь ужасным и унижительным, что я уже совсем одурелый от прилива крови в голове, уподобился страусу, прячущему свою голову, и напряг всю свою волю, всю свою силу, чтоб подняться, не сообразив в ту минуту, что дело мое, во всяком случае, глупо... Что со мною было потом, и рассказать не берусь...»

И, несмотря на все это, вот какие воспоминания о месте прогулки — о тюремном садике — сохранились у арестанта Алексеевского равелина²⁰⁵.

«Летом наш садик имел очень миленький вид: все в нем цвело и зеленело, клумбы покрывались лилиями, листья березок так приятно ласкали взгляд, но и они, бедняжки, испытали на себе влияние неволи. Растя как бы на дне колодца — поверхность

сада была ниже пола зданий — окруженные стенами, они жадно тянулись к теплу и свету, а потому были гораздо тоньше, чем должно было быть, но все же росли они хорошо и сравнивались уже верхушками с коньком тюремного здания. Про липу и говорить нечего, она уже давно переросла крышу, и вершина ее всегда была залита солнечным светом. Яблони роскошно цвели весной и приносили к осени много яблок, которые, однако, почти все обрывали жандармы, даже не давали им вызреть как следует. В саду росли еще: старая ветвистая бузина — излюбленное место воробьиных собраний, точно клуб какой-то, где всегда раздавалось задорное чириканье, так приятно нарушавшее тюремную тишину. Кусты по краям дорожек краснели от ягод, одна только елочка, посаженная, видимо, недавно кем-нибудь из наших ближайших предшественников — Ширяевым или Нечаевым — хирела, словно тоскуя о родном просторе моховых болот.

Порой так приятно было сидеть на скамеечке под липой, в тени которой сидело несколько поколений русских радикалов, любоваться зеленью, цветами, следить за тем, как в лазурном небе пробегают белые облачка и парят с резким криком чайки — наши волжские „мартышки“ — сверкая на солнце белым брюшком, так напоминавшие мне много, много счастливых минут, пережитых мной еще в недалеком прошлом, но которое казалось теперь таким далеким. Тюремная стена так круто и резко отрезала меня от него, что теперешняя моя жизнь казалась не продолжением этого прошлого, а каким-то новым, вторым существованием, несколько не похожим на бывшее. Я жадно прислушивался ко всем долетавшим до меня звукам: и пароходные свистки, и доносившаяся по временам музыка из Летнего сада, и рев слона в Зоологическом саду, что был на Петербургской стороне — все, все звуки, особенно отчетливые по вечерам, напоминали мне о жизни, которая „играет у гробового входа“, жизни, ставшей теперь такой чуждой, далекой, далекой!»

Читая эти последние строки, вспоминая, что так думал, так чувствовал русский революционер в садике Алексеевского равелина, проникаешься каким-то совершенно иным чувством к Петропавловской твердыне. Озлобление и ненависть

проходят, и эта крепость, никогда не исполнявшая стратегических обязанностей крепости, становится какой-то близкой, родной сердцу.

Там страдали, томились те, трудами которых возникла наша свобода, там перебывали с декабристов вплоть до последних дней те, которые жили лишь свободой и верили лишь в свободу.

И невольно забываются все другие стороны Петропавловской крепости и ясно помнится лишь то, что она принадлежит к тем дорогим, незабываемым местам Петербурга, которых так много в этом городе и которые можно назвать «колыбелью свободы»²⁰⁶.

Примечания

- ¹ П. Бобровский. Петр Великий в устье Невы. С. 21–22.
- ² «Иллюстрированная газета». 1866. № 19. С. 293.
- ³ «С.-Петербургские ведомости». 1703 г. С. 202. Издание 1855.
- ⁴ Дневник Берхгольца. Т. 1. С. 97.
- ⁵ Материалы для Истории русского флота (впоследствии они будут обозначаться сокращенно: М. И. Р. Ф.). Т. III. С. 11.
- ⁶ Петров. История С.-Петербурга. С. 57.
- ⁷ Опись сенатских указов Баранова (в дальнейшем О. Б.). № 379 и Полное собрание законов (в дальнейшем П. С. З.). № 2969.
- ⁸ О. Б. № 2552.
- ⁹ «Русская старина». 1904. VII. С. 113. Старые годы. 1911. IV. С. 24.
- ¹⁰ Петров. История С.-Петербурга. С. 43.
- ¹¹ Журнал Петра Великого. С. 4.
- ¹² Петров. История С.-Петербурга. С. 71.
- ¹³ «Иллюстрированная газета». 1866. № 21. С. 331.
- ¹² П. С. З. « 5237.
- ¹⁵ О. Б. № 3038.
- ¹⁶ Архив бывшего Инженерного замка. 1728. Д. № 2. О именовании бастионов крепости.
- ¹⁷ «Старые годы». 1911. IV. С. 24.
- ¹⁸ «Русская старина». 1904. VII. С. 113.
- ¹⁹ Иллюстрированная газета. 1866. № 21. С. 331.
- ²⁰ «С.-Петербургские ведомости». 1751. С. 54.
- ²¹ Там же. 1752. С. 167.
- ²² Там же. 1753. С. 186.

- 23 Бывший Архив Главного артиллерийского управления. Дело Штаба генерального фельдфебеля. 1779. С. 1290.
- 24 Бывший Архив министерства двора. Опись 352/1343. Д. 40. Л. 38.
- 25 «С.-Петербургские ведомости». 1779. С. 1290.
- 26 Бывший архив Министерства двора. О. 352/1343. Д. 47. Л. 145.
- 27 Бывший архив Морского министерства. Дело гр. Кушелева. № 1. Л. 145.
- 28 См., напр., архив бывшего Инженерного управления. 1809. Д. № 14. «О приведении крепости в оборонительное положение» на 60 л.
- 29 Нам известны следующие планы Петропавловской крепости, хранящиеся в петербургских архивах. 1706 г. Архив бывшего Инженерного управления. № 1. 1736 г.; там же, № 8. 1740 г.; там же, № 12, на четырех листах, 1748 г.; там же, № 30, 1753 г.; там же, № 46, 1756 г.; там же, № 53, 1767 г.; там же, № 77, 1768 г.; там же, № 79, 1797 г.; там же, № 127 и 129 на 8 листах, 1799 г.; там же № 136 и № 137.
- 30 «Иллюстрированная газета». 1869. № 21. С. 331.
- 31 О. Б. № 3969 или П.С.З. № 5713
- 32 «С.-Петербургские ведомости». 1774. №28
- 33 М. И. Р. Ф. IV. 350.
- 34 Журнал Петра Великого II. С. 18.
- 35 *Петров*. История Петербурга. С. 43.
- 36 Журнал Петра Великого II. С. 56.
- 37 *Петров*. История Петербурга. С. 169.
- 38 Дневник Берхгольца. III. С. 96.
- 39 Материалы для истории Академии наук. Т. II. С. 839–840, 842.
- 40 Дневник Берхгольца. III. С. 158.
- 41 Бывший архив Морского министерства. Дело Адмиралтейской коллегии. 1721 г. № 40 об отпуске железа и леса к строению Петропавловской церкви. Лл. 89–96.
- 42 «Иллюстрированная газета». 1869. № 21. С. 331.
- 43 «С.-Петербургские ведомости». 1733. С. 213.
- 44 Историко-статистические сведения петербургской епархии (в дальнейшем И. С. С.). V. С. 127.
- 45 И. С. С. VI. С. 5.
- 46 О. Б. № 10664.
- 47 И. С. С. Т. 1. С. 63. Т. VI. С. 6.
- 48 «С.-Петербургские ведомости». 1769. № 32.
- 49 «С.-Петербургские ведомости». 1771. № 100.
- 50 И. С. С. VI. С.7.
- 51 И. С. С. VI. С. 67.
- 52 «С.-Петербургские ведомости». 1773. № 38.

- 53 Журнал Министерства путей сообщения. 1860. Т. XXXI. С. 61.
- 54 «Сын Отечества». 1831 г. Ч. XVIII. С. 410 и след.
- 55 «С.-Петербургские ведомости». 1832 г. С. 1438, 2510, 2562, 2965, 3025.
- 56 Курбатов. Петербург. С. 596.
- 57 Петров. История С.-Петербурга. С. 137.
- 58 «Зодчий». 1898. С. 85.
- 59 И. С. С. I. С. 68.
- 60 «С.-Петербургские ведомости». 1772. № 712.
- 61 Петров. История Петербурга. С. 119.
- 62 И. С. С. III. С. 83.
- 63 «Северная пчела». 1831. № 199.
- 64 См., напр., Курбатов. Петербург. С. 597, или Грабарь. История искусства. Глава о Земцове.
- 65 См. дело бывшего архива Инженерного управления, 1761, № 20 «О построении домика для постановления бота Петра», а также «С.-Петербургские ведомости». 1761 год. № 72 от 7 сентября; 1762 год, № 63 от 6 августа.
- 66 Веселаго. Сведение о ботике... С. 28.
- 67 Журнал Петра. III. С. 19.
- 68 Берхгольц. Дневник. III. С. 123.
- 69 М. И. Р. Ф. IV. С. 628.
- 70 «Северная пчела». 1836. № 151.
- 71 Веселаго. Сведения о ботике... С. 55.
- 72 «Правительственный вестник». 1872. № 43.
- 73 История Российского яхт-клуба. С. 156.
- 74 Архивы бывшего Инженерного управления. Д. 1735.
- 75 «С.-Петербургские ведомости». 1739. № 37. С. 290.
- 76 Там же. 1740. С. 792.
- 77 Там же. 1742. С. 635.
- 78 «Иллюстрированная газета». 1866. № 21.
- 79 Записки И. Д. Якушкина. С. 98.
- 80 Там же. С. 105.
- 81 Там же. С. 107.
- 82 М. И. Р. Ф. IV. С. 587.
- 83 Бывший архив Морского министерства. Дело графа Апраксина. № 222. Лл. 1, 52, 103.
- 84 «С.-Петербургские ведомости». 1782. № 5. С. 25.
- 85 Бывший архив Морского министерства. Указы Адмиралтейств-коллегии. № 26. Лл. 86–89, 406, 407.
- 86 «С.-Петербургские ведомости». 1740. С. 511.
- 87 Бывший архив Инженерного управления. Д. 1748 г. № 12.
- 88 И. С. З. № 8260.

- 89 Там же. № 3748.
- 90 Бывший архив Министерства двора. Опись 73/187. М. 19. Карт. 8423. Д. 11. Л. 56.
- 91 О. Б. № 8822.
- 92 Бывший архив Инженерного ведомства. 1747. Д. № 16.
- 93 Там же. 1760. № 10.
- 94 Сенатский архив. Т. XV. С. 791.
- 95 «С.-Петербургские ведомости». 1773. № 677.
- 96 См. «Горный журнал». 1825 г. № 3–5.
- 97 Бывший архив Инженерного ведомства. 1747. Д. № 11.
- 98 Там же. № 14.
- 99 Там же. 1757. № 18.
- 100 Архив бывшего Главного артиллерийского управления. Дело крепостных. № 339484. Л. 28.
- 101 «Иллюстрированная газета». 1866. № 21. Стр. 331.
- 102 См., напр., С.-Петербургские ведомости. 1810. С. 658.
- 103 Бывший архив Инженерного ведомства. 1844. Д. № 20.
- 104 «С.-Петербургские ведомости». 1851. № 107. С. 339.
- 105 Бывший архив Главного артиллерийского управления. Дело Арсенального № 150/54.
- 106 И. С. З. № 21273.
- 107 Бывший архив Инженерного управления. Дело 1810 г. № 4.
- 108 С.-Петербургские ведомости. 1821. С. 652.
- 109 Записки Якушкина. С. 107–111.
- 110 Декабристы в рассказе помощника квартального. Издание Штейнин. Берлин.
- 111 И. С. З. № 17710.
- 112 «Северная пчела». 1845. С. 682 и 781.
- 113 Там же 1817 С. 753.
- 114 «С.-Петербургские ведомости». 1848. № 97
- 115 «Всемирная иллюстрация». 1874.
- 116 Бывший архив Инженерного управления. 1842. Д. № 105.
- 117 «День». 1913. № 130.
- 118 «Северная пчела». 1845. С. 923. «Иллюстрация». 1845. С. 432 помещен любопытный примитивный рисунок этой избушки.
- 119 «Иллюстрированная газета». 1806. С. 222.
- 120 Богданов. Описание столичного града Санкт-Петербурга. С. 136.
- 121 Бывший архив Министерства двора. Опись 73187. Кн. 3. Л. 215.
- 122 Там же. Л. 115.
- 123 «Русский архив». 1868 г. С. 1420.
- 124 Богданов. С. 136.
- 125 «С.-Петербургские ведомости». 1778. С. 292, 1159; 1763, № 8; 1765, № 19. С. 41; 1767. № 68; 1785. С. 192, 1674.

- 126 Там же. 1769. № 67.
- 127 Там же. 1778. С. 1050.
- 128 Северная пчела. 1825. № 125.
- 129 Там же. 1843. С. 1021, 1057.
- 130 Там же. 1838. № 8.
- 131 «С-Петербургские ведомости». 1851. № 229.
- 132 «Известия Городской думы». Т. 76. 1884. С. 447.
- 133 «Всемирная иллюстрация». 1885. № 1123.
- 134 «Голос». 1870. №№ 153, 155.
- 135 Дневник Берхгольца. I. С. 97.
- 136 Пругавин А. Петропавловская крепость. Очерк первый. С. 13.
- 137 Поправим еще одну ошибку, допущенную Пругавиным. Справку об Алексеевском равелине напечатал вовсе не г. Борисов, а Ал. Маркевич. — «Русская старина». 1904. Июль. С. 113–115.
- 138 См., напр., «Всемирная иллюстрация». 1870. № 69. С. 303.
- 139 Известия Городской думы. 1871. С. 1014.
- 140 Лазаревский, Полуботок. Русский архив. 1880. Т. 1.
- 141 См. Павлов-Сильванский. Проекты реформ в записках современников. Петр. СПб, 1897.
- 142 Петров. История Петербурга. 465.
- 143 «Русский вестник». 1867. № 5, 6, 8.
- 144 «Былое». 1907. № 1. С. 22.
- 145 Записки декабриста Д. И. Завалишина. 2-е русское издание. Ч. III. С. 241–243.
- 146 Тут, безусловно, какое-то преувеличение или, может быть, какая-нибудь неточность.
- 147 Зубков В. П. Рассказ о моем заключении в С.-Петербургской крепости. Перевод с французского. Изд. В. М. Саблина. С. 224, 225, 230, 231, 233, 234, 237.
- 148 Записки И. Д. Якушкина. Москва. 1895. С. 84, 85, 86, 87, 90, 105.
- 149 Беляев А. Воспоминание декабриста о пережитом и пережитом 1805–1850. СПб. 1882. С. 177, 178, 179, 182, 183, 193, 194.
- 150 Между прочим интересен вопрос, почему эта кадка окрещена православным женским именем Параша. Но оказывается, что это слово (параша) вовсе не русское, что это перековеркнутое немецкое выражение «*fur aschen*», которым первые русские тюремные надзиратели из немцев прозвали эту кадку или ведро. Другого, более реального объяснения я не мог подобрать.
- 151 «Русский архив». 1886. № 2.
- 152 «Былое». 1906. № 2. С. 248.
- 153 Ахшарумов Д. Д. Из моих воспоминаний 1849 г. СПб. 1906. С. 1, 2, 5, 9, 10, 11, 21–23, 26, 30–32, 38–41, 48–49, 53–55, 69–80, 84, 85.

- 154 В иллюстрированном журнале 70-х годов сохранился рисунок, представляющий гуляние по валам Петропавловской крепости, бывавшее один раз в году в день Преполовления. Этот рисунок может до известной степени служить иллюстрацией к рассказу Ахшарумова.
- 155 Любопытно сравнить психологию Ахшарумова с психологией братьев Беляевых при переводе их в другое помещение. Промежуток времени между действующими лицами более 20 лет, но мотивы одни и те же.
- 156 Не менее любопытно сравнить эту сценку с теми, которые происходили, когда Ирод в 80-х годах переводил арестованных из камеры в камеру.
- 157 Меня могут упрекнуть за обилие выписок. На это возражаю, что, во-первых, никакой пересказ не дает того впечатления, что получается от подлинника, а, во-вторых, нужно помнить, с какими документами мы имеем дело. Слова заключенных в Петропавловскую крепость должны быть цитируемы «in extenso».
- 158 Бывший архив Инженерного управления. 1827 г. Д. 10.
- 159 Там же. 1834 г. Д. 34.
- 160 Лемке. Процессы. С. 29.
- 161 «Былое». 1906. № 2. С. 41.
- 162 Там же. 1906. № 3. С. 103.
- 163 Там же. 1907. № 8. С. 153.
- 164 Щеголев. Таинственный узник. С. 32.
- 165 «Былое». 1906. № 3. С. 103.
- 166 «Былое». 1906. № 2. С. 56.
- 167 Там же. 1906. № 4. С. 289.
- 168 Щеголев. Таинственный узник. С. 46.
- 169 «Былое». 1907. № 7. С. 156.
- 170 Поливанов И. Алексеевский равелин. Отрывок из воспоминаний. 1906. С. 22, 24, 25, 28, 35.
- 171 День. 1919. № 35.
- 172 Поливанов. С. 51, 98.
- 173 «Былое». 1906. № 2. С. 7.
- 174 Поливанов. С. 43–45.
- 175 Там же. С. 49–50.
- 176 «Былое». 1906. № 2. С. 9, 10, 12.
- 177 Там же. С. 11.
- 178 Поливанов. С. 26, 27, 69.
- 179 Там же. С. 31.
- 180 Там же. С. 40.
- 181 Фроленко. С. 18.
- 182 Волькенштейн В. 13 лет в Шлиссельбургской крепости. С. 36, 37.

- 183 Поливанов. С. 17.
- 184 Там же. С. 17–20, 22–24.
- 185 П*анкратов В.* Жизнь в Шлиссельбургской крепости. С. 7.
- 186 Поливанов. С. 25.
- 187 Там же. С. 35.
- 188 Там же. С. 52.
- 189 А*шенбреннер М.* Шлиссельбургская тюрьма за 20 лет. Былое. 1906. № 1. С. 6.
- 190 От мертвых к живым. Письмо из крепости. Август 1883 г.
- 191 П*анкратов. С.* 18.
- 192 Волькенштейн. С. 21–22.
- 193 Былое. 1906. № 1. С. 65.
- 194 Там же. С. 59.
- 195 Поливанов. С. 73.
- 196 Там же. С. 38–39.
- 197 Там же. С. 37.
- 198 Там же. С. 88.
- 199 Фроленко. С. 14–16.
- 200 Поливанов. С. 86, 87.
- 201 Фроленко. С. 16–17.
- 202 Поливанов. С. 116–117.
- 203 Фроленко. С. 17.
- 204 Поливанов. С. 102–103.
- 205 Там же. С. 115–116.
- 206 Считаем возможным поместить в заключение краткий хронологический перечень событий, касающихся Петропавловской крепости. Этот перечень более чем неполон, и пока других не имеется, мы считаем, что и немногие отобранные нами даты будут полезны.
- 1718 г. июня 26. Умер в Петропавловской крепости царевич Алексей.
- 1724 г. декабрь. Умер в Петропавловской крепости Полуботок.
- 1726 г. февраля 1. Умер И. П. Посошков.
- 1742 г. января 17. Из Петропавловской крепости увезены на казнь Остерман, Миних и сообщники.
- 1775 г. декабря 4. Смерть княжны Таракановой.
- 1790 г. сентября 4. Увоз из крепости Радищева.
- 1793 г. апреля 25. Заключен Федор Кречетов.
- 1820 г. октября 17. Заключение роты его величества Семеновского полка.
- 1820 г. октября 18. Заключение первого батальон Семеновского полка.
- 1825 г. декабря 16. Заключение Каховского.
- 1826 г. января 21. Привоз Поджио.

1826 г. июля 13. Казнь декабристов.
1826 г. сентябрь. Увоз Бестужевых.
1826 г. Изобретение Бестужевым азбуки.
1847 г. мая 30. Увоз Гулака в Шлиссельбург.
1849 г. апреля 13. Заключение петрашевцев.
1857 г. Увоз в Сибири Бакунина.
1860 г. октября 12. Заключение Печаткина.
1861 г. августа 29. Заключение Бейдемана.
1861 г. октября 14. Заключение М. Михайлова.
1862 г. июня 10. Привоз из Москвы Владимирова.
1862 г. июня 21. Заключение Баллода.
1862 г. июля 2. Заключение Писарева.
1862 г. июля 7. Заключение Чернышевского.
1862 г. сентября 12. Заключение Шевича.
1862 г. ноября 19. Заключение И. Н. Ткачева.
1863 г. января 11. Заключение Н. Ф. Перовского.
1863 г. января 15. Чернышевский написал начало романа «Что делать».
1863 г. апреля 15. Заключение Н. В. Шелгунова.
1863 г. июля 30. Писарев написал статью «Наша университетская наука».
1864 г. ноября 29. Выпущен Шелгунов.
1866 г. августа 18. Начало заседаний по каракозовскому делу.
1866 г. октября 4. Увоз Худякова и Ишутина.
1866 г. октября 15. Увоз Кувязева.
1869 г. январь. Заключение Л. В. Долгушина.
1873 г. января 28. Заключение Нечаева.
1880 г. ноябрь. Казнь Квятковского и Преснякова.
1881 г. Марта 1. Заключение Тригони.
1881 г. марта 2. Заключение Рысакова.
1881 г. марта 25. Заявление Желябова о неподсудности его дела Сенату.
1881 г. июля 4. Увоз Бейдемана.
1881 г. сентября 16. Смерть Ширяева.
1882 г. февраля 16. Завещание Александра Михайлова.
1882 г. марта 19. Увоз Н. Е. Суханова.
1882 г. Пятница Страстной недели. Фроленко переведен в рavelин.
1882 г. Пасха. Введение каторжного режима для народовольцев в рavelине.
1882 г. Весна. Заключение Тихонского.
1882 г. мая 28. Приговор по делу команды Алексеевского рavelина.
1882 г. сентября 17. В рavelин привезены Попов, Иванов, Щедрин, Букинский, Геллис, Кобылянский, Волотенко, Орлов.

- 1882 г. декабря 23. Поливанов переведен в камеру № 3.
- 1882 г. февраль. Заключение Веры Фигнер.
- 1883 г. мая 9. Умер от чахотки Нечаев.
- 1883 г. июнь. Смерть Клеточникова.
- 1883 г. июнь. Посещение рavelина Оржевским.
- 1883 г. Лето. Перевод карийцев в 1.
- 1883 г. двадцатые числа июля. Умер Ланганс.
- 1883 г. августа 4. Перевод Поливанова в камеру № 15.
- 1883 г. августа 9. Умер Баранников.
- 1883 г. август. Умер Тетерка.
- 1883 г. сентября 10–15. Увоз Игнатия Иванова в Казань.
- 1884 г. март. Покушение Поливанова на самоубийство.
- 1884 г. март. Умер Александр Михайлов.
- 1884 г. весна. Перевод в рavelин Мышкина, Минакова, Богдановича, Златопольского и Долгушина.
- 1884 г. июнь. Сошел с ума Арончик.
- 1884 г. июля 24. Умер Колодкевич.
- 1884 г. августа 1. Увоз первой партии из рavelина в Шлиссельбург.
- 1884 г. августа 4. Увоз второй партии в Шлиссельбург.



Содержание



Дом княгини М.А. Шаховской, Фонтанка, 27.....	5
Дворец Труда.....	83
Петропавловская крепость.....	175

Столянский Петр Николаевич

**ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ
И ДРУГИЕ ИСТОРИКО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ**

Издается в авторской редакции

Заведующая редакцией *Т.М. Минеджян*

Ответственный за выпуск *Л.И. Янцева*

Редактор *В.Н. Середняков*

Художественный редактор *И.А. Озеров*

Корректор *О.Ю. Гуршева*

Компьютерный набор *Ю.В. Крылова, Е.В. Новгородских*

Верстка *Е.В. Новгородских*

Подписано в печать 23.11.2010.

Формат 84×108¹/₃₂. Бумага офсетная. Гарнитура «Петербург».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,64. Уч.-изд. л. 18,03.

Тираж 2 000 экз. Заказ № О-1737.

ЗАО «Издательство Центриполиграф»

111024, Москва, 1-я ул. Энтузиастов, 15

E-MAIL: CNPOL@CNPOL.RU

WWW.CENTRPOLIGRAF.RU

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в типографии филиала ОАО «ТАТМЕДИА» «ПИК «Идел-Пресс».
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.
E-mail: idelpress@mail.ru